

ОБЩЕЕ
И РОМАНСКОЕ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ

739318

ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1972



P. H. Zang

*Члену-корреспонденту АН СССР
профессору Московского университета
Рубену Александровичу БУДАГОВУ
в честь его 60-летия*

Настоящая книга посвящается выдающемуся советскому языковеду, профессору Московского университета, члену-корреспонденту АН СССР Рубену Александровичу Будагову по случаю его 60-летия. Советские и зарубежные коллеги — романисты, общие языковеды, исследователи стиля — в представленных здесь работах освещают разнообразные и актуальные проблемы современного языкознания, развитые, поставленные или затронутые в многогранном научном творчестве Р. А. Будагова. Хотя каждая статья выражает точку зрения ее автора, книга в целом отвечает филологическим интересам Р. А. Будагова и его направлению научной мысли. Можно сказать, что она образует единое целое благодаря личности того, кому она посвящена.

Ученик академика В. Ф. Шишмарева и академика Л. В. Щербы, Р. А. Будагов воспринял от них интерес как к истории романских языков и культуре романских народов, так и к проблемам общего языкознания. Уже в начале самостоятельного пути, в книге «Развитие французской политической терминологии в XVIII в.» (1940), Р. А. Будагов нашел свою главную тему — «история слов в истории общества», как в дальнейшем и будет названа одна из его книг (1971). Слова «классический», «романтизм» и «романтический», «роман», «искусство», «личность», «цивилизация» и многие другие — ключевые слова европейской культуры, уже не только романской или западной, но и русской, стали здесь предметом кропотливых и плодотворных изысканий. К этой же теме примыкает ряд статей Р. А. Будагова, таких, как «Пушкин — лингвист» (1946), «Акад. А. Н. Веселовский как пере-

водчик Боккаччо (к проблеме художественного перевода)» (1958), «Трактат Данте «О народном языке» и его значение для современности» (1960), «Дж. Верга о художественном переводе» (1967).

Параллельно с первой линией, переплетаясь с ней и питая ее своим материалом, развиваются семасиологические исследования Рубена Александровича, предметом которых является историческая и сравнительно-историческая лексикология романских языков. Многолетние разыскания ученого в этой сфере обобщены в фундаментальной книге «Сравнительно-семасиологические исследования (романские языки)» (1963). На книгу откликнулись романисты многих стран: О. Духачек в Праге, Л. Гальди в Будапеште, Э. Таназ и Ш. Газ в Монпелье, К. Сытяну и О. Винцелер в Клуже, В. Г. Гак в Москве, С. Т. Бережан в Кишиневе, О. А. Домбровский во Львове.

Третья, непосредственно смыкающаяся с двумя другими, тема исследований Р. А. Будагова определяется его интересом к развитию и формированию литературных языков романских стран. Эту тему можно проследить по целому ряду статей («Понятие о норме литературного языка во Франции в XVI—XVII вв.» (1956), «В защиту понятия «стиль художественной литературы» (1962), «Индивидуальное в языке и стиле художественной литературы как историческая категория» (1962) и др.), завершившихся обобщающей монографией «Литературные языки и языковые стили» (1967). Именно в этой книге наиболее ясно сформулировано общенаучное значение основной темы исследований Р. А. Будагова: «Трудно представить себе развитую и богатую культуру народа без развитого и богатого литературного языка. В нем она как бы «фиксируется». С его помощью выражается. В этом смысле проблема литературного языка имеет огромное общенародное значение» (стр. 5). Таково научное кредо Рубена Александровича: исследование филолога-языковеда перерастает в общественную миссию ученого-гуманиста.

Этим определяется и само понимание Р. А. Будаговым языкознания как гуманитарной науки: за индивидуальным видеть общее, за литературным языком — общенародный язык, за языком в целом — общество и человечество. Этим определяется и непримиримое отношение ученого к тенденциям дегуманизации науки о языке.

Особую линию в научной деятельности Р. А. Будагова составляют его историко-грамматические, главным образом синтаксические, исследования. Начатые рядом его ранних статей, таких, как «Проблема семантики перфекта во французском языке» (1941), и докторской диссертацией об историческом синтаксисе французского языка, эти исследования выливаются далее в книгу «Этюды по синтаксису румынского языка» (М., 1958) и новый цикл статей 60-х годов — «Несколько замечаний о понятии отношения в грамматике», «Две проблемы порядка слов» и др. В на-

стоящее время Р. А. Будагов работает над книгой по сравнительно-историческому синтаксису романских языков.

Хотя характер научных интересов увлекает исследователя в историю языков и культур, однако органическая связь с современностью заставляет его постоянно откликаться на научные и культурные события своей страны и всех романских стран. Можно сказать, что Р. А. Будагов не пропускает ни одного нового явления в области гуманитарных наук, на многие из которых откликается в печати. Свидетельство тому — многочисленные рецензии (а чаще «статьи по поводу»), в которых Рубен Александрович освещает происходящее в языке или науке о нем. К этой серии работ относятся: «Языкознание во Франции», «Словарь трудностей французского языка и его значение для культуры речи», «Международный коллоквиум по романским культурам, литературам и языкам в Бухаресте», участником которого был сам автор, «Три книги о культуре речи», «Культурно-историческое значение «Словаря иноязычных выражений и слов», рецензии на книги Ш. Балли, П. Пересветова, К. Чуковского, Ж. Вандриеса, Ф. Брюно, Э. Юге, Г. Шухардта, И. Йордана, Ю. С. Сорокина, Ж. Маторе и др. Рецензии Рубена Александровича интересны не только содержащимися в них оценками, но и размышлениями, поводом для которых послужила та или другая книга.

К лексикографическим трудам Р. А. Будагов относится с особым вниманием и интересом, видя в них больше, чем компендиумы слов, — компендиумы культуры. Это направление деятельности Р. А. Будагова перерастает у него в историю науки — филологии и лингвистики, историю, которую он не только изучает, но в которую он активно вмешивается своими рецензиями, откликами, критическими оценками. При этом научная актуальность, «вопросы дня» всегда предстают у него в глубокой связи с традициями прошлого. В единении с прогрессивной традицией Р. А. Будагов видит вообще залог успешной деятельности в науке.

Вот почему имя Р. А. Будагова так естественно организует разнообразный материал этой книги. Ее основные разделы и внутренние линии содержания, как увидит читатель, совпадают с теми основными темами научного творчества Р. А. Будагова, которые были отмечены в настоящем очерке.

Печатные работы Р. А. Будагова

В перечень не вошли: 1) редакторские работы, 2) программы общих и специальных лингвистических курсов, составленные автором в разные годы, 3) газетные статьи (за исключением одной).

Принятые сокращения: ВЯ — «Вопросы языкознания», Ин. яз. в шк. — «Иностранные языки в школе», ЛГУ — Ленинградский государственный университет, ОЛЯ — отделение литературы и языка Академии наук СССР, НДВШ, Фил. науки — «Научные доклады высшей школы. Филологические науки», «Русск. яз. в шк.» — «Русский язык в школе», Сб. — Сборник, Серия фил. наук — Серия филологических наук, «Уч. зап.» — «Ученые записки».

1. Книги и брошюры

1. «Развитие французской политической терминологии в XVIII веке». Изд-во ЛГУ, 1940, 121 стр.
2. «Слово и его значение». Изд-во ЛГУ, 1947, 65 стр.
3. «Очерки по языкознанию». М., Изд-во АН СССР, 1953, 280 стр.
4. «Из истории языкознания (Соссюр и соссюрианство)». Изд-во МГУ, 1954, 32 стр.
5. «Этюды по синтаксису румынского языка». М., Изд-во АН СССР, 1958, 233 стр.
6. «Введение в науку о языке». М., Учпедгиз, 1958, 435 стр.
7. «Проблемы изучения романских литературных языков». Изд-во МГУ, 1961, 47 стр.
8. «Сравнительно-семасиологические исследования (романские языки)». Изд-во МГУ, 1963, 301 стр.
9. «Проблемы развития языка». М.—Л., «Наука», 1965, 72 стр.
10. «Введение в науку о языке», 2-е переработанное и расширенное издание. М., «Просвещение», 1965, 489 стр.
11. «Литературные языки и языковые стили». М., «Высшая школа», 1967, 375 стр.

12. «История слов в истории общества». М., «Просвещение», 1971, 269 стр.
13. «Язык, история и современность». Изд-во МГУ, 1971, 300 стр.

II. Статьи

14. «Из истории политической терминологии во Франции». «Литературный критик», 1938, № 4, стр. 198—218.
15. «Г. Шухардт как лингвист». «Русск. яз. в шк.», 1940, № 3, стр. 72—82.
16. «Проблема семантики перфекта во французском языке». «Уч. зап. ЛГУ», серия фил. наук, 1941, вып. 5, стр. 94—116.
17. «Семантика слова и структура предложения». «Уч. зап. ЛГУ», серия фил. наук, 1946, вып. 10, стр. 153—173.
18. «Наблюдения над языком и стилем И. Ильфа и Е. Петрова». Там же, стр. 220—248.
19. «Проблема гипотетической модальности в романских языках». «Изв. АН СССР», ОЛЯ, 1947, № 2, стр. 149—157.
20. «Славянское влияние на румынский язык». «Вестн. Ленингр. ун-та», 1947, № 2, стр. 80—94.
21. «Этюды по синтаксису испанского языка». «Научный бюллетень ЛГУ», 1947, № 14—15, стр. 28—33.
22. «Функции личных местоимений в современном румынском языке». «Изв. АН СССР», ОЛЯ, 1948, № 5, стр. 429—443.
23. «Французский язык». В сб.: «Франция». М., «Советская энциклопедия», 1948, стр. 453—457.
24. «О первом русском переводе «Дон Кихота» с испанского языка. В сб.: «Сервантес». Изд-во ЛГУ, 1948, стр. 201—204.
25. «Этюды по историческому синтаксису французского языка». «Уч. зап. ЛГУ», серия фил. наук, 1949, вып. 14, стр. 160—190.
26. «Задачи изучения лексики». «Докл. и сообщ. филол. института ЛГУ», 1949, № 1, стр. 103—123.
27. «Пушкин-лингвист (К постановке вопроса)». «Вестн. Ленингр. ун-та», 1949, № 6, стр. 24—34.
28. «Проблема специфики языка в свете работ И. В. Сталина по языкознанию». «Вестн. Ленингр. ун-та», 1950, № 7, стр. 3—15.
29. «К проблеме устойчивых и подвижных элементов в лексике». «Изв. АН СССР», ОЛЯ, 1951, № 2, стр. 105—115.
30. «Некоторые актуальные задачи советских лингвистов». «Вестн. Ленингр. ун-та», 1951, № 7, стр. 3—12.
31. «К теории относительного подчинения» (из «Очерков по историческому синтаксису французского языка»). «Уч. зап. ЛГУ», серия фил. наук, 1952, вып. 15, стр. 43—55.
32. «Некоторые вопросы теории словообразования в романских языках». «Докл. и сообщ. Инст. языкозн. АН СССР», 1952, № 1, стр. 104—119.

33. «К постановке курса «Введение в языкознание» в высшей школе». ВЯ, 1952, № 4, стр. 70—83.
34. «Об основном словарном фонде и словарном составе языка (стенограмма публичной лекции)». Изд. Всесоюзн. общ. по распростр. полит. и научн. знаний (ленингр. отд.). Л., 1952. 31 стр.
35. «Основной словарный фонд романских языков и задачи его изучения». ВЯ, 1953, № 2, стр. 28—46.
36. «Молдавский среди романских языков». В сб.: «Вопросы молдавского языкознания». М., Изд-во АН СССР, 1953, стр. 90—102.
37. «Замечания о построении программы и курса «Общее языкознание» в университетах». «Вестн. Моск. ун-та», серия обществ. наук, 1953, № 3, стр. 70—82.
38. «Об одной стилистической особенности «Дон Кихота» Сервантеса». «Ин. яз. в шк.», 1954, № 6, стр. 33—44.
39. «К вопросу о языковых стилях». ВЯ, 1954, № 3, стр. 54—67.
40. «Романские языки». Большая сов. энцикл., изд. 2. М., т. 36 (1955), стр. 652—653.
41. «Некоторые проблемы сравнительно-исторического изучения синтаксиса романских языков». ВЯ, 1955, № 3, стр. 3—21.
42. «Шарль Балли и его работы по общему и французскому языкознанию». Вступ. статья к книге: Ш. Балли. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., ИЛ, 1955, стр. 3—19, комментарий к книге — стр. 404—413.
43. «Французский язык». Большая сов. энцикл., изд. 2, т. 45 (1956), стр. 565—566. Там же: «Языкознание во Франции», стр. 567—568.
44. «Понятие о норме литературного языка во Франции в XVI—XVII веках». ВЯ, 1956, № 5, стр. 10—21.
45. «Некоторые особенности образования множественного числа имен существительных в румынском языке». В сб.: «Романо-германская филология (в честь акад. В. Ф. Шишмарева)». Изд-во ЛГУ, 1957, стр. 87—93.
46. «О связи семантических изменений с процессами словообразования и формирования словосочетаний». «Ин. яз. в шк.», 1957, № 5, стр. 68—78.
47. «О так называемом промежуточном звене в смысловом развитии слов». «Сборник статей по языкознанию (в честь акад. В. В. Виноградова)». Изд-во МГУ, 1958, стр. 73—85.
48. «Многозначность слова». НДВШ, Фил. науки, 1958, № 1, стр. 1—16.
49. «Система языка в связи с разграничением его истории и современного состояния». ВЯ, 1958, № 4, стр. 37—50.
50. «Академик А. Н. Веселовский как переводчик Боккаччо (к теории художественного перевода)». «Изв. АН СССР», ОЛЯ, 1958, № 4, стр. 343—352.

51. «Румынско-романские лексико-семантические расхождения». В сб.: «Omăgiu lui Iorgu Iordan cu prilejul împlinirii de 70 de ani». București, 1958, pp. 119—129.
52. «К семантике глагола *a câștiga*. В сб.: «Cercetări de lingvistică» («Mélanges linguistiques offerts à Emil Petrovici»). Cluj, 1958, pp. 127—131.
53. «Словарь трудностей французского языка и его значение для культуры речи». ВЯ, 1959, № 2, стр. 73—81.
54. «Против словесных штампов». В сб.: «Вопросы культуры речи», вып. 2. М., Изд-во АН СССР, стр. 3—7.
55. «Международный коллоквиум по романским культурам, литературе и языкам в Бухаресте». «Изв. АН СССР», ОЛЯ, 1960, № 1, стр. 89—93.
56. «Трактат Данте «О народном красноречии» и его значение для современности». НДВШ, Фил. науки, 1960, № 2, стр. 5—16.
57. «Несколько замечаний о понятии отношения в грамматике». «Вопросы грамматики. К 75-летию акад. И. И. Мещанинова». М., Изд-во АН СССР, 1960, стр. 266—270.
58. «Из истории языкознания в Румынии». НДВШ, Фил. науки, 1960, № 3, стр. 92—96.
59. «Две проблемы порядка слов». В сб.: «Studii si cercetări lingvistice (Omăgiu lui A. Graur cu prilejul împlinirii a 60 de ani)», 1960, № 3, pp. 387—393.
60. Предисловие автора к переводу его книги: R. A. B u d a g o v. Introducere în știința limbii. București, 1960, pp. 1—2.
61. «К критике релятивистических теорий слова». В сб.: «Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике». М., Изд-во АН СССР, 1961, стр. 5—29.
62. «Лингвистика должна сохранить свою специфику». «Вестн. Моск. ун-та», серия филология, 1961, № 2, стр. 69—71.
63. «Интонации разговорной речи в драматургическом произведении». В сб.: «Романская филология (памяти Б. А. Кржевского)». Изд-во ЛГУ, 1961, стр. 53—58.
64. «К теории отношений между словом, словосочетанием и предложением в латинском языке». В сб.: «Исследования в области латинского и романского языкознания». Кишинев, 1961, стр. 5—36.
65. «Французская стилистика Шарля Балли». Вступительная статья к книге: Ш. Б а л л и. Французская стилистика. М., ИЛ, 1961, стр. 5—16.
66. «La normalisation de la langue littéraire en France aux XVI et XVII siècles». «Beiträge zur romanischen Philologie», vol. I. Berlin, 1961, pp. 143—158.
67. «В защиту понятия «стиль художественной литературы». «Вестн. Моск. ун-та», серия филология, 1962, № 4, стр. 34—38.

68. «Индивидуальное в языке и стиле художественной литературы как историческая категория». НДВШ, Фил. науки, 1962, № 3, стр. 3—16.
69. «О наших методологических разногласиях (письмо в редакцию)». ВЯ, 1963, № 1, стр. 150—153.
70. «Три книги о культуре речи». «Вопросы литературы», 1963, № 2, стр. 192—202.
71. «Новый журнал «Романская филология» в Германской Демократической Республике». НДВШ, Фил. науки, 1963, № 1, стр. 173—174.
72. «К построению сравнительной семасиологии романских языков». В сб.: «Вопросы романского языкознания». Кишинев, 1963, стр. 42—50.
73. «О романской лексикографии». «Изв. АН СССР», ОЛЯ, 1963, № 3, стр. 245—249.
74. «К сравнительно-историческому изучению лексики романских языков». В сб.: «Вопросы сравнительной филологии (к 70-летию акад. В. М. Жирмунского)». М., Изд-во АН СССР, 1964, стр. 260—265.
75. «Об одном опыте синтеза в романском языкознании». НДВШ, Фил. науки, 1964, № 2, стр. 188—192.
76. «К спорам вокруг русской орфографии». «Русск. яз. в шк.», 1964, № 6, стр. 3—8.
77. «Данте о литературном языке». В сб.: «Проблемы современной филологии». М., «Наука», 1965, стр. 43—47.
78. «О новой филологической серии, издаваемой в Чехословакии». НДВШ, Фил. науки, 1966, № 2, стр. 186—188.
79. «К спорам о лингвистике» (совместно с акад. В. В. Виноградовым). «Известия», 20 апреля 1966 г., стр. 3.
80. «Фердинанд де Соссюр и современное языкознание (к 50-летию «Курса общей лингвистики)». «Русск. яз. в шк.», 1966, № 3, стр. 5—21.
81. «Соответствие и тождество в сопоставительном синтаксисе». В сб.: «Omăgiu lui Alexandru Rosetti». București, 1965, pp. 96—100.
82. «Еще раз о развитии языка». НДВШ, Фил. науки, 1966, № 3, стр. 125—128.
83. «Из истории семантики прилагательного *классический*». В сб.: «Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры. К 70-летию П. Н. Беркова». М., «Наука», 1966, стр. 443—448.
84. «Некоторые спорные вопросы современной семасиологии». «Вестн. Моск. ун-та», серия филология, 1966, № 6, стр. 3—15.
85. «Современное состояние испанского языка и задачи его изучения». НДВШ, Фил. науки, 1966, № 4, стр. 162—166.
86. «Культурно-историческое значение «Словаря иноязычных выражений и слов»». «Изв. АН СССР», ОЛЯ, 1967, № 1, стр. 84—89.

87. «Два замечания на проект «Словаря древнерусского языка». «Вестн. Моск. ун-та», серия филология, 1967, № 3, стр. 73—76.
88. «Лексика», «Лексикология». «Кр. литер. энцикл.», т. 4. М., 1967, стр. 104—105, стр. 107.
89. «Джованни Верга о художественном переводе». В сб.: «Историко-филологические исследования (к 75-летию акад. Н. И. Конрада)». М., «Наука», 1967, стр. 37—41.
90. «Категория значения в общей теории языка». В сб.: «Проблемы языкознания. Доклады и сообщения советских ученых к X Международному конгрессу лингвистов». М., «Наука», 1967, стр. 10—15.
91. «Общее языкознание в СССР за 50 лет». НДВШ, Фил. науки, 1967, № 5, стр. 27—40.
92. «О типологии речи». «Русская речь», 1967, № 6, стр. 43—48.
93. «История слова *мандарин* и этическая дилемма Бальзака». «Русск. яз. в шк.», 1968, № 2, стр. 79—82.
94. «Из истории слов: *романтический* и *романтизм*». «Изв. АН СССР», ОЛЯ, 1968, № 3, стр. 246—256.
95. «Типы соответствий между значениями слов в родственных языках». НДВШ, Фил. науки, 1968, № 5, стр. 3—20.
96. «Советская делегация на 12-м Международном конгрессе специалистов в области романской лингвистики и филологии». Там же, стр. 125—127.
97. «Португальский язык». «Кр. литер. энцикл.», т. 5. М., 1968, стр. 902—903.
98. «Заметки о Данте-филологе». В сб.: «Дантовские чтения». М., «Наука», 1968, стр. 122—130.
99. «В. В. Виноградов (1895—1969)». НДВШ, Фил. науки, 1969, № 6, стр. 138—139.
100. «Что же такое научный стиль?». «Русская речь», 1970, № 2, стр. 48—54.
101. «В. И. Ленин о научном стиле языка». НДВШ, Фил. науки, 1970, № 1, стр. 62—68.
102. «Несколько замечаний В. И. Ленина о языке». «Вестн. Моск. ун-та», серия филология, 1970, № 2, стр. 16—18.
103. «О новых изданиях словарей типа «ложные друзья переводчика». «Изв. АН СССР», ОЛЯ, 1970, № 1, стр. 65—68.
104. «Из истории слова *роман*». «Русск. яз. в шк.», 1970, № 3, стр. 84—90.
105. «Постановка эксперимента в «Русском синтаксисе» А. М. Пешковского». «Русский язык за рубежом», 1970, № 4, стр. 2—10.
106. «Notes sur la typologie de la parole». Actele celui de-al XII-lea Congres internațional de lingvistică și filologie romanică. București, 1970, pp. 185—189.
107. «Человек и его язык». ВЯ, 1970, № 6, стр. 3—14.

108. «Памяти академика В. М. Жирмунского (1891—1971)». НДВШ, Фил. науки, 1971, № 3, стр. 127—128.
109. «Слово *искусство* в русском языке на рубеже XVIII—XIX веков». В сб.: «Проблемы теории и истории литературы (памяти А. Н. Соколова)». Изд-во МГУ, 1971, стр. 16—21.
110. «Несколько замечаний о словарях «ложных друзей переводчика». В сб.: «Мастерство перевода». М., «Советский писатель», 1971, стр. 362—369.
111. Предисловие к книге Й. Йордана «Романское языкознание» (русск. пер.). М., «Прогресс», 1971, стр. 5—7.
112. «Провансальский язык», «Румынский язык». «Кр. литер. энцикл.», т. 6. М., 1971, стр. 30—31, 431—432.

III. Рецензии, тезисы докладов, varia

113. Рецензия: П. Пересветов. Французская лексикология. М., Учпедгиз, 1936. — «Звезда», 1936, № 3, стр. 208—211.
114. Рецензия: К. Чуковский. Искусство перевода. М.—Л., «Academia», 1936. — «Звезда», 1936, № 11, стр. 185—187.
115. «О книге Ж. Вандриеса „Язык“». «Литературный современник», 1937, № 9, стр. 156—161.
116. Рецензия: F. G u n o t. Histoire de la langue française, vol. VI, VII, VIII. Paris, 1930—1936. В сб.: «Язык и мышление», т. IX. М., Изд-во АН СССР, 1940, стр. 180—184.
117. Рецензия: E. H u g u e t. Évolution du sens des mots depuis le XVI siècle. Paris, 1935. — «Изв. АН СССР», ОЛЯ, 1940, № 2, стр. 190—193.
118. Тезисы доклада «К теории семантического поля». В кн.: «Научная сессия ЛГУ, 1945. Тезисы докладов по секции филологических наук». Л., 1945, стр. 58—60.
119. Тезисы доклада «Грамматика и стилистика». В кн.: «Научная сессия ЛГУ, 1946. Тезисы докладов по секции филологических наук». Л., 1946, стр. 30—31.
120. Рецензия: Р. Ш о р и Н. Ч е м о д а н о в. Введение в языкознание. М., Учпедгиз, 1945. — «Вестн. Ленингр. ун-та», 1946, № 1, стр. 129—133.
121. «Разыскания в области исторического синтаксиса французского языка (резюме монографии)». «Вестн. Ленингр. ун-та», 1946, № 4—5, стр. 177—180.
122. Тезисы доклада «Задачи изучения лексики». В кн.: «Научная сессия ЛГУ, 1948. Тезисы докладов по секции филологических наук». Л., 1948, стр. 12—15.
123. «Новая работа по современному французскому языку» (О. И. Богомолова. Современный французский язык. Теоретический курс. М., 1948). «Вестн. Ленингр. ун-та», 1948, № 5, стр. 153—156.

124. Комментарии к книге: Г. Шухардт. Избранные статьи по языкознанию. М., ИЛ, 1950, стр. 277—291.
125. «Вопросы составления описательных грамматик» (коллективная статья при участии Р. А. Будагова). ВЯ, 1953, № 4, стр. 3—21.
126. Выступление на совещании, посвященном преподаванию иностранных языков (в ЦК профсоюза работников культуры). «Вестн. высшей школы», 1955, № 5, стр. 51—52.
127. «Дискуссия по вопросам субстрата». «Докл. и сообщ. Ин-та языкозн. АН СССР», 1956, вып. IX, стр. 134—138.
128. Тезисы доклада «Понятие системы и системных отношений в языке в связи с разграничением синхронии и диахронии». В кн.: «Тезисы докладов на открытом заседании Ученого совета Ин-та языкознания, посвященного дискуссии о синхронии и диахронии». М., 1957, стр. 15—17.
129. «Теоретические вопросы языкознания» (коллективная статья при участии автора). «Изв. АН СССР», ОЛЯ, 1959, № 3, стр. 290—298.
130. «Субстрат и система». В сб.: «Actes du colloque international de civilisations, littératures et langues romanes». București, 1959, pp. 287—289.
131. «Романские литературные языки». В кн.: «Тезисы докладов Первого всесоюзного совещания по романскому языкознанию». Кишинев, 1960, стр. 5—6.
132. Заключительное слово на конференции, посвященной синхронии и диахронии. В кн.: «О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языка». М., Изд-во АН СССР, 1960, стр. 128—129 (текст самого доклада: ВЯ, 1958, № 4, стр. 37—50).
133. Тезисы доклада «Индивидуальное в языке и стиле художественного произведения». В кн.: «Тезисы докладов межвузовской конференции по стилистике художественной литературы». Изд-во МГУ, 1961, стр. 18—20.
134. «Первая всесоюзная конференция по романскому языкознанию». НДВШ, Фил. науки, 1962, № 1, стр. 224 — 225.
135. Рецензия: В. Г. Гак, Ю. И. Львин. Курс перевода. М., Изд-во ИМО, 1962. — НДВШ, Фил. науки, 1963, № 3, стр. 215—217.
136. «К сравнительному изучению романских литературных языков». В кн.: «Координационное совещание по сравнительному и типологическому изучению романских языков. Тезисы докладов». Л., «Наука», 1964, стр. 16—18.
137. Выступление на Ученом совете филолог. фак-та МГУ на тему о традиции и новаторстве в науке. НДВШ, Фил. науки, 1964, № 3, стр. 220—221.
138. «Место значения слова в сравнительно-исторических исследованиях». В кн.: «Проблемы сравнительной грамматики индо-

- европейских языков. Тезисы докладов». Изд-во МГУ, 1964, стр. 58—61.
139. Рецензия: Iorgu Iordănescu. *Linguistica romanică*. București, 1962. — НДВШ, Фил. науки, 1965, № 3, стр. 158—162.
140. Рецензия: Ю. С. Сорокин. Развитие словарного состава русского литературного языка. М., «Наука», 1965. — «Изв. АН СССР», ОЛЯ, 1965, № 4, стр. 349—353.
141. «Соотношение исторических и функциональных признаков в лексике родственных языков». В кн.: «Проблемы диахронии в изучении романских языков. Тезисы докладов». Минск, 1967, стр. 34—35.
142. Тезисы доклада «Категория значения в общей теории языка». В кн.: «Resumé des communications. X Congrès international des linguistes». București, 1967, pp. 47—48.
143. «Sur la typologie de la parole». В кн.: «Congrès international de linguistique et philologie romanes. Rapports et communications. Resumés». București, 1968, pp. 33—34.
144. «Опыт создания истории словарей французского языка» (G. Matoré. *Histoire des dictionnaires français*). НДВШ, Фил. науки, 1969, № 3, стр. 120—121.
145. «Генетическое родство и типологическое сближение в лексике». В кн.: «Генетическое родство и структурные различия между языковыми системами. Тезисы докладов». М., «Наука», 1969, стр. 11—12.
146. «Библиография романского языкознания». НДВШ, Фил. науки, 1970, № 2, стр. 141—142.
147. Рецензия: И. А. Короленко. Словарь этимологических дублетов испанского языка. Л., «Наука», 1969. — НДВШ, Фил. науки, 1970, № 5, стр. 92—94.
148. «Испанский среди романских языков». В кн.: «Первая все-союзная конференция по испанской филологии. Тезисы докладов». Изд-во ЛГУ, 1970, стр. 19—20.
149. «Ф. Энгельс и языкознание». В кн.: «Ф. Энгельс и языкознание (тезисы докладов)». М., «Наука», 1970, стр. 5—6.
150. «Influence of human upon language». В сб.: «Contemporary and future societies. Abstracts. Seventh world congress of sociology». Sofia, 1970, pp. 97—98.
151. Рецензия: «Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 60-х годов. Под ред. Н. З. Котеловой и Ю. С. Сорокиной». М., «Советская энциклопедия». — «Изв. АН СССР», ОЛЯ, 1971, № 4, стр. 359—363.
152. «Indépendance du mot et le système lexical». Sinaia, 1971, 7 стр. (тезисы доклада на международном коллоквиуме по семантике).
153. Рецензия: «Ленинизм и теоретические проблемы языкознания» (сборник статей). М., «Наука», 1970. — ВЯ, 1971, № 4, стр. 104—108.

154. «Определяет ли принцип экономии развитие и функционирование языка?». ВЯ, 1972, № 1.
155. «Ф. Энгельс и некоторые проблемы языкознания». В сб.: «Ф. Энгельс и языкознание». М., «Наука», 1972.
156. «Понятие архаичности языка в романской лингвистике». «Сборник статей памяти акад. В. М. Жирмунского». М., «Наука», 1972.
157. «Об одной стилистической конструкции в «Декамероне» Боккаччо». «Сборник статей памяти акад. Н. И. Конрада». М., «Наука», 1972.
158. «Понятие идеосемантики в работах В. И. Абаева». «Сборник статей в честь 70-летия В. И. Абаева». Орджоникидзе, 1972.
159. «Изучение литературного языка и диалектов в современной Италии». «Изв. АН СССР», ОЛЯ, 1972, № 2.
160. «Несколько замечаний о процедуре защиты диссертаций (письмо в редакцию)». НДВШ, Фил. науки, 1972, № 1.
161. «Академик Л. В. Щерба». «Русский язык за рубежом», 1972, № 3.
162. «Закон многозначности слова». «Русская речь», 1972, № 3.
163. «О предмете языкознания». «Изв. АН СССР», ОЛЯ, 1972, № 5.

РОМАНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

В. Банер

ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛАТИНСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ РУМЫНСКОЙ ЛЕКСИКИ

Сравнивая обозначения некоторых основных понятий обиходного румынского языка с соответствующими словами итальянского, иберороманских и галлороманских языков, мы находим между ними многочисленные расхождения. Здесь речь идет не только о том, что следует принимать во внимание слова-реликты, унаследованные из некоторого дороманского субстрата, а также славянские заимствования. Напротив, не менее велико значение перегруппировки самих элементов народной латыни. В этом отношении румынский язык представляет собой пробный камень для хронологического определения лексических изменений на территории ранней Романии, так как здесь нам не приходится считаться с внутророманским лексическим взаимопроникновением, имеющим место в западнороманских языках и в итальянском.

Для обозначения понятия 'большой' во всех романских языках, за исключением румынского, употребляется латинское прилагательное *grandis*, почти полностью вытеснившее *magnum*. Только в сардинском, где *grándu* представляет собой заимствование из итальянского, *magnum* в форме *máppi* является общим обозначением для понятия 'большой'. В румынском языке это понятие обозначается прилагательным *mare*, о происхождении которого среди лингвистов до сих пор существуют различные мнения. Во всяком случае ясно, что эта инновация относится к первой фазе образования румынского языка, так как рум. *mare* не может быть ни реликтом доримской эпохи, ни продолжением лат. *mas*, *maris* «самец», *maior* «больше» или же *mare* «море». Последнюю гипотезу выдвинул Дж. Бонфанте¹. Хотя и можно доказать, что в разго-

¹ G. Bonfante. Il problema dell' aggettivo e il rom. *mare* «grandes». «Bollettino dell' Istituto di lingue estere», 1957, vol. V. Geneva. См. далее в статье

ворном обиходе «море» употребляется в значении «большое количество»², но это еще не объясняет семантической эволюции, так как упомянутое значение в дальнейшем может развиваться в «много», но не в «большой». Точно так же не достигает цели и гипотеза о развитии рум. *mare* из латинской сравнительной степени *maior*, так как против такой возможности свидетельствуют законы исторической фонетики.

Кроме того, в румынском в отличие от других романских языков не засвидетельствовано сохранение ни одной «неправильной» латинской формы сравнительной степени. Это объяснение, неудовлетворительное и в семантическом отношении, было впервые выдвинуто А. де Чихак³. Большинство исследователей соглашается с возведением рум. *mare* к лат. *mas*, *maris* «самец», как это предложил уже основоположник романистики Ф. Диц. С. Пушкарю (EWR, стр. 88) приходит к выводу: «Следует исходить из *mas*, которое присоединялось к названиям животных, не содержащим формального указания на половую принадлежность, как обозначение мужского пола: *ravo mas* «павлин». Однако, как известно, самцы животных отличаются от самок именно своей «величиной», так что в языке охотников *vulpes mare* > *vulpe mare* могло обозначать и «большая лиса»... В прилагательном *mařeř, eařă* «гордый, -ая» < **mařicius*, -a, -um основным, видимо, является значение «мужского пола». Сходную аргументацию можно найти также у И. А. Кандря и О. Денсушяну (DELР, стр. 158), которые связывают такое семантическое развитие с пастушеской жизнью прарумынского населения. Но одновременно оба последних автора дают читателю повод к размышлениям: не возникло ли алб. *madh* «большой» под тем же влиянием? В более поздних выпусках DLR в качестве возможной этимологии для *mare* «большой» указывается лат. *mas*, *maris*.

Лат. *mas*, *maris* скорее всего не было унаследовано другими романскими языками и диалектами. Производная форма *masculus*, напротив, сохранилась во всех романских языках, большей частью

следующие условные сокращения: EWR — *Etymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache*. Heidelberg, 1905; DELR — J. Candrea, O. Densușianu. *Dicționarul etimologic al limbii române*. București, 1914; RIEB — *Revue internationale des études basques*, vol. II, 1936; DLR — *Dicționarul limbii române*, vol. VI. București, 1968; ALR, I — *Atlasul lingvistic român*, vol. I. Cluj, 1928; ALR, II — *Atlasul lingvistic român*, s. n., vol. I—IV. București, 1956—1965; DES — M. L. Wagner. *Dizionario etimologico sardo*, vol. 1—17. Heidelberg, 1957—1962; FEW — W. Wartburg. *Französisches etymologisches Wörterbuch*. Tübingen (публикация отдельными выпусками с 1922 г.); BL — *Bulletin linguistique*; Dacor. III — *Dacoromania III*; CL — *Cercetari de lingvistică*.

² В другом месте Г. Райхенкрон считает, что рум. *mare* следует возводить к доримскому субстрату «до тех пор, пока не будет доказано скрещение лат. *magnum* + *talis*» (См. G. Reichenkron. *Das Problem der rumanisch-albanischen Wortparallelen*. В кн.: «*Zeitschrift für Balkanologie III* (1965)», стр. 159). Такое же предположение содержится в REW № 8543.

³ A. de Cihac. *Dictionnaire d'etymologie dacoromane*, vol. I: *Eléments latins*. Frankfurt, 1870, p. 158.

с основным значением «существо мужского пола», хотя зачастую происходит конкретизация значения и соответствующее слово обозначает зверя-самца определенной породы. В дакорумынском *mascu* имеет еще и значение «кабан»; однако в арумунском налицо латинское исходное значение, как и в итальянском, испанском, а также французском; это значение можно восстановить и для общерумынского: *mascu* «мужского пола». В мегленорумынском прослеживается интересное развитие значения: *măscu* в качестве прилагательного обозначает «сильный», а в качестве существительного — «мужчина» (=дакорум. *bărbat*, ср. Th. Capidan⁴). Этот семантический сдвиг одновременно показывает, что ассоциативным путем от понятия «мужской» скорее можно прийти к понятию «сильный», нежели к понятию «большой». Это дает повод усомниться в возведении рум. *mare* (истрорум. *măre*, мегл. *marî*, аром. *mare* «большой») к лат. *mas*, *maris*. Весьма вероятно, как это предполагает Э. Чабей (RIEB, II, 1936, стр. 182), что здесь мы сталкиваемся с реликтовым словом доримской эпохи, которое и по сей день существует в албанском, ср. диалектное *i moth* и отсюда форму жен. рода *e malle* «большой, -ая»⁵. Другие фонетические соответствия албанским словам в румынских словах доримского реликтового происхождения только подкрепляют подобное предположение. Опираясь на албанистические исследования, А. Росетти⁶ замечает, что алб. *ll* соответствует рум. *r*, многократно появляющемуся на месте лат. *l*: алб. *dhallë* соответствует рум. *zagă*; алб. *avull* — рум. *abur*; алб. *mugull* — рум. *mugur*. Г. Рейхенкрон⁷ так же, как и Э. Чабей, отстаивает доримское происхождение рум. *mare* «большой» и его прямую или косвенную зависимость от алб. *i mádhë* «большой» (см. пятую сноску).

* *
*

В качестве общего обозначения понятия «бедный» в значении «не богатый, нуждающийся» и в значении «несчастный, достойный жалости» во всей Романии, за исключением Румынии, засвидетельствовано лат. *pauper* (с IV в., согласно FEW VIII, 59, также в форме *pauperus*). Более тонкие семантические различия, которые могли быть выражены исчезнувшими латинскими словами *tenuis*, *egens*, *indigens*, в ранних романских языках также исчезли. Сохранились только лат. *miser* «бедный, несчастный» и уменьшительное от него *misellus*. Однако, за исключением румынского, сфера их употребления была в значительной мере сужена распростране-

⁴ Th. Capidan. *Meglenoromâniî, vol. III, p. 184.*

⁵ Ср. устарелое просторечное румынское выражение *afîta mare de*. В DLR VI, p. 125, приводятся среди прочих: *afîta mară de vreme*; *intr-afîta mari de ani*; *afîta mar de oameni*.

⁶ A. Rosetti. *Istoria limbii române. Bucureşti, 1968, p. 263.*

⁷ G. Reichenkron. *Das Ostromanische, S. 161.*

нием лат. *pauper*: лат. *misellus* обозначало преимущественно «больной, прокаженный», как это мы встречаем в староиспанских, старопортугальских, раннеитальянских и старофранцузских текстах, а лат. *miser*, оставившее в романских языках несравненно менее заметный след, в старофранцузском еще имеет значение «достойный сожаления». Напротив, в румынском лат. *miser* и *misellus* смогли развиться полностью, так как лат. *pauper* исчезло в народной латыни юго-востока Европы, и очень рано начала ощущаться потребность в соответствующих словах-заменителях.

Прежде чем в полной мере сказалось славянское влияние на румынский, *miser* и *misellus*, очевидно, служили наиболее общим обозначением понятий «бедный (неимущий)» и «достойный жалости, несчастный». Современная румынская структура обозначения понятия «бедный» сформировалась только в эпоху позднего средневековья. Последнюю фазу этого процесса можно наблюдать на материале старорумынских текстов XVI, XVII и отчасти даже XVIII в.

В современном румынском языке общее обозначение понятия «бедный» — *sărac* <ст.-слав. *siraku* (=произв. от прилагательного *sir* «сирота») ⁸. Наряду с ним мы находим для выражения понятия «бедный, достойный сожаления» — *sărman* и *biet* ⁹, также происходящие из славянского.

В аромунском для выражения понятия «бедный» существует заимствованное из греческого *ftoh* (н.-гр. *φτωχος*) и происходящее из турецкого *fucăgă*, засвидетельствованное также в мегленорумынском в форме *fachig*. В то же время в аромунском *oarfăp* <лат. *orphani* обладает не только значением «сирота», но и значением «несчастный, достойный жалости» и даже «бедный» (в противоположность понятию «богатый»). Еще более явно прослеживается развитие значения от «сирота» к «несчастный, жалкий» и, наконец, к «бедный» в албанском *vărfër* «бедный» и *vărfëri* «бедность». Наряду с этим в албанском также наличествует тюркское заимствование *fukaga* «бедный».

Хотя в современной румынской языковой области в настоящее время не употребляется *meazer* <лат. *miser*, но зато засвидетельствовано *mișel*, употребляющееся ныне исключительно в значении «низкий, подлый, коварный». В старорумынском, однако, *mișel*

⁸ Cp. G. Mihăilă. *Imprumuturi vechi sud-slave în limba romină*. București, 1960, стр. 187.

⁹ В этой оязы следует упомянуть аром. *mărat*, которое обозначает «несчастный, бедный» и засвидетельствовано в этом значении в единичных случаях в старорумынских религиозных текстах XVI в. С. Пушкарю (см. EWR) принимает для этого слова в качестве этимона лат. *malehabitus*, а Т. Капидан, напротив, выводит *mărat* из др.-гр. *μέλας* (+ суффикс — = *atus*) и замечает: «Переход от значения «черный» к значению «несчастный» — весьма распространенное явление в балканских языках» (см. «Langue et littérature», I (1941), стр. 284—287). В DLR в качестве вероятного этимона называется лат. *malehabitus*. X. Михасеску (H. Mihăescu. *Influența grecească asupra limbii până în secolul al XV^{lea}*. București, 1966) вводит *mărat* не как заимствование из греческого.

никоим образом не включало значения порицания. Оно обозначало «бедный» и существовало наряду с *sărac*. Многочисленные примеры, приведенные в DLR VI, стр. 631 и сл., отчетливо показывают, что в XVI и XVII вв. *mișel* наряду со значениями «бедный» и «прокаженный» обозначало еще и «нищий», «принадлежащий к низшим слоям общества» и было представлено значительным количеством родственных слов. Ср.: *mișelos* «достойный жалости», *mișelătate* и *mișelie* «бедность, нищета»; *mișele* «бедный» (об условиях, данных); *mișeli* «обеднеть, опуститься», *mișelit* «прокаженный»; *mișelame* «простонародье, низшие слои народа». В дальнейшем *measer* <лат. *misere* употреблялось в значении «бедный, достойный жалости».

В той же степени, в которой *sărac* с течением времени становилось наиболее общим обозначением понятия «бедный», значение *mișel* все более семантически сужалось, приобретая значение «принадлежащий к низшим слоям населения» и, наконец, в силу влияния господствующего класса стало употребляться, как фр. *vilain*, в переносном смысле: «низкий, подлый». В дальнейшем с этим словом связывается лишь данное значение.



В современном румынском литературном языке понятие «больной» выражается словом *bolnav*, а понятие болезнь — *boală*. Оба эти слова заимствованы из славянского: ср. ст.-слав. *boli* «больной». Между тем румынские диалекты, как показано в ALR I, 133, представляют собой в этом отношении более пеструю картину, в особенности благодаря тому, что в Трансильвании распространено слово *beteag* (венг. *beteg* «больной»). Данные, приведенные в ALR, существенным образом пополнил Л. Тамаш¹⁰.

В аромунском для выражения этого понятия существует обозначение, принадлежащее к унаследованной из латинского языка лексике: *lîndzit* «больной» <лат. *languidus*, а также *lîngoare* «болезнь» <лат. *languore* (m). Наряду с этим в аромунском существует более позднее образование с тем же значением *-niptut* (= *niputut*). Мегленорумынский знает лишь *lîngoari* «болезнь», а «больной» обозначается словом *bolev*, заимствованным из болгарского.

В современном общенародном румынском языке также встречается *lînged*. Однако под влиянием прилагательных *lînced*, *vîlced*, *muced* (ср. *Candrea/Densusianu*, DELR, стр. 149) произошло изменение значения слова *lînced*, и оно стало обозначать «хилый, усталый, вялый». *Lîngoare* (также *lîngoare*), относимое в DLRM к просторечной лексике, значит «тиф». Между тем различные старорумынские тексты XVI и XVII вв. свидетельствуют, что *lînged* и

¹⁰ L. T a m á s. Etymologisch-Historisches Wörterbuch der ungarischen Elemente im Rumänischen. Budapest, 1966, p. 109.

lingoare по объему значения в гораздо большей степени соответствуют аналогичным словам в аромунском, т. е. обозначают «хилый, больной» и «хилость, болезнь».

Ни в одном из романских языков не сохранились латинские слова, обозначающие «больной» — *aeger, aegrotus, morbidus* и «болезнь» — *morbus, aegrotatio*. Для понятия «больной» в Романии образовались три наиболее существенных типа: 1) лат. *infirmus* «слабый, больной», исп.-порт. *enfermo*, кат. *enferm*, ит. *infermo*, ст.-фр. *enferm* (ср. также лат. *infirmitas, -ate*, «слабость, болезнь» > исп. *enfermedad*, порт. *enfermedade*, ст.-ит. *infermità*, ст.-фр. *enfermeté* и *enferté*); 2) лат. *male habitus* «истощенный, в плохом состоянии, больной» > фр. *malade*, ст.-лог. *malábitu*, а также *malavidu*, лог. *maláidu* (ср. Wagner. DES, II, 57); 3) лат. *languidus* «ослабевший» > аром. *lîndzit*, ст.-рум. *lînged*.

Латинский глагол *languere* «быть усталым, хиреть», а также *languo* «утомление» хотя и сохранились в различных романских языках (ср. лог. *lambrire* «голодать», ит. *languire* и порт. *languir* «хиреть»), но, однако, только в народной латыни юго-востока Европы они сохранили значения «болеть» и «болезнь». По этому поводу В. фон Вартбург (FEW, V, 163) замечает: «Лат. *languo* «утомление», существительное, образованное от *languere*, с III в. часто употребляется в значении «болезнь», например в христианских текстах Африки».

В этой связи не может оказаться случайным тот факт, что в албанском также можно найти лат. *languere* в сходном значении: *lengoj* «страдаю», *lëngatë*, а также *lëngim* «болезнь». Несомненно, *languidus* и *languo* вначале представляли собой узуальные обозначения понятий «больной» и «болезнь» во всей румынской языковой области, включая и дакорумынскую, где в этом значении уже после общерумынской фазы развития языка стали употребляться славянские заимствования *bolnav* и *boală*, окончательно закрепившиеся в XVII в. в качестве наиболее общих обозначений. Отныне *lingoare* стало обозначать исключительно «тиф» и под влиянием многочисленных народных этимологий приобрело модифицированную форму *lungoare*. Уже Л. Сейняну констатировал, что когда-то *lingoare* служило общим обозначением понятия «болезнь», как это имеет место и в настоящее время в аромунском¹¹.

* *
*

Общее обозначение понятия «работать» в румынском языке также представляет собой весьма примечательное явление по сравнению с другими романскими языками. Обычные для Романии основные типы, представленные лат. *laborare, operare* (первоначаль-

¹¹ См. L. Săineanu. *Incercare asupra semasiologiei limbii române*. București, 1887, p. 180.

чально *oregari*) и *tripaliare*, не засвидетельствованы в румынском ни в какой форме, но вместо них встречается лат. *lucrage* (первоначально *lucragi*) «получать, добывать, извлекать пользу», развившееся в испанском и португальском в *lograg* «доставать, приобретать» и в итальянском в *logoraghe* «извлекать пользу».

История развития значения глагола *lucrage* от «получать» к «работать» тем более представляет интерес, что, как правило, в основе наименований понятия «работать» лежат этимоны, обладавшие первоначально значением «трудиться, мучиться»¹². Так, лат. *labogare* некогда означало «терпеть муки, испытывать затруднения», затем — «напрягаться» и, наконец, «работать». Фр. *travailler*, исп. *trabajar*, порт. *trabalhar* и кат. *treballar* могут быть возведены к лат. *tripaliare*, вначале обозначавшему «пытать», затем, в более обобщенном значении, «мучить», «причинять огорчения», а в конце концов — «работать»¹³. К. Раковицэ проследил связанные с этим явлением социальные предпосылки¹⁴.

Опираясь на результаты своего анализа, он пришел к следующему толкованию: «Естественно, что отношение господствующего класса в данном случае следующее: труд есть всегда продуктивная деятельность, или же по крайней мере деятельность по свободному соглашению; позиция, занимаемая в данном вопросе эксплуатируемым классом, резко и во всем отлична: труд — это всегда мука, страдание» (стр. 97).

Исходный пункт развития от лат. *lucrage* к рум. *lucra*. Раковицэ усматривает в том, что данное слово было заимствовано свободными румынскими пастухами, работавшими в своих собственных интересах; поэтому для них «работать» значило то же самое, что «получать, извлекать пользу», а это последнее было в свою очередь эквивалентно понятию «работать!». Лат. *lucrum* мы находим также в албанском в виде *lukur* «овца». Н. Йокль объясняет подобное развитие значения, указывая, что семантический сдвиг от понятия «добро, прибыль» к понятию «скот» неоднократно прослеживается и в других языках¹⁵.

На румынском материале можно установить, что *lucra* < лат. *lucrum* вначале воспринималось как результат соответствующего действия, а затем так же и как предмет. Аналогичные явления засвидетельствованы в болгарском и новогреческом языках. С. Пушкирю (*Dasog. III*, 1923, стр. 820—821) приводит многочисленные примеры из старорумынских текстов XVI в., в которых а *lucra* прежде всего значит «приобрести, заработать».

¹² См. также поучительную работу К. Бальдингера (K. Baldinger. Vom Affektwort zum Normalwort in: «Etymologica. Walther von Wartburg zum siebzigsten Geburtstag». Tübingen, 1958, pp. 59—93).

¹³ Ср. также I. Iordan. Notiunea «muncă» în limbile romanice, *Archiva XXIX* (1922), стр. 216—237.

¹⁴ См. С. Racoviță. Travail et souffrance. BL, VIII, pp. 96—101.

¹⁵ N. Jokl. Linguistisch-kultur-historische Untersuchungen aus dem Bereich des Albanischen. Berlin — Leipzig, 1923, pp. 257—259.

В современном румынском языке наряду с *a lucra* для понятия «работать» существует еще глагол *a tipci*, этимологически возводимый к слав. топка «мука». А для понятия «работа» существует название *tipcă*. Хотя в настоящее время эти слова уже не несут негативного оттенка, в старорумынском и отчасти еще в языке XIX в. их исходными значениями были «пытать, мучить» и соответственно «пытка, мука». В противоположность *a lucra*, *a tipci* в дальнейшем стало обозначать «выполнять тяжелую работу». Кроме того, уже в старорумынском имелось заимствованное из славянского *truda* (<*trudŭ*) и *trudi* (<*truditi*) в значении «усилие, мучение, тяжелая работа» и соответственно «мучить»; эти значения сохранились и в современном румынском языке¹⁶.

* *
*

С точки зрения истории языка особый интерес представляют также и такие случаи, когда в румынском языке для обозначения «ходовых» понятий и предметов служат славянские заимствования, а в других романских языках в аналогичных случаях выступает лексика германского происхождения. Это можно проиллюстрировать следующими примерами.

Наиболее принятые в латинском языке обозначения понятия «богатый» — *dives*, *locuples*, *opulentus*, *copiosus* — довольно рано, а именно уже в период образования романских языков, исчезают из народной латыни¹⁷. Почти всюду, за исключением румынского, на их место в качестве наиболее общего обозначения проникает германское *rikja*, основное значение которого «могущественный, зажиточный». Ср. фр. *riche*, ит. *ricco*, исп.-порт. *rico*, мегл. *rek*, сард. *riccu*. В наше время уже невозможно установить, из какого именно германского языка это слово попало в отдельные романские языковые области, так как в германских языках оно имеет сходный фонетический облик — ср. гот. *reiki*, др.-н.-франкск. *riki*.

В скором времени это прилагательное стало употребляться и в значении «состоятельный», без акцентирования высоты общественного положения, следовательно, как антоним к *paucŭ* (FEW, XVI, 715). В румынском языке этому *riche*, *ricco* и т. д. соответствует происходящее из славянских языков прилагательное *bogat* < *bogatŭ*. Оно образует в румынском широкую систему родственных слов. Его можно найти также в южно-дунайских румынских диалектах, следовательно, оно существовало уже в общерумынский языковой период.

Герм. *rikja* уже не могло проникнуть в народную латынь юго-востока Европы, а наличествовавшие в латыни классического пе-

¹⁶ Ср. G. Mihăilă. Op. cit., p. 191 и сл.

¹⁷ См. Th. Capida n. Langue et littérature I (1941), pp. 288—289, согласно которому лат. *opulentus* перешло в аром. *purintu* «жирный» (о пище).

риода слова со значением «богатый» по различным причинам прекратили свое существование в народном языке или же вследствие произошедших фонетических изменений начали вызывать затруднения при общении (как, например, лат. dives). Таким образом, сложились благоприятные условия для заимствования соответствующего слова. Вместе с тем многое указывает на то, что причастие прошедшего времени *avut* от *a avea* «иметь, обладать» использовалось в этом значении. В качестве прилагательного *avut* еще сегодня употребляется в румынском в значении «богатый, состоятельный, зажиточный». Мегленорумынский и аромунский также позволяют констатировать подобную ситуацию для *vut* и соответственно *avut*. Исходным пунктом для этого явления послужила, как следует предположить, субстантивация инфинитива в романском, а именно, лат. *habēre* в качестве существительного получило значение «имущество, состояние». Но в румынском, в противоположность другим романским языкам, ему соответствовало причастие прошедшего времени от лат. *habēre*, причем одновременно оно могло служить и прилагательным «богатый, состоятельный».

Процесс адъективации причастия прошедшего времени не является необычным, но здесь обращает на себя внимание специфика самого глагола, который в семантическом отношении предполагает некоторое завершение, следовательно, относится к кому-то, кто что-либо «приобрел». Согласно FEW VI, 92, в классической латыни имеется *habitus* — пассивное причастие к *habēre* в значении «хорошо упитанный», которое никоим образом не может стоять в связи с анализируемым развитием значения в румынском языке.

С точки зрения истории языка не может оказаться случайностью тот факт, что в албанском языке встречается то же явление, что и в румынском: *rasur*, а также *rasun* (предмет) или *katës* представляют собой не только причастия прошедшего времени глаголов «иметь, обладать» (*kat* «я имею»), но имеют также значение прилагательного «богатый». Исходя из этого, можно не без основания предположить наличие субстратного влияния.

Место исчезнувшего в романских языках лат. *bellum* занимает слово, восходящее к герм. **werra* и служащее наиболее общим названием войны: фр. *guerre*, ит. и исп.-порт. *guerra*. Герм. **werra* не проникло только в румынский язык. Вместо него было заимствовано из славянского слово *gazbojъ*, звучащее в румынском как *găzboi*. Было бы, однако, ошибкой относить этот процесс замены к общерумынской фазе развития языка. Во-первых, *găzboi* встречается только в дакорумынском, а во-вторых, он вначале носил характер книжного слова. П. Градя в своем замечательном труде¹⁸ проследил историю развития понятийного поля «война» и достиг весьма поучительных и продуктивных результатов, на которые мы и будем впоследствии опираться.

¹⁸ P. Grădeanu. Termenii pentru *bellum* in Atlasul Lingvistic Român. CL, VIII (1963), pp. 245—263.

Многие исследователи задавались вопросом, почему латинское обозначение войны *bellum* полностью исчезло в поздней народной латыни. Еще К. Тальявини (С. Tagliavini. *Le origine delle lingue neolatine*, 4 Aufl. Bologna, 1964, стр. 223)¹⁹ считал причиной этого явления помехи, вызванные омонимией в романском; лат. *bellum* «война» и лат. *bellus* «красивый, прекрасный». Но это мнение следует считать ложным, так как каждое из этих слов принадлежит к резко различающимся между собой кругам понятий. Э. Гамильшег²⁰ совершенно правильно подчеркивает: «Уже сама латынь показывает, что наличие прилагательного *bellus* не может служить причиной исчезновения *bellum*; в латинском языке оба слова не мешают существованию друг друга». Лат. *bellum* изначально имело официально-административный характер, и поэтому в процессе распада Римской империи²¹ оно было заменено другими выражениями, из которых в дальнейшем на всей западнороманской и итальянской территориях утвердилось только герм. * *wegga*, оказавшееся предпочтительнее франкского «бродячего» слова в условиях общественных отношений раннего средневековья. Кроме этого германского элемента заслуживают внимания следующие обозначения для *bellum*: *battualia* «бой, борьба», которое уже в латинском было изменено в *battalia*; *lucta* «борьба (спортивная), бой»; *hostis* «враг, вражеское войско, войско, военный лагерь». В западнороманском очень рано получило перевес герм. * *wegga*, поэтому вышеперечисленные латинские обозначения не смогли далее развиваться в сторону значения «война», будучи включенными в одно семантическое поле. В народной латыни юго-востока Европы вырисовывается именно эта линия развития.

Что касается румынского языка, то тут прежде всего следует обратить внимание на лат. *battalia* и *hostis*. Рум. *luptă* с семантической точки зрения осталось в пределах древнего латинского основного значения. Однако алб. *luftë*, также восходящее к лат. *lucta*, стало в албанском наиболее общим обозначением войны. Эволюция значения этого латинского заимствования в албанском требует, однако, дальнейших разъяснений, а именно — осуществилась ли, и если да, то в какой мере, переход к значению «война» благодаря особенностям соответствующей албанской структуры обозначений.

Карты в ALR I, 1425 и II, 4947 отчетливо показывают, что еще около 30 лет назад слово *găzboi* не было в дакорумынских диалектах в обиходе в качестве единственного и наиболее общего обозначения войны. В Банате, в Кришане и в Трансильвании вместо

¹⁹ A. Dauzat, J. Dubois, H. Mitterand. *Nouveau dictionnaire étymologique*. Paris, 1964, где на стр. 358 речь идет относительно происхождения *guerre*: франкское *wegga*, которое вытеснило латинское *bellum*, смешивавшееся с *bellus* «прекрасный».

²⁰ E. Gamillscheg. *Romania Germanica*, Bd. I. Berlin — Leipzig, 1934, p. 35, примеч. 2.

²¹ Ср. O. Bloch, W. von Wartburg. *Dictionnaire étymologique de la langue française*. Paris, 1950², p. 295.

него утвердилось в качестве общепринятого термина *bătaie*. Но окраинные зоны названных провинций отличались тем, что в них все большую территорию отвоевывало проникшее из книжного языка слово *găzboi*. Четырехязычный словарь Буды (1825) отмечает для *bătaie* основное значение «война». К тому же авторы из Трансильвании и Баната до XIX в. включительно многократно употребляли слово *bătaie* в значении «война», в то время как в хрониках Мунтян и Молдовы это слово засвидетельствовано только в значении «бой, битва». В южнодунайских румынских диалектах для войны существуют, как правило, более поздние обозначения, являющиеся свидетельством интерференционных связей того времени. Так, в аромунском доминирует происходящее из греческого *polim*, в то время как в мегленорумынском наличествует только заимствованное из турецкого языка *săvgă* или *săvgi*. Согласно ALR, для истрорумынского имеются три наименования: *uweга* <ит. *guerra*, *voica* <сербско-хорв. *voiska* и *ôsta* <лат. *hostis*.

В аромунском также имеется слово *oaste*, но в значении «войско», как и в большинстве западнороманских языков вплоть до нового времени. Оно встречается и в дакорумынском, но там оно наряду с вышеуказанным значением обладает еще значением «война»; такое толкование слова появляется прежде всего у составителей хроник Молдовы XVII и XVIII вв., а еще раньше — в некоторых религиозных текстах XVI в.

Из этого беглого очерка видно, что некоторые слова, близкие по значению лат. *bellum*, употреблялись вместо него уже на ранней фазе образования романских языков в качестве слов-заменителей, в первую очередь к таким словам относятся *battualia* и *hostis*. В противоположность западнороманским языкам, а также итальянскому, где очень скоро в качестве наиболее общего обозначения понятия «война» возобладало заимствованное из германских языков * *werra*, в общерумынском вышеназванные слова-заменители смогли развиться до уровня общих обозначений, причем намечаются и сохраняются вплоть до средних веков региональные различия. В то время как в Банате, в Кришане и в Трансильвании выбор был сделан главным образом в пользу *bătaie*, в других дакорумынских областях преимущество получило *oaste*. *Război*, восходящее к книжному славянскому *gazbojъ*, с XVII в. все больше и больше проникает в румынский и утверждается в значении «война»; вскоре оно становится единственным обозначением для этого понятия в Мунтянах и затем в Молдове. *Oaste* в румынских текстах XIX в. в значении «война» уже не встречается. Хотя у авторов из других дакорумынских областей *găzboi* употребляется все чаще и чаще, наряду с ним все еще держится как обозначение «войны» слово *bătaie*, которое особенно устойчиво в диалектах вплоть до недавнего времени, и только в течение последних двух десятилетий начинает заметно вытесняться литературным *găzboi*.

Перевод с немецкого М. А. Журиной

**ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ РОМАНСКИХ ЯЗЫКОВ
(проблематика и составление атласов)**

Одна из актуальных задач современной романистики — лингвогеографическое исследование романских языков. Это прежде всего относится к европейским языкам Романии, которые лингвогеографически все обследованы настолько хорошо, что в настоящее время можно ставить по имеющимся материалам ряд новых проблем как общей, так и частной романистики.

Под лингвистической географией подразумевается отнюдь не только составление атласов, хотя именно это является одним из первых и важных этапов развития данной дисциплины, но и те исследования, которые проводятся по материалам атласов и по другим лингвогеографическим источникам.

К этим источникам мы относим: словари типа национального словаря В. фон Вартбурга¹ или регионального словаря Л. Зеликсона², в которых дается территориальное распространение слов; диалектные монографии, в которых материалы расположены по пунктам, где происходило анкетирование, что дает возможность восстановления карты³; тексты в определенном хронологическом и территориальном расположении⁴. При большом количестве текстов, относящихся к одному периоду, производятся реконструкции лингвогеографических карт в прошлом. Атласы и словари как источники лингвогеографического исследования требуют дополнения, а иногда и проверки текстами или данными живой речи.

Основное назначение лингвистической географии — изучение структуры диалекта во всей совокупности характеризующих его черт (лексических, фонетических и грамматических) по материалам лингвогеографических источников. Это изучение неразрывно связано с нахождением и интерпретацией ареала распространения того или иного явления.

Лингвистическая география связана не только с внутренней структурой языка. Она приводит исследователя подчас к совершенно неожиданным выводам и в отношении так называемой внешней истории языка, связанной с историей народов страны, торговых путей и отдельных населенных пунктов. «После работ Жильерона и его учеников совершенно по-новому начали представлять не только историю литературного языка французов, но ока-

¹ W. v. Wartburg. *Französisches etymologisches Wörterbuch*. Tübingen (с 1922 г.).

² L. Zéligzon. *Dictionnaire des patois romans de la Moselle*, vol. I—III. Paris — Strasbourg, 1922—1924.

³ J. Babin. *Les parlers de l'Argonne*. Paris, 1954; Ch. Bruneau. *Enquête linguistique sur les patois d'Ardenne*. Paris, 1923—1926.

⁴ См., например, M. Alvar. *Textos hispánicos dialectales*. «*Antología histórica*», tt. I—II. Madrid, 1960.

залось необходимым по-новому представлять и историю народов страны, историю ее колонизации, историю продвижения населения, историю торговых путей и отдельных населенных пунктов»⁵.

Лингвистическая география выросла из диалектологии. Диалектология обычно определяется как наука, изучающая диалект того или иного языка. Но ведь «диалект» — это единица, содержание которой трудно поддается определению с точки зрения собственно диалектологии. Определение диалекта затрудняется его многогранностью. Пестрота определения этого понятия превосходит пестроту определения многих других общих представлений. С позиций лингвистической географии наиболее конкретное определение диалекта дает Ласаро Карретер в «Словаре лингвистических терминов»: «Диалект, нем. *Mundart*. Разновидность языка на определенной территории, внутри которой она ограничивается пучком изоглосс. Интенсивность изоглосс определяет своеобразие диалекта»⁶. Определение это, однако, сугубо формальное и не дает представления о содержании диалекта.

Исходя из анализа диалектного и лингвогеографического материала, подкрепленного и проверенного другими источниками, в том числе и историческими данными, следует, что современный диалект (точнее реликты старых диалектов эпохи феодализма, т. е. местные патуа) состоит из двух слоев: общенародных черт и частных диалектных. Так, в предложении говора южных Вогез «*ce feût l'ênâie où qu'il n'y ot tant de pajе*» в переводе на литературный французский: «*ce fut l'année où il y eut tant de neige*» ряд элементов — *ce, l', où, il n'y, tant de* — совпадает с общепонятным литературным языком, в то время как *feût, ênâie, qu'il, ot, pajе* представляют собой диалектные черты. Из них *ot* является архаизмом, *feût, ênâie, pajе* — диалектизмами, свойственными восточной области Франции, *qu'il* характерно для народно-разговорной речи вообще, в которой союз *que* имеет гораздо большие функции и гораздо большую частотность употребления, чем в литературной. Как видно, частно-диалектные черты представляют собой весьма многообразную картину. Они могут включать архаизмы⁷ (так, *megier* < *medicage* «лечить», «ухаживать», *fiens*, совр. *fumier* «навоз»), неологизмы (*hyrantelle*, образованное из *agagne+toile*, совр. *araignée* «паук» и встречающееся с XVI в.), собственно диалектизмы (*échaudure* «крапива», *dérôter* «раздевать»), особенности абстрата или субстрата (*handler* «подметать», к нем. *Hand* «рука», *filer, filière* в значении *araignée* «паук», калька с нем. *Spinne*), географические варианты слов (*fouet* и *chasseur* «кнут»), элементы народно-разговорной речи (см. выше употребление союза *que*).

⁵ Б. А. Ларин. Об атласе русского языка и современной диалектологии. «Уч. зап. гос. пед. ин-та; факультет литературы и языка», т. 1. Ростов-на-Дону, 1939, стр. 110.

⁶ F. Lázaro Carreter. *Diccionario de términos filológicos*. Madrid, 1953, p. 111.

⁷ Все примеры приводятся из лотарингского диалекта французского языка.

В количественном отношении эти части очень различны, иногда в зависимости от того, о каком диалекте идет речь. Каждый из перечисленных компонентов имеет свою специфику и представляет интерес для исследования диалекта.

Для выявления черт, дифференцирующих диалектологию, и для более полной характеристики лингвистической географии сопоставим их по следующим признакам.

Источники исследования. Как уже отмечалось, источниками исследования лингвогеографа служат атласы, диалектные словари, монографии и тексты в определенном территориальном и хронологическом расположении. Источники исследования диалектолога — изучение живой речи и текстов.

Методы исследования. Лингвогеограф пользуется ареальным (изоглосным) методом исследования, диалектолог — методом полевого анкетирования и филологического анализа текста.

Цели и результаты исследования. Лингвогеограф выявляет границы диалекта и поддиалектов в целом, а также границы отдельных фонетических, лексических или грамматических черт. Тем самым он дает картину диалектного дробления языка и выявляет структуру диалекта. Диалектолог занят в первую очередь записью устной речи, комментированием диалектных текстов, изучением отдельных диалектных особенностей, созданием словарей и диалектных монографий, созданием атласов. Диалектология по сравнению с лингвистической географией скорее описательная, анализирующая наука. Лингвистическая география по сравнению с диалектологией обладает большими возможностями к обобщениям, благодаря охвату большой территории и большого количества фактов. Факторы времени и территориальный в лингвистической географии выражены четче, чем в диалектологии.

Итак, лингвистическая география обладает большей спецификой; диалектологии по источникам, методам и результатам исследования очень близка к любому филологическому исследованию, в то время как в лингвистической географии в большой мере обнаруживается тенденция к выделению ее в самостоятельную дисциплину⁸.

Лингвистическая география завоевывает все большую территорию не только романских языков, но и многих других языков как индоевропейских, так и неиндоевропейских. Значительного развития лингвистическая география достигла в германоязычных странах⁹, опыт которых, в частности, работы Г. Венкера, Ф. Вреде,

⁸ См. М. А. Бородина. Лингвистическая география и диалектология (опыт разграничения лингвистических дисциплин). В сб.: «Omagiu lui Alexandru Rosetti la 70 de ani». București, 1965.

⁹ См. В. М. Жирмунский. Немецкая диалектология. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1956; его же. О некоторых проблемах лингвистической географии. ВЯ, 1954, № 4.

Т. Фрингса, значительно обогатил романскую диалектологию¹⁰. Немало сделано и для славянских языков — польский, белорусский, украинский (еще незаконченный) атласы, атлас говоров русского языка (издан все еще только частично) и т. д. Как известно, ведется большая работа по изданию общеславянского лингвистического атласа (ОЛА). Советская школа иранистов-диалектологов, воспитанная И. И. Зарубиным, сделала немало для изучения иранских языков и диалектов, в частности для таджикского языка и для памирских языков¹¹. Проектируется и уже составляется общепамирский лингвистический атлас¹².

Следует упомянуть и ту огромную работу, которая ведется над составлением Атласа тюркских языков¹³ и, в частности, над атласами азербайджанского, узбекского, татарского, казахского, чувашского, киргизского, бурятского и туркменского языков.

Диалектология и лингвистическая география отнюдь не ограничиваются составлением атласов и этюдами традиционного диалектного плана. Обработка атласов, методика использования их материалов, применение к лингвогеографическим задачам новых методов — один из актуальнейших вопросов современной диалектологии и лингвогеографии, о чем свидетельствует уже немалая библиография этого вопроса.

К настоящему времени из всех групп языков только все романские языки Европы получили свои атласы¹⁴. Значительная часть этой территории имеет и региональные атласы.

Лингвистические атласы романских языков строятся более или менее по одному принципу. Романисты продолжают придерживаться метода Ж. Жильерона, основоположника лингвистической географии. Но имеются и некоторые отклонения. Так, в Валлонском атласе используются символы для обозначения понятий, в то время как во всех других атласах около исследуемого пункта пишется слово в транскрипции. В Шампанском атласе при составлении карт широко применяется вычерчивание изоглосс.

Сравним все зональные атласы Романии по особенностям вопросников, густоте сетки, методам собирания материалов.

Особенности вопросников. В основу ALF вначале было положено 1400 вопросов. Во время анкеты количество вопросов было увеличено до 1920. По мере необходимости добавля-

¹⁰ См. М. А. Бородина. Сопоставительное изучение французской и немецкой диалектографии. В сб.: «Методика сравнительно-сопоставительного изучения романских языков». М., «Наука», 1966.

¹¹ См., например, 19 диалектологических карт, приложенных к кн.: В. С. Расторгуева. Опыт сравнительного изучения таджикских говоров. М., «Наука», 1964.

¹² См. G. Redard. Atlas linguistique de l'Iran. «Труды двадцать пятого Международного конгресса востоковедов». М., 1963, стр. 294—296.

¹³ См. В. М. Жирмунский. О диалектологическом атласе тюркских языков Советского Союза. ВЯ, 1963, № 6.

¹⁴ О них см. М. А. Бородина. Проблемы лингвистической географии. М.—Л., «Наука», 1966, стр. 45 и сл.

лись новые слова, которые трудно было предусмотреть заранее. В частности, в вопросник «была влита» большая анкета по терминам флоры. Многие диалектологи критиковали вопросник Жильерона, считая его неполным и недостаточно обоснованным. Утверждали, что Жильерон игнорировал слова, представляющие большой интерес, и что он недостаточно учел особенности фауны, флоры, экономики и т. д. И тем не менее этот вопросник Жильерона был положен в основу будущих атласов Романии¹⁵, правда, со значительными изменениями и дополнениями.

По сравнению с ALF последующие лингвистические атласы Романии включали большее количество вопросов: ALCat — 2886, AIS — 6800 (нормальный, сокращенный и расширенный вопросник), ALR I — 2160, ALR II — 4800, АЛМ — 2548¹⁶.

Три вопросника AIS — нормальный, сокращенный и расширенный — были составлены с целью проведения более глубокого изучения диалектов Италии и Швейцарии. Нормальный вопросник, состоящий из 2000 слов и словоформ, был применен в обследовании 354 населенных пунктов. Некоторые вопросы задавались только в Альпах и в романизованной части Швейцарии, в то время как другие — по всей территории. Сокращенный вопросник, состоящий примерно из 800 вопросов, опрашивался в 28 населенных пунктах, и большей частью в Северной Италии, с целью изучения состояния городских говоров. Расширенный вопросник, состоящий из около 4000 вопросов, был опрошен в 30 населенных пунктах, в местах наибольшего сохранения диалектов.

При составлении вопросника для ALR преследовались две цели: как можно полнее изучить все говоры румынского языка и проводить в дальнейшем сравнительные этюды для всей Романии в целом (объединение Восточной и Западной Романии). Именно поэтому в основу вопросника ALR были положены материалы не только ALF, но AIS Яберга и Юда, Каталанского атласа А. Гриера и других атласов. Кроме общероманских вопросов были включены также и частные вопросы, освещающие особенности жизни румынского народа и его цивилизации, отличные от других романских народов¹⁷.

При составлении вопросника АЛМ учитывались сравнительно-историческая и так называемая структуральная проблематика¹⁸, с тем чтобы показывать современную лингвогеографическую картину молдавских говоров, дать материал для исторического анализа. Как и вопросник ALR, этот вопросник был составлен с учетом возможности проведения общероманских исследований.

¹⁵ Кроме атласа Каталонии, для которого А. Гриера принял за модель вопросник Жильерона для лингвистического атласа Корсики.

¹⁶ Наименьшее количество вопросов в атласе Г. Вейганда — всего 130 вопросов, ориентированных в основном на вопросы фонетики.

¹⁷ S. Pop. *La dialectologie. Aperçu historique et méthode d'enquête linguistique*, ч. I — *Dialectologie romane*. Louvain, 1950.

¹⁸ Кестинарул Атласулуй лингвистик молдовенеск. Кишинэу, 1960, стр. 31.

Вопросники романских атласов составлены либо в алфавитном порядке (ALF, ALPI, ALCat, Атлас Сардинии), либо тематически (AIS, ALR, АЛМ). Восемь томов AIS разбиваются на основные семантические группы: Familie, Handwerk und Handwerkzeug, Mineralien, Schlaf und Toilette, Krankheit und Heilung, Moralische Eigenschaften und Affekte и др. К последнему тому приложены грамматические таблицы.

Тематика вышедших томов ALR включает: Agricultura, Morărit, Grădinărit, Pomărit, Creșterea, Carul, Păstorit, Plante, Animale, Sălbaticе, Pescuit, Timpul, Ape, Configuratia terenului, Navigație, Imbrăcămintе, Character и др.

Что касается АЛМ, то здесь отдельно рассматриваются диалектные особенности фонетики, лексики, грамматики и словообразования.

Густота сетки. В зональных атласах сетка опросных пунктов довольно редкая. В среднем расстояние между пунктами составляет от 10 до 30 км, т. е. в разных атласах густота сетки различна. Приведем цифровые данные в соотношении с площадью и количеством населения¹⁹:

ALPI	один пункт	соответствует	1100 км ²	и	68 000	жителям.
ALF	»	»	830	»	и 64 000	»
AIS	»	»	834	»	и 98 000	»
ALR I	»	»	840	»	и 50 000	»
ALR II	»	»	634	»	и 38 000	»

В атласе Каталонии один пункт соответствует 600 км². Значительно гуще представлена сетка Молдавского лингвистического атласа. На территории Молдавской ССР густота сетки составляет одно село к восьми, а расстояние между пунктами от 10 до 12 км. Один пункт соответствует 207 км².

Методы собирания материала. В целом все составители романских зональных атласов придерживаются более или менее единой методики собирания материалов. Наблюдаются, однако, и довольно существенные различия. Так, например, если в атласах Франции, Италии и Молдавии материал собирался прямым методом опроса, то в ALR I анкета проводилась заочно, т. е. авторы отсылали вопросник во все области Румынии. Различается методика и по количеству и выбору анкетаторов.

Для ALF весь материал был, как известно, собран одним человеком — Эдмоном, не имевшим филологической подготовки. Жильерон сознательно остановил свой выбор на таком анкетаторе, полагая, что это даст возможность собрать материал наиболее объективно. В ALCat материал также собирался только одним человеком — А. Гриера, но в отличие от Эдмона этот человек был

¹⁹ M. Alvar. Historia y metodología lingüísticas. A propósito del Atlas de Rumania. «Acta Salamanticensia», 1951, vol. IV, No. 4, pp. 13—14.

специалистом, большим знатоком каталанских диалектов. Он же явился издателем атласа.

В отличие от двух предыдущих атласов в AIS было три анкетатора — П. Шейермеер, Г. Рольфс, М. Л. Вагнер. Все трое крупные специалисты в области романской филологии.

ALR I также имел несколько анкетаторов. По примеру швейцарских лингвистов, составители ALR уделили особое внимание этнографии, а по примеру итальянских — фольклору. Еще в начале работы над атласом каждый раздел был поручен соответствующему анкетатору: лингвистика — С. Попу, ономастика — Шт. Пашка, этнография — Э. Петровичу.

Материалы для АЛМ собирались небольшой группой специалистов. За каждым из них был закреплен определенный раздел.

Что касается выбора информаторов, то и здесь составители атласов придерживались более или менее единых принципов, а именно информатор должен быть коренным жителем данного населенного пункта, все время проживающим в данной области, которому хорошо знакома природа своей области, по преимуществу пожилым. Тем не менее в среднем возраст информаторов колеблется от 30 до 60 лет. В ALF имеются информаторы еще более молодые. Как правило, названия предметов домашнего обихода спрашивались обычно у женщин, а сельскохозяйственная терминология — у мужчин. Анкетаторы АЛМ одновременно собирали тексты, которые записывали на магнитофонной ленте.

В некоторых атласах, по преимуществу в последних, широко используются зарисовки, как в AIS или фотографии — в ALR. Другие же ограничиваются лингвистическим материалом, к примеру, ALF.

Бесспорно то огромное значение, которое имеет каждый из перечисленных атласов для изучения соответствующих языков и диалектов. Нам хотелось бы показать один из опытов проведения по этим атласам сравнительных этюдов для всей Романии из области лексико-семантической.

При изучении лексики прежде всего следует исходить из вопросов, совпадающих во всех или в ряде атласов. Так, из 72 терминов виноградарства, виноделия и садоводства, представленных в романских атласах, в пяти атласах — каталанском, французском, итальянском, румынском, молдавском — совпадает семь вопросов: *un tonneau, un cep, la couve (à vendanger), le pressoir, le marc de raisain, l'eau de vie, abricot. Cerise* представлено ALPI и во всех указанных атласах, кроме каталанского.

Девять вопросов совпадают в четырех атласах (указывается номер карты; см. табл. на стр. 34).

Приведем анализ термина *cep de vigne* «нижняя часть ствола виноградного куста», отмеченного всеми зональными атласами.

По этому термину отчетливо противопоставляется балкано-романский массив всей остальной зоне.

Вопросы	Атласы				
	ALCat	AIS	ALF	ALR sn	ALM
	Карты				
1. Grappe	—	1314	1832	230	1887
2. Cercle	463 464	1327	213	339 341	—
3. Robinet	46	1329	1160	—	1896
4. Les conscrits	—	1314	1583	231	1888 1890
5. Coing	500	1271	1510	207	—
6. Pêche	105	1283	987	210	—
7. Noix	—	1298	920	212	1844
8. Coquille	497	1296	322	213	—
9. L'amande de noix	83	1300 1284	1162 1753	214	—

На карте ЛАФ 1780 *Ser de vigne*²⁰ в основном выделяются два ареала, разделяющие юг Франции на две части: в северной части *rué d vin*, в южной части — *sukó*. Такое деление относительное, так как на территории этих ареалов мы находим и островки других терминов, как, например, *ser (o)*.

Термин *rué d vin* засвидетельствован также в итальянской части Швейцарии и в диалектах Северной Италии под формой *re da vit*, в значении «основание виноградного кустика» (см. AIS карта 1305). Для понятия *vite* «виноградная лоза, основание виноградного кустика» в итальянской Швейцарии установлено три типа названий: *viña*, *vit povella*. Тип *viña* приобрел значение «коллективности» («виноградник», а также «виноградный кустик») и развил это значение во всех романских языках.

²⁰ По этому термину территория Франции обследована в ALF не вся. Примеры приводятся в транскрипции, принятой в атласах.

Тип vite носит также значение «коллективности». В классической и в средневековой литературе он был засвидетельствован как *campo coltivato a vite*. С этим значением лат. *vite* сохранилось в Испании *vid*, Италии, итальянской Швейцарии *vite*, в Румынии и в Молдавии *viță de vie*.

Тип *povella* в значении vite восходит к лат. *povella* и распространен только в итальянской Швейцарии.

В зоне ареала *puе d vin* мы встречаем термин *ser*, *ser* в том же значении. Он образует несколько островков, распространяется также в итальянской Швейцарии²¹ и на Иберийском полуострове. Так, по данным карты ALPI, 42 Сера, в португальском языке распространен *ser*, в каталанском *ser*, а в остальной территории Испании *veera*, употребляющееся в значении *Ser de vigne*. В Сардинии: *la ita*, *la vīda*, *lu vīndu*, *lu saymmēntu*, *șu șrāmēntu*.

В восточной Романии для понятия «основание виноградного кустика» мы обнаруживаем два термина — *butúc* и *туфы*, которые отделяют этот массив от Западной Романии. Эти два термина тоже латинского происхождения²². Термин *бутук*, *butúc*²³ распространен в Черновицкой области, на северо-западе Молдавии, а также на юге. Он же распространяется и в Румынии, охватывая области: Арад, Орадеа, Бая Маре, часть Клужской области, Сучява, Яссы, Бакэу, Бырлад, Галацы, Плоешты, Бухарест. Таким образом, *бутúk* *butúc* образует сплошной и непрерывный ареал на территории Молдавии и Румынии. А. Чиоранеску относит это слово к латинской форме *bōttum* «ветка без кончика». На этом массиве выделяется также ареал (*туфы* *túfă*), который преобладает в Молдавии, охватывая центр республики и два пункта в Румынии — пп. 386, 416. *Túfă* — родовое название, данное любому кусту с густыми ветками, которые прорастают от его основания. Слово восходит к латинскому *túfa*²⁴ «куст», заимствованному в свое время из греческого языка.

Территория Романии делится по этому значению на следующие ареалы. На Иберийском полуострове — *ser* в португальском, *ser* в каталанском и *сера* в остальной территории Испании; в Италии: *la vī* — Пьемонт, *la vīda* — Ломбардия, Эмилия, *la vīta* — центральная и южная Италия, в Румынии *butúc* и его синонимы, в Молдавии *туфы* и *бутúk*.

²¹ E. Ghirlanda. La terminologia viticola nei dialetti de la Svizzera italiana. *Romanica Helvetica*, vol. 61. Berna, 1956, p. 41.

²² На незаштрихованной части Румынии значительное количество синонимов *butúk*: *búzúm*¹, *sótás*, *cápete de ví*¹*e*, *trupínă*, *buturúgă*, *d'i d'i*¹*ie*, *rădăcină de strúgur*¹.

²³ Сведения об этом термине для Молдавии взяты из картотеки «Атласу лінгвистик Молдовенеск» (рукопись). Для Румынии см.: *Atlasul lingvistic român*, vol. 1. Bucurerști, 1956, карта 225.

²⁴ Meyer-Lübke. *Romanisches Etymologisches Wörterbuch*, s. v. *túfa*.

Размеры статьи не дают возможности подробнее раскрыть значение отдельных ареалов и остановиться на этимологии и истории упомянутых терминов.

Поскольку вся территория Романии сравнительно недавно покрылась сетью лингвистических атласов (некоторые из них еще продолжают выходить), естественно, что количество общероманских лингвогеографических исследований пока очень невелико. Однако поскольку аналогичного типа работа ведется не только по атласам, но и по другим источникам (см. выше стр. 34), то к настоящему времени уже можно назвать ряд интересных комплексных работ, построенных на данных текстов, атласов, словарей, в которых изучаются либо общие, либо частные вопросы романистики. Это работы Г. Рольфа²⁵, С. Попа²⁶, Х. В. Клайна²⁷, Р. Синдау²⁸, И. Иордана²⁹, Н. Эбисера³⁰ и др.

* *

*

В заключение перечислим те общие проблемы, которые могут быть поставлены по материалам лингвистических атласов: вопросы исторической семантики, изучение «малого синтаксиса», реконструкция древнейшего состояния того или иного явления, пути распространения литературных волн, зоны Романии, изучение маргинальных зон (контактных с языками других систем), проверка и уточнение членения романских языков на восточные и западные, уточнение позиций «малых» романских языков (галисийский, валлонский, каталанский, ретороманский, истрорумынский и др.) и, прежде всего, создание сравнительно-исторической грамматики с учетом не только литературных языков, но и всего многообразия диалектного языка.

²⁵ G. Rohlfs. Die lexikalische Differenzierung der romanischen Sprachen. München, 1954.

²⁶ S. Pop. Atlas linguistique roumain, Pontex et follis en roumain et dans les langues romanes. «Orbis», 1959, t. VIII, No. 1, pp. 109—128.

²⁷ H. W. Klein. Contribution sémantique de la Romania. «Orbis», 1961, t. X. No. 1, pp. 149—156

²⁸ R. Sindau. Noms de castor dans la Romania. «Revue de Linguistique Romane», 1957, t. XXI, No. 83—84, pp. 231—248.

²⁹ I. Iordan. Romîna și spaniola, arii laterale ale latinității. «Studii și cercetări lingvistice», 1964, vol. 1.

³⁰ P. Aebischer. Répartition et survivance des deux types iscla et i(n) sula dans les langues romanes. «Baletim de Filologia», 1952, t. XIII, pp. 185—200. Lisboa.

**К ВОПРОСУ О «НЕФЛЕКТИВНОЙ МОРФОЛОГИИ»
(аналитический претерит в каталанском языке)**

Проблема «аналитического формообразования» и так называемой нефлективной морфологии заслуженно привлекает внимание лингвистов и приобретает все большее число сторонников. Однако на некоторые из основных вопросов, связанных с аналитическими конструкциями, с процессом образования аналитических форм, т. е. с грамматизацией, у исследователей есть различные точки зрения, в частности относительно природы служебного слова¹.

С достижением полной грамматизации, т. е. полной десемантизации служебного слова в глагольных аналитических конструкциях служебный глагол превращается во вспомогательный (в отличие от полувспомогательного, сохраняющего в большей или меньшей степени свое лексическое значение). После этого он выражает грамматическое значение знаменательного слова и всей конструкции. Но процесс грамматизации может продолжаться в сторону дальнейшей морфологизации служебного слова, вплоть до слияния со знаменательным в единое слово и превращения в аффиксальную морфему. Одним из решающих факторов этого процесса, еще недостаточно изученного, являются, как это полагает В. М. Жирмунский, особые условия акцентуации в энклизе по сравнению с проклзой и воздействие структуры слова в индоевропейских языках, где грамматические аффиксы словоизменения стоят большею частью в конце, а не в начале слова². Превращение самостоятельного формального слова в морфему знаменательного слова можно хорошо проиллюстрировать на материале романских, в частности пиренейско-романских языков. Так, в одном и том же литературном памятнике XII в. одновременно употребляется раздельно оформленная (сложная) глагольная форма и простая глагольная форма с тем же значением как цельнооформленная единица. Например, кондиционал в староиспанском *conbidar le yep de grado, mas ninguno osaua* (Сид, 21) — они охотно его пригласили бы, но никто не осмеливался; наряду с этим: *osagien* (= *conbidarien*) и др. (тот же кондиционал, в том виде, в котором он сохранился и в современном испанском языке); или форма будущего времени от глагола *ir* идти и др. ср. *ir ge lo he* и *igé* — я пойду (*ib*); совр. порт. *amar-lhe-ei* «я его буду любить», где *lhe* —

¹ См. В. М. Жирмунский. Об аналитических конструкциях. В сб.: «Аналитические конструкции в языках различных типов». М., «Наука», 1965, стр. 7 и 9 и другие, а также М. М. Гухман. Грамматическая категория и структура парадигм. В сб.: «Исследования по общей теории грамматики». М., «Наука», 1968, стр. 143—144.

² В. М. Жирмунский. Ук. соч., стр. 8—9.

личное местоимение и *amarei*³. В каталанском, как и в прочих романских языках, формы будущего времени (*futuro*) и кондиционала образовались, как известно, путем присоединения к инфинитиву спрягаемого глагола форм настоящего времени индикатива и имперфекта вспомогательного глагола *habère* соответственно. Эти формы глагола *habère* в поздней латыни и в раннюю романскую пору претерпели значительное сокращение и присоединились в виде окончания к инфинитиву спрягаемого глагола, образуя романскую синтетическую форму будущего времени и кондиционала. В видо-временной системе каталанского глагола в результате этого процесса образовалась следующая новая парадигма спряжений будущего времени (*futur*) и кондиционала (*condicional*):

Futur: 1) *cantare-aio* > *cantaré*; 2) *cantare-as* > *cantar-às*; 3) *cantare-at* > *cantarà*; 4) *cantare-emus* > *catar-em*; 5) *cantare-etis* > *cantar-ets* (уст.), *cantar-eu*; 6) *cantare-ant* > *cantar-an*.

Condicional: 1) *cantare-iam* > *cantar-ia*; 2) *cantare-ias* > *cantar-ies*; 3) *cantar-iat* > *cantar-ia*, 4) *cantare-iamus* > *cantar-iem*, 5) *cantar-íatis* > *cantar-íets* (уст.), *cantar-íeu*, 6) *cantare-íant* > *cantar-ien*.

Формы настоящего времени и имперфекта соответственно глагола *habère* в процессе исторического развития превратились в аффиксальные морфемы: 1) *-é* > **-ayo* (романская форма) < кл. лат. *habeo*, 2) *-às* < **as* < *habes*, 3) *-à* < **-at* < *habet*, 4) *-em* < **-emus* < **abemus* < *habemus*, 5) *-ets*, *-eu* < **-etis* < **abetis* < *habetis*, 6) *-an* < **ant* < *habent*; и в кондиционале: 1) *-ia* < < *-iam* < **abiam* < *habebam*, 2) *-ies* < **-ias* < *abías* < *habebas*, 3) *-ia* < **-iat* < **abiát* < *habebat*, 4) *-iem* < **-iamus* < **abíamus* < *habebamus*, 5) *-íets*, *-íeu* < **-iatis* < **abíatis* < *habebatis*, 6) *-ien* < **-íant* < **abíant* < *habebant*⁴.

Расхождения в трактовке вопросов, связанных с аналитическими глагольными инструкциями, могут быть вызваны специфическими различиями исследуемого языкового материала и методов исследования. Для романских, и в частности пиренейско-романских, языков грамматическая характеристика которых была в значительной мере осложнена влиянием «латинской традиции», особенно важно изучить природу и происхождение аналитических форм как проявление одной из основных закономерностей развития их грамматического строя⁵. На общем фоне многочисленных и весьма разнообразных описательных конструкций пиренейско-романских

³ См. О. К. Васильева-Шведе. Об аналитических глагольных конструкциях в иберо-романских языках. В сб.: «Аналитические конструкции в языках различных типов». М., «Наука», 1965.

⁴ F. de Moll. *Gramática històrica catalana*. *Biblioteca románica hispánica*. Madrid, 1952, p. 246.

⁵ См. О. К. Васильева-Шведе. Об аналитических глагольных конструкциях в иберо-романских языках. Ук. соч., стр. 108—112; ее же. Некоторые закономерности грамматического строя иберо-романских языков. Сб. «Вопросы романского языкознания». Материалы первого всесоюзного совещания по романскому языкознанию. Кишинев, 1963, стр. 67.

языков особый интерес представляют аналитические формы, развившиеся в каталанском языке на базе глагола *apar* + инфинитив спрягаемого глагола, образовавшие свою подсистему описательных форм в парадигме глагола. Характерной чертой системы глагольного спряжения в каталанском является описательный, так называемый перифрастический претерит, который образуется из сочетания инфинитива спрягаемого глагола с предшествующими ему унифицированными формами настоящего времени вспомогательного глагола *apar*: 1) *vaig* (или менее употребительной *vàreig*), 2) *vas* (или *vàges*), 3) *va*, 4) *vam* (или *vàrem*), 5) *vau* (или *vàveu*), 6) *van* (или *vàren*). 4 и 5 формы «*vam*» и «*vau*» образовались по аналогии с остальными вместо 4) *anem* и 5) *aneu*. (Ср. Презенс гл. *apar*: 1) *vaig*, 2) *vas*, 3) *va*, 4) *anem*, 5) *aneu*, 6) *van*.) Указанные в скобках формы с *r* (*vàreig*, *vàges* и др.) образовались по аналогии: форма 6) *vàren* — по соответствующей форме претерита глаголов 1-го спряжения (ср. *amaren*) и распространилась на формы 4 и 5, менее устойчиво употребляется во 2-й и с колебаниями в 1-й⁶.

Каталанский перифрастический претерит развился на базе формы настоящего времени спрягаемого глагола *apar* < **andare*, т. е. *vadeo* и др. + инфинитив глагола, обозначающего действие: 1) **vadeo*>*vaig*, *vai*, 2) *vadis*>*vas*, 3) *vadit*>*va*, 4) **andamus*>*anam*, *anem*, 5) **andatis*>*anats* (уст.), *anau*, *aneu*, 6) *vadunt*>*van* + инфинитив.

Описательная конструкция из глагола *apar* + инфинитив зафиксирована в каталанском в раннюю пору его письменности: в языке произведений Рамона Лулла (1235—1316), в Хронике Жауме I (1208—1276), но в этих текстах указанная конструкция выступает со значением настоящего времени, как и в других романских языках (ср. ст.-прованс. *vai dir*, каст. *va besar*), и не обладает еще значением прошедшего времени, которое она приобретает позднее. Ф. Мольт отмечает древность перифрастического претерита в каталанском, приводя примеры из Хроник Жауме I (XIII в.) и Рамона Мунтанера (нач. XIV в.): *E van ferir en la devantera los nostres als sarraïns* (Jaume I). *Van venir envers En Benguer d'Entença* (Muntaner)⁷. А Бадия Маргарит, однако, полагает, что в старой конструкции *e van ferir* (En Jaume I) не следует усматривать значение прошедшего времени, которое имеет современная аналитическая форма *van ferir* (исп. *hirieron*), так как она в ту пору сохраняла еще первоначальное свое значение настоящего времени, ничем не отличающееся от значения простой формы презенса того же знаменательного глагола: *fereixen* (ib.)⁸. Тем не менее А. Бадия сам отмечает древность перифрастического претерита, ссылаясь на его относительно частое употребление в тек-

⁶ А. Badia Margarit. Gramàtica històrica catalana. Barcelona, 1951, p. 324.

⁷ См. F. de Moll. Op. cit., pp. 335—336.

⁸ А. Badia Margarit. Op. cit., p. 327.

стах XIV и еще более частое в текстах XV в. Несмотря на это, к концу XV в. предпочтение еще отдается синтетической форме претерита, так как формы *vaig apar* и *vaig venir* вместо *aní* и *venguí* (*vaig apar e vaig venir per aní e venguí*) в то время вызывали осуждение⁹.

В старокаталанском спряжении существовали 2 формы настоящего времени (простая и описательная) и 2 формы прошедшего времени. При общей для Романии тенденции к сокращению форм, восходящих к латинскому перфекту, особенно так называемых «сильных» глаголов возникала необходимость соответствующей замены, которая в разных романских языках осуществлялась по-разному; в каталанском же при двух равнозначных формах настоящего времени оказалось возможным заполнить пробел исчезнувшего латинского перфекта описательной формой настоящего времени. По мнению Бадии Маргарит, этому благоприятствовали: а) совпадение форм в 4) *anam*, 5) *anats* настоящего времени и претерита глагола *apar* и б) постоянное смешение настоящего исторического и претерита в старых текстах¹⁰.

Формы настоящего времени (*present*) были следующие: простые — 1) *cant*, 2) *cantes*, 3) *canta*, 4) *cantam*, 5) *cantats*, 6) *canten*; описательные: 1) *vau cantar*, 2) *vas cantar*, 3) *va* (или *vai*) *cantar*, 4) *anam cantar*, 5) *anats cantar*, 6) *van cantar*.

Формы прошедшего времени (*perfect*): простые — 1) *canté*, 2) *cantist*, 3) *cantà*, 4) *cantam*, 5) *cantats*, 6) *cantaren*; описательные — 1) *aní* (или *ané*) *cantar*, 2) *anist cantar*, 3) *anà cantar*, 4) *anam cantar*, 5) *anats cantar*, 6) *anaren cantar*.

Моль, ссылаясь на Монтолиу¹¹, также отмечает, что в основе происхождения перифрастической формы *vaig* + инфинитив лежит употребление в старокаталанском конструкции *apar* + инфинитив со значением настоящего времени (*present històric*) в повествовании¹².

После соответствующей эволюции значения от настоящего к прошедшему описательный каталанский претерит обрел следующий вид: 1) *vaig cantar*, 2) *vas cantar*, 3) *va cantar*, 4) *anam cantar*, 5) *anats cantar*, 6) *van cantar*, совпадающий с видом, который имеет описательный претерит в современном альгерском диалекте. С приобретением этой формой значения прошедшего времени постепенно исчезло восприятие описательной конструкции как перифразы, и *va-venir* стало восприниматься как единое слово, чему способствовала аналогия, в силу которой формы 4) *anam*, 5) *anats* заменились формами: 4) *vam*, 5) *vats*, *vau*. Описательная форма каталанского претерита распространилась и на другие временные глагольные формы: на предпрошедшее время (*Prétérit anterior*) в

⁹ A. Badia Margarit. Op. cit., p. 326.

¹⁰ Ibid., p. 327.

¹¹ M. de Montoliu. Notes sobre el perfet perifràstic català. Estudis Romànics, I, 1916, pp. 72—83.

¹² F. de Moll. Op. cit., p. 336.

результате замены *haguí* перифразой *vaig haver cantat* и т. д., а также претерит сослагательного наклонения (*Pretèrit Subjunctiu*).

В соответствии с формой перифрастического претерита индикатива, сочетание * *vadeam* + инфинитив послужило основой в каталанском для образования особой временной формы претерита сослагательного наклонения (*Pretèrit Subjunctiu*), который не имеет соответствующей эквивалентной формы в системе испанского глагола и ни в каком другом языке: 1) *vagi cantar*, 2) *vagis cantar*, 3) *vagi cantar*, 4) *vàgim cantar*, 5) *vàgiu cantar* и 6) *vagin cantar*¹³.

Таким образом, внутри системы каталанского спряжения образовалась своя подсистема описательных форм, являющихся, по утверждению грамматик, якобы полными эквивалентами соответствующих простых форм.

Все грамматики каталанского языка отмечают наличие в этом языке двух форм претерита — простой (синтетической) и аналитической (перифрастической). Простая форма претерита полностью вытеснена в разговорной речи. В письменном языке эти две формы пока сосуществуют. Что касается взаимоотношения этих форм, сходства и различия в их значении, то обычно признается их полная эквивалентность, что, однако, по ряду соображений не может не заставить внимательнее приглядеться к употреблению той и другой формы в современном письменном литературном каталанском языке, как в грамматическом, так и в стилистическом плане.

Соглашаясь с Р. А. Будаговым, что «задача конкретной теории и истории отдельного языка или группы родственных языков заключается в том, чтобы по возможности объяснить, как и почему одна форма побеждает другую»¹⁴, следует глубже вникнуть в причины вытеснения простой формы каталанского претерита его перифрастической формой. Форма эта несомненно еще недостаточно исследована и нуждается в дальнейшем изучении.

В классической нормативной грамматике Фабры каталанский перифрастический претерит (перфект) в современном языке характеризуется следующим образом. Каталанский имеет перфект индикатива, который образует предпосылки к инфинитиву спрягаемого глагола — *vaig, vas, va, vam, vau, van; vaig portar — llevé; vas portar — llevaste; va portar — llevó; vam portar — llevamos; vau portar — llevasteis; van portar — llevaron*; формы *vaig, vas, vam, vau* и *van* нередко заменяются формами: *vàreig, vàres, varem, vareu* и *varen*; например: *Ayer fuimos al museo. — Air vam anar al museu; El año pasado vinieron los dos. — L'any passat van venir tots dos; Jaime I murió el año 1276. — En Jaume va morir l'any 1276; ¿Cuándo le escribiste? — Quan li vas escriure?* или *Quan vas escriure-li?*

¹³ F. de Moll. Op. cit., p. 336.

¹⁴ Р. А. Будагов. Введение в науку о языке. М., «Просвещение», 1958, стр. 214.

Этот перифрастический перфект (*vaig portar, vas portar* и т. д.) полностью заменил простой перфект (*portí, portares* и т. д.) в Барселоне и в большей части области распространения каталанского; однако в письменном языке продолжают употребляться преимущественно простые формы перфекта (претерита)¹⁵. А. Бадия пишет, что в современном каталанском во всех диалектах употребляются формы описательного претерита. Однако если в большей части области каталанского в разговорном языке употребляется только описательная форма претерита, а в письменном языке и та и другая (хотя нормативная грамматика рекомендует для литературного языка простую форму), то в балеарском и особенно в валенсийском сосуществуют обе формы претерита — простой и описательный (перифрастический) с преобладанием первого¹⁶. Д. Джили отмечает, что эта перифрастическая форма претерита значительно более употребительна (*is in far greater use*) и более изящна (*is more elegant*), чем простая форма, которая является литературной временной формой (*is a literary tense*). Она состоит из настоящего времени изъявительного наклонения глагола *apar*, идти + инфинитив глагола, выражающего действие¹⁷.

Изучение довольно большого количества литературных текстов позволяет сделать следующие наблюдения весьма предварительного характера над функционированием перифрастического претерита в современном каталанском языке:

В «Атлантиде» — эпической поэме известного каталанского поэта Вердагера (1845—1902), получившего премию на «Цветочных Играх» (*Jocs Florals*) в 1865 г., употребляется только простая форма прошедшего времени (*Prètèrit simple*) — 65 раз на 167 страницах¹⁸. В испанском переводе ей соответствует обычно простое прошедшее (*Prètérito simple*). Однако в 35 случаях это соответствие нарушается и из 35 случаев несоответствия испанской форме простого прошедшего времени в каталанском тексте употребляется форма настоящего времени — 9 раз, например: кат.: *Es somni, mes ses tímbeds y platja cruixen pul*; исп. *Sueño fué; no obstante, cruixen ya sus playas y sus cumbres* (стр. 80, 81); кат. *Vora Àfrica ab mos héroes a nit m'endormiscava, // quan veig colossal Geni baixar del firmament*; исп. *Cerca del Àfrica adormeciame anoche con mis héroes, cuando ví descender del firmamento un Genio colossal* (стр. 90, 91) и др., а также, но много реже (7 раз) встречается сложная перфектная форма вместо испанского простого претерита, например, кат. *Qui en terra us ha posades per sempre vos hi deixa*; исп. *La que os puso en el mundo para siempre en él os deja* (стр. 124, 125; см. также стр. 10, 16, 130, 138). Чаше же всего — 11 раз — в каталанском тексте в соответствии с испанским про-

¹⁵ P. Fabra. Gramática de la lengua catalana. Barcelona, 1912, p. 139.

¹⁶ A. Badia Margarit. Gramática catalana, vol. II. Madrid, 1962, p. 327.

¹⁷ J. Gili. Catalan Grammar. Oxford — London, 1943, p. 38.

¹⁸ La Atlántida. Poema de Mossen Jacinto Verdaguer ab la traducció castellana per Melcior de Palau. 9-a edició. Barcelona, 1905.

тым претеритом встретился имперфект (Imperfect), например, кат. Al temps que'l gran Alcides anava per la terra, //...en flames esclatava nevat lo Pirineu; исп. Por los tiempos en que el grande Alcides recorría la tierra, ..estalló en llamas el nevado Pirene (стр. 46, 47); кат. la coma que aturarnos volía es arrasada, // y'ls bocos y mar ample no'ns eran entrebanch; исп. la colina que atajar-nos quiso allanada se mira, que ni bosque ni anchurosos mares nos fueron estorbo (стр. 76, 77); кат. Per sempre, ab quant estimo, jardí, tinch de deixarte // del mar a ser pastura; !tant que t'amava'l cor; исп. Para siempre, con cuanto idolatro, jardín, he de dejarte pasto a ser de los mares; ¡ tanto como te amó mi corazón! (стр. 142, 143, а также стр. 38, 38, 76, 86, 88, 156, 158, 158, 159).

В испанском языке нет аналитической формы простого прошедшего индикатива и потому, естественно, при переводе с каталанского на испанский в испанском простое прошедшее употребляется значительно чаще, чем простое прошедшее каталанского, так как оно соответствует и простой форме и аналитической. Так, на 167 страницах книги современного каталанского писателя Сальвадора Эсприу «La pell de brau» — «Кожа быка» (Salvador Espriu. «La pell de brau» с испанским переводом Сантоса Эрнандес)¹⁹ употреблена 16 раз аналитическая форма прошедшего времени (апаг + инфинитив), например, в прологе: *Vaig escriure* aquest llibre fa uns deu anys. (исп. *Escribi* este libro hace unos diez años.); *Desitjo* que molts la vulguin compartir, mentre llegeixen com un home de la perifèria ibèrica *va intentar* de comprendre temps enrera el complex enigma peninsular (исп. *Deseo* que muchos la [=esperanzada actitud] quieran compartir, mientras leen cómo un hombre de la periferia ibérica intentó comprender, tiempo atrás, el complejo enigma peninsular) (стр. 20, 21); 12 раз — простая форма прошедшего времени, а в испанском им соответствовала форма простого прошедшего времени — 29 раз и, кроме того, была употреблена еще 9 раз, т. е. всего 38 раз, что подтверждает мнение о большой употребительности в испанском формы простого прошедшего (Pretérito simple)²⁰, значительно большей, чем в прочих романских языках, в частности в каталанском.

Хотя в грамматиках каталанского языка при описании форм прошедшего времени (Pretèrit definit) описательная форма с апаг + инфинитив обычно приводится либо без всяких пояснений, либо с оговоркой, что обе формы взаимозаменяемы и употребляются безразлично, есть основания усомниться в полном отсутствии мотивированности употребления двух якобы равнозначных форм для выражения одного и того же грамматического значения. Исследование в этом отношении большого языкового материала современного каталанского языка художественной и научной лите-

¹⁹ S. Espriu. *La pell de brau*. Texto bilingüe. La piel de toro. Traducción castellana de Santos Hernández. Madrid, 1968.

²⁰ См. О. К. Васильева-Шведе, Г. В. Степанов. Грамматика испанского языка, изд. 2. М., «Высшая школа», 1963, стр. 129.

ратуры позволяет наметить пути, следуя по которым, можно, если не разграничить отчетливо сферы применения простой формы прошедшего времени и аналитической в каталанском, то хотя бы выявить некоторые условия предпочтительного употребления каждой из них и определить возрастающее использование аналитических форм за счет простых. В этом можно видеть одну из основных закономерностей развития грамматического строя каталанского языка.

В следующем отрывке текста Эсприу чередование простой и аналитической формы создает как бы два плана повествования: более далекого, создаваемого действием, выраженным простой формой прошедшего времени: кат. *Per quin congost s'emportà l'alegre mort fullarasa i cristall de la suprema lliçó?* исп. *¿Por qué alegre sendero la muerte se llevó hojarasca y cristal de la suprema lección?* (стр. 80, 81) и более близкого, хотя и минувшего, выражаемого действием в аналитической форме прошедшего времени: кат.: *Nosaltres, els virtuoses, vàrem examinar amb seny i compassió el lívid trau. Amb minució detall, amb honrat deteniment, resseguïrem els soles de les paraules de l'ofegat. I vàrem dir: Vegeu com es negà el gran peix a les profunditats de les mares del vi. On se'n va anar aquella mica d'aire que movia encara l'estrany melanocet?* исп. *Nosotros, los virtuosos, fuimos a examinar con calma y compasión el negro tajo. Con minucioso detalle, con honrada atención, repasamos los surcos de las palabras del ahogado. Y dijimos: «Mirad como se ahogó el gran pez en las profundidades de las heces del vino. ¿A donde fué aquella pizca de aire que aún al melanoceto conseguía mover?»* (стр. 80, 81).

Перевод «*vàrem examinar*» посредством «*fuimos a examinar*» настораживает, потому что подобного соответствия простой форме прошедшего времени не встретилось больше ни разу. В испанской конструкции глагола *ir* а + инфинитив «*fuimos a examinar*» выражен видовой оттенок начинательности, хотя в прочих случаях каталанской аналитической форме обычно соответствует испанская форма простого прошедшего (Preterito simple): *I vàrem dir // Y dijimos, va anar // fué* и др.

В романских языках, в частности испанском, глагол движения *ir* (<лат. *ire*), выступая в качестве служебного — в видо-временных грамматизированных конструкциях с инфинитивом (*voy a decir*) как вспомогательного, так и полувспомогательного — в лексико-грамматических видовых конструкциях с герундием, выражает длительное действие, развивающееся от настоящего к будущему, от близкого к далекому, например: *se iba aproximando el trasatlántico a la ribera argentina* (Blasco Ibáñez) (автор при этом находится вне Аргентины). *Ir* с причастием (*iba cansada*) передает действие с видовым оттенком длительности, протяженности, т. е. состояние, приближающееся к процессу, например: *Iba vestida de negro con telas pobres y sin brillo* (Blasco Ibáñez), и сообщает соответствующей конструкции видовую окраску длительности, про-

цессуальности. Поэтому несколько необычно сочетание каталанского глагола движения *apar* с инфинитивом, якобы эквивалентное по значению с претеритом, для которого характерна видовая окраска перфективности.

По мнению многих исследователей, форма простого прошедшего времени в пиренейско-романских языках служит даже для выражения совершенного вида, с чем, однако, трудно согласиться²¹. В романе современного каталанского писателя Микеля Льора «Тантал»²² на 167 страницах встретился претерит — 725 раз: простая форма претерита — 491 раз (68%), а его аналитическая форма (*apar* + инфинитив) — 234 раза (32%).

Все глаголы, которые были употреблены только в простой форме претерита, оказались предельными: *advertir* (5 раз), *afirmar* (3 раза), *alçar* (3 раза), *demanar* (5 раз), *s'estremir* (3 раза), *exclamar* (5), *objectar* (6), *s'obrir* (7), *proferir* (3), *proseguir* (3), *pujar* (3), *repetir* (3), *restar* (5), *retenir* (3); следующие предельные глаголы были употреблены преимущественно в простой форме претерита: *agribar* (5 раз в простой форме — 1 раз в аналитической), *començar* (9—1), *entornar* (4—1), *fer* (32—2), *fixar* (3—1), *sentir(se)* (7—2), *sortir* (6—1), причем аналитическая форма употреблялась в разговорной речи, например: «—*Fa goig avui el Passeig!*» — *vàreig començar a dir-li, senyalant el pas alentit dels automòbils per sobre l'asfalt (Tàntal, 11)*, но и простая иногда встречается в подобных случаях, например: — «*Teniu!*» — *començà donant-los un grapat de llamins (ib., 46)*; «*Jo tinc pocs companys — començà aquest*» (*ib., 66*); — *Eloi — començà a dir Mariagna molt suau*» (*ib., 101*), но обычно глагол типа *començar* в простой форме претерита вводит прямую речь, предшествуя ей, например: *Un cop fora el'abast de qualsevol orella indiscreta, Mariagna començà: «Avui torna en Blai» (ib. 115), Amb molta naturalitat Eulàlia començà: «Qualsevol diria que em segueix les passes?» (ib. 118)*, чаще же всего употребляется в повествовании, например: «—*No m'hi havia trobat mai! — es queixà amb aspresa de despit... I començà a riure amb rialles agudes, feridores a l'estil de cops de tralla inferits al rostre d'Eloi. Tot el pes del ridícul li caigué damunt*» (*Tàntal, 138, 139*).

Глагол *fer* встретился в простой форме претерита 32 раза и лишь 1 раз в аналитической форме, наряду с несколькими аналитическими формами претерита от других глаголов: *La casa va quedar tranquila com abans, però un matí, aquell home no es mogué del llit: al cap de pocs dies Eloi va adonarse que la no podia enraonar i aquell mateix vespre va morir, tan serè i discret com havia viscut. — «Aleshores va venir a Barcelona, l'Eloi? — vàreig fer*

²¹ См. О. К. Васильева-Шведе, Г. В. Степанов. Теоретический курс испанского языка. Морфология и синтаксис частей речи. М., «Высшая школа» (в печати).

²² М. Л'ор. *Tàntal*. Badalona, 1928, pp. 1—167.

jo. — Altrament no m'explico com...» (Tàntal, 17). В остальном 31 случае простая форма претерита глагола *fer* употреблена очень односторонне в 3-м лице единственного числа — преимущественно в косвенной речи (20 раз): «Ella féu un gest vague, ni d'assentiment ni de refús» (Tàntal, 100); Eloi féu gest de parar la mà al manyoc de fletxes lluminoses, però va enretirar-la molt de pressa com si no en fos mereixedor (ib. 148 и т. п. см. 104, 112, 129, 138, 149, 150, 160), а также 4 раза в каузативной конструкции: Un alè tebi en passar-li pel rostre li féu *recordar* el pare mort, l'afalac d'aquella mà enyorada (ib. 123). Poc a poc, com si volgués esser descoberta, la dona féu *rodolar* el cigarret fins que *va caure* a terra (ib. 131). Tot cerimoniós féu *sortir* Eloi per una escala no gaire vista (ib. 135 и 134); в остальных (10-ти) случаях для ввода прямой речи: — «Oh, Eulalia!» — féu Eloi amb una exaltació involuntaria (Tàntal, 51); «—Mariagna adorable!» — féu Eloi en un esclat d'agraïment. Som uns mísera equivocats... (ib. 102); «—No vindré», — féu Eloi amb gancúnia. (ib. 108 и т. п. 65, 120, 136, 137, 156, 163, 166).

Некоторые глаголы встретились в равной мере в простой форме претерита и в форме аналитической, например: гл. *dir* (12—12 раз), *aturar-se* (6—6), *apar-se* (5—4), *responde* (8—8), *veure* (8—9), притом без существенно дифференцирующих их употребление условий, ср., например, с прямой речью: De sobte féu baixar Elena del banc amb mà forta i va allunyar-la de prop seu amb una empenta. — Vés!; vés-te'n a casa-li digué neguitós (Tàntal, 92) и Un trepig enèrgic rera d'ells dos els féu tombar el cap. Blau Gibrola se'ls acostava precipitadament. — «Aneu avall? — *va dir* — los — Vinc amb vosaltres. Avui ha estat un mal dia per a mi» (ib. 61), а также в косвенной речи, ср. (4 : 4), ср. Digué que s'estava en una cambra molt polida, a dues passes d'allí (Tàntal, 136) и — «Tu, portes a braç el nen?» La mare porta l'altre. La padrina no ho vol perquè estic massa prima i em fa prendre un xarop, però el metge *va dir* que soc forta (ib. 37—38), и др.

Следующие глаголы употреблены преимущественно или исключительно в аналитической форме: *adonar-se* (3 раза в простой и 6 в аналитической), *asseure's* (0—3), *indicar* (0—3), *mirar(-se)* (5—9), *morir* (0—3), *preguntar* (5—12), *quedar(-se)* (1—7), *somriure* (0—3). Возвратная форма глагола *quedar(-se)* употребляется преимущественно в аналитической форме претерита, но может употребляться в простой, ср., например, ... es quedà a viure amb la seva cosina, casada: una parella descolorida, sense fills. (Tàntal, 19) и — «I no podríem seure en lloc de quedar-nos palplantats sense dir res?» — proposà Eulàlia, molt enèrgica. Però aviat Mateu i Eloi *varen quedar-se* sols de bell-nou; la suggestió de ball dispersà el grup de noies (ib, 46), и др.

Эти наблюдения располагают к углубленному изучению грамматического значения перифрастического претерита в каталанском в отношении его видовой характеристики.

«Морфологическая структура каждого языка складывается в

процессе исторического развития данного языка и представляет собой в синхронии сложное и своеобразное явление»²³. Всякое грамматическое описание языка требует рассмотрения всей видо-временной системы глагола с парадигмами как синтетических, так и аналитических форм. Особый интерес в этом плане представляет п/система каталанских аналитических форм (апар + инфинитив) и ее перифрастический претерит, дальнейшее изучение которого может иметь общелингвистическое значение в связи с проблемой нефлективной морфологии.

В заключение можно вспомнить мнение Д. К. Петрова, который по поводу слов Е. Ренана «cherchons toujours»²⁴ сказал, что они как нельзя лучше относятся к филологии, потому что «язык— это одно из самых тонких и самых сложных явлений жизни» («...car la langue est un phénomène des plus subtils et des plus compliqués de la vie») ²⁵.

²³ В. Н. Ярцева. Проблема аналитического строя и формы анализа. В сб.: «Аналитические конструкции в языках различных типов». М.—Л., «Наука», 1965, стр. 68.

²⁴ В его письме к Berthelot, см. Dialogues et fragments philosophiques, 3e ed. Paris, 1886, p. 191. Цит. по Д. К. Петрову.

²⁵ См. статью Д. К. Петрова «Quelques mots sur l'origine de la langue espagnole». Яфетический сборник, вып. II. Петроград, 1923, стр. 72.

МЕСТОИМЕННЫЕ СУБСТИТУТЫ В РОМАНСКИХ ЯЗЫКАХ И В ЛАТЫНИ

Местоимения в их различных аспектах служили темой исследования для многих романистов. Ряд существенных вопросов изучения местоимений рассматривается в работах Р. А. Будагова¹.

Морфологический анализ местоимений, особенно в сопоставительном плане, ставит целый ряд вопросов, связанных со спецификой этого класса слов. Прежде всего обращает на себя внимание сложная организация местоименной системы, которая заключается в большом количестве форм и их разнообразной морфологической и морфонологической характеристике. В функциональном отношении местоимения и их отдельные группы находятся в столь сложных соотношениях между собой, что не раз вставал вопрос о самом существовании местоимений как отдельного класса слов². Этому способствует также и то обстоятельство, что местоимения обладают большим количеством грамматических категорий, которые неоднозначно соотносятся между собой в разных местоименных подклассах разных языков. Не затрагивая здесь общетеоретических проблем, касающихся признания местоимений как особой части речи, их природы как служебных или полнозначных единиц и т. п., рассмотрим некоторые особенности местоимений современных романских языков в сравнении с латынью.

Как известно, система романских местоимений по сравнению со своим общим латинским источником значительно перестроилась, сохранив в то же время много общих черт, часть которых восходит к общему источнику, а часть является инновациями. Общность систем местоимений большинства романских языков отчасти обеспечивается именно инновациями. Так, например, имеется во всех романских языках, в том числе и в румынском, и строится по одинаковому типу противопоставление по субъектности/объектности и прямо-переходности/косвенно-переходности³ или по автономности/неавтономности (есть во всех языках, кроме рето-романского). Другие инновации свойственны лишь части языков (ср. так называемые «адвербиальные» формы, которые обнаруживаются только

¹ Р. А. Будагов. Функции личных местоимений в современном румынском языке. «Изв. АН СССР ОЛЯ», 1948, вып. 5. То же на рум. языке. «Studii și cercetari lingvistice», 1950, No. 1; е го же. Особенности личных местоимений. В кн.: «Этюды по синтаксису румынского языка». М., Изд-во АН СССР, 1958.

² Ср. E. Benveniste. La nature des pronoms. «Problèmes de linguistique générale». Paris, 1966.

³ Румынские местоимения, имеющие три падежа — именительный, дательный и винительный, оказываются, таким образом, ближе к местоимениям других романских языков, чем к общей системе румынского имени, где различаются два падежа — именительно-винительный и родительно-дательный, ср. Р. А. Будагов. Особенности личных местоимений. В кн.: «Этюды по синтаксису румынского языка», стр. 90.

в центральных языках — французском, провансальском, каталанском, итальянском, сардинском). Однако инновации, создающие общность романского типа, в то же время противопоставляют романские языки латыни.

Некоторые наблюдения о соотношении в этом аспекте романских языков и латыни можно сделать, сравнивая употребление местоимений в текстах. «При этом необходимо, — как писал В. Матезиус, — использовать методы аналитического сравнения, т. е. проводить сравнение языков без учета их генетического родства, направленное на то, чтобы отчетливо выявились существенные черты данного языка»⁴.

Как известно, основной функцией местоимений является субституция, то есть замещение различных элементов высказывания. Термин «субститут» в последнее время часто используется вместо термина «местоимение». Однако понятие субститута не совпадает с понятием «местоимения» — заместителя имени. Хотя в высказывании субституты действительно чаще всего замещают имя существительное, однако встречаются (в разной степени в разных языках) заместители прилагательных, причастий, наречий, глаголов и целых высказываний. В то же время не все местоимения можно считать субститутами⁵.

Способность к субституции присуща грамматическим системам самых различных языков и является, вероятно, их универсальным свойством (как известно, нет языков, где не было бы местоимений⁶), однако использование местоимений в тех или иных конструкциях и их выбор индивидуален для каждого языка; в этой сфере можно обнаружить различия даже между языками, весьма близкими по происхождению и по структуре. Так, например, в романских языках, как и в латыни, собеседник чаще всего обозначается местоимением 2-го лица. Употребление местоимения в этом случае представляется закономерным и даже может показаться единственно возможным. Между тем в одном из романских языков — португальском в этом случае часто встречается не местоимение, а кодовое обозначение действующего лица — собственное имя: *A Rosa vai comigo? Вы (Роза) пойдете со мной?*⁷.

Столь же закономерным представляется употребление местоимения-субститута целого высказывания, утвердительного («да») или отрицательного («нет»), при ответе на вопрос. Эти субституты имеются во всех романских языках. Однако в том же португальском часто встречается так называемый «ответ-эхо» (термин

⁴ В. Матезиус. Попытка создания теории структурной грамматики. В кн.: «Пражский лингвистический кружок». М., «Прогресс», 1967, стр. 196.

⁵ М. Маполиу Манеа. *Sistematica substitutelor din Româna contemporană standard*. București, 1968.

⁶ Б. А. Успенский. Структурная типология языков. М., «Наука», 1965.
⁷ Ср. P. Vázquez Cuesta y M. A. Mendes da Luz. *Gramática portuguesa*. Madrid, 1961, p. 435.

Л. Шпитцера⁸), где вместо ожидаемого субститута в ответе повторяется глагол вопроса: — *Queres guardar gado?* — *Quero, sim senhor* (М. Торга. *Novos contos de montanha*. Coimbra, 1967, p. 204). «Хочешь сторожить стадо? Хочу, сеньор». (Утверждение *sim* служит лишь дополнением к глаголу и не входит в предикативную группу.) Употребление здесь не утвердительного субститута высказывания, а полнозначного глагола, представляется некой структурной аномалией и специально отмечается лингвистами, поскольку противоречит общероманской тенденции использовать в подобных случаях субституты «да» или «нет». Напротив, для латыни подобная конструкция естественна, потому что в латыни высказывания в целом, как правило, не замещаются субститутами. Ср. латинский текст в переводе на французский и каталанский языки⁹: лат. 134: — *Quid est? ecquid lubet?* — *Lubet* — «Что? Нравится ли? Нравится»; кат.: — *Qui: t'agrada?* — *M'agrada*; фр.: — *Qu'est ce? es-tu contente?* — *Oui*. Для латыни в этом случае «ответ-эхо» является, по-видимому, единственно возможным. Каталанский также допускает такой ответ. Французский перевод дает в ответе общее утверждение *oui* 'да'.

Употребление в том или ином случае субститута или полнозначного элемента является лишь одним из многочисленных различий языков в этой области. Еще более существенно языки различаются по тому, какой именно субститут — местоимение, наречие и т. п. выбирается в каждом данном случае.

На употребление местоимения вместо полнозначного элемента и на его выбор действуют самые различные факторы — грамматические, стилистические и др. В ряде случаев появление субститута определяется не смыслом контекста, не необходимостью повторить или передать через местоимение замещаемый элемент, а грамматической структурой конструкции, в которую включается местоимение.

Как отметил Л. Блумфилд, «значения субституционных типов складываются из элементарных отличительных черт той ситуации, в которой произносится речь»¹⁰. В принципе любой элемент ситуации может быть обозначен субститутом. Однако возможности замещения, а также тенденции к более или менее последовательному замещению элементов ситуации субститутами различны в разных языках.

Рассматривая структуру языковой ситуации согласно модели Л. Теньера мы обнаруживаем в ней следующие основные элемен-

⁸ L. Spitzer. *Du langage-écho en portugais*. «Boletim de Filologia», t. V. Lisboa, 1937—1938.

⁹ Приведенные ниже и в дальнейшем тексте статьи примеры из параллельных текстов (латинский оригинал и переводы на каталанский и французский языки) комедии Плавта «Куркулион» даются по следующим источникам: М. Plaute. *Comédies*. Text revisat i traducció de M. Olívar, v. IV. Barcelona, 1936; *Théâtre de Plaute*. Trad. par J. Naudet, t. 2. Paris, б. д.

¹⁰ Л. Блумфилд. *Язык*. М., «Прогресс», 1968, стр. 272.

ты: глагол, обозначающий процесс, актанты — действующие лица или предметы ситуации (различаются, как известно, первый, второй и третий актанты, соответствующие приблизительно субъекту, прямому и косвенному объектам) и обстоятельства действия — «сирконстанты». Все они, по образному выражению Л. Теньера, представляют некую драму, где всегда налицо действие, актеры и обстоятельства действия¹¹. Элементы этой драмы могут выражаться не только полнозначными словами — глаголами, существительными и т. д., но и их субститутами; например, лат. 59—60: *quaeque illi occasiost subripere se ad me...* — «он любой использует случай, чтобы пробраться ко мне». В приведенном примере все актанты выражены местоимениями.

Далеко не всегда назначением местоименного субститута в самом деле является замещение одного из актантов или обстоятельства, указание на то, какое именно действующее лицо выступает в данном контексте и каковы обстоятельства действия. Во многих случаях местоимения представляют собой лишь структурные элементы, которые придают грамматическую законченность конструкции. Рассмотрим следующий пример: лат. 42: *At nunc veto* — «А теперь запрещаю»; кат. *Doncs ara t'ho prohibeixo*. (букв. «так сейчас тебе это запрещаю»); фр.: *Mais je te le défends maintenant*. Как можно видеть, в латинском тексте местоимения отсутствуют. В каталанской и французской конструкциях появляются субституты *t'ho* «тебе это» и *je te le* «я тебе это», причем их роль оказывается чисто структурной и сводится к заполнению имеющихся валентностей глагола. Тесная связь глагола с местоимениями является существенным свойством подобных конструкций. Актанты, замещаемые местоимениями, образуют при глаголе неразделимый блок. Л. Теньер обратил внимание на то, что субституты местоимения тяготеют к глаголу больше, чем замещаемые ими полнозначные имена¹².

Чисто структурная роль некоторых видов субститутотв является характерным признаком строя современных романских языков, одних в большей, других — в меньшей степени. Эта особенность отражается в самой системе романских местоимений. Как известно, во всех романских языках есть так называемые неавтономные или приглагольные местоименные формы, которые не имели аналогий в латыни. Роль неавтономных форм является в основном структурной. Это видно, в частности, по тому, что неавтономные формы делятся на подклассы именно по признаку того, какой структурный элемент они замещают. Поскольку основными именными элементами в структуре конструкции являются актанты, не-

¹¹ L. Tesnière. *Éléments de syntaxe structurale*. Paris, 1959. p. 102 и сл. Некоторые авторы считают, что сирконстанты удобнее рассматривать как разновидности актантов. См. В. Г. Гак. К проблеме синтаксической семантики. «Инвариантные синтаксические значения и структура предложения». М., «Наука», 1969.

¹² L. Tesnière. *Op. cit.*, p. 131 и сл.

автономные формы предназначены в основном для замещения актантов, хотя в некоторых языках, например, во французском и каталанском, имеются и формы, замещающие обстоятельства — «сирконстанты», фр. *у*, *еп*, кат. *hi*, *еп*.

Наиболее разнообразны неавтономные формы во французском языке, где есть неавтономные субституты субъекта, прямого объекта и предикатива, косвенного объекта без предлога, косвенного объекта с предлогом *de* и с предлогом *a* и соответствующих обстоятельств. В каталанском языке есть те же формы, кроме субъектных. Минимальный набор неавтономных форм — только прямого и косвенно-переходного объекта — отличает испанский и португальский языки.

Отметим, что так называемые автономные формы, которые в первую очередь выполняют роль собственно заместителей полноценных элементов, не столь определенно дифференцируются по своей синтаксической роли. Так, формы субъектных и объектных автономных местоимений в 3-м лице, наиболее существенном для субституции, во всех романских языках совпадают, ср. фр.: *lui*, *elle*, кат.: *ell*, *ella*, исп.: *él*, *ella*.

Латинскому языку использование местоименных субститутів в чисто структурной функции почти не свойственно. В латыни, как известно, вообще не было субститутів, основная роль которых сводилась бы к структурной, подобно неавтономным формам романских языков. Отсюда и различные способы представления ситуации в латинских и романских параллельных текстах. В латыни, в тех случаях, когда актанты уже упоминались в предыдущем тексте и могли бы замещаться субститутами, последние часто отсутствуют. Напротив, во французских или каталанских прозаических переводах «сцена» заполнена актантами в форме структурных субститутів — неавтономных местоимений, которые организуют формальный каркас высказывания. Проиллюстрируем это несколькими примерами: лат.: *neque veto neque iubeo* — «не запрещаю и не приказываю»; кат.: *jo ni t'ho vedo ni t'ho mano* (букв. «я ни тебе это запрещаю, ни тебе это приказываю»); фр.: *je ne te le défends ni te le conseille*; лат. 13: *Si rogitem, quid respondeas?* — «Если я спрошу, что ответишь?»; кат.: *I si t'ho pregunto, quina serà la teva resposta* (букв. «и если тебя это спрошу...»); фр.: *Si je veux te le demander, que répondras-tu?*; лат. 213: *si amas, eme* — «Если любишь, купи»; кат.: *Si m'estimes, compra'm*; фр.: *Si tu m'aimes, achète-moi*.

Однако различия в употреблении местоимений и других субститутів в разных языках зависят не только от структуры грамматических конструкций. Чаще всего они связаны с выбором самой замещающей единицы, вернее, тех дифференциальных признаков, которые необходимо передать в высказывании. Рассмотрим этот вопрос несколько подробнее.

Означаемое каждого субститута — местоимения, наречия и т. п. — образуется из комбинации ряда признаков, которые ха-

рактизируют его с семантической и синтаксической стороны. Их можно разделить на три группы. К I группе относятся признаки, характеризующие подкласс местоимений в противопоставлении к любому другому местоименному подклассу — «персональность»¹³ для личных, «демонстративность» для указательных и т. п. С признаком «персональности» в свою очередь связаны признаки определено/неопределенно-личности, 1-, 2-, 3-го лица и т. п. Ко II группе принадлежат признаки, которые можно назвать синтаксическими — например, субстантивность/адъективность, по которому противопоставляются местоимения, способные занимать позицию существительного или прилагательного, автономность/неавтономность (по которому различаются так называемые приглагольные и самостоятельные формы), субъектность/объектность и т. п. И, наконец, III группа признаков связана со свойствами тех элементов, которые замещаются местоимениями — это предметность/непредметность (средний род), род, число, одушевленность, «частичность» и др. Означаемое каждого местоимения включает признаки каждой из трех групп. Таким образом, каждую местоименную форму можно описать как комбинацию признаков плана содержания так, чтобы эта форма отличалась по крайней мере по одному признаку от любой другой формы¹⁴, ср. фр. *toi* — «персональность», определено-личность, 1-е лицо (I группа), автономность (II группа), единственное число (III группа); *me* — «персональность», определено-личность, 1-е лицо (I группа), объектность, прямопереходная объектность, неавтономность (II группа), единственное число (III группа); кат. *eu* «персональность», определено-личность, 3-е лицо (I группа), объектность, «адвербиальность», «партиитивность» (II группа), «непредметность», «частичность», неодушевленность (III группа); лат. *hic* «демонстративность», близость/отдаленность I степени (I группа), им. падеж (II группа), «предметность», мужской род, единственное число (III группа).

Общие типы дифференциальных признаков присущи, по-видимому, местоимениям разных языков. Так, например, испанское *este* 'этот' и латинское *hic* обладают сходными признаками «демонстративности», близости/отдаленности I степени, мужского рода, единственного числа. Латинское *hic* обладает, кроме того, признаком падежа.

Однако даже близкие на первый взгляд местоимения разных языков почти никогда не обладают идентичными наборами призна-

¹³ Названия признаков являются условными и не всегда достаточно точно отражают их природу.

¹⁴ Отметим, что описание значений местоимений через наборы дифференциальных признаков имеет уже некоторую традицию. Ср. D. Thomas. Three Analyses of the Hocano Pronoun System. «Word», 1955, vol. 11, No. 2; N. McCaughan, R. Austerlitz. Semantic Components of Pronoun Systems. *Mañao. Gilyak*. «Word», 1959, vol. 15, No. 1; О. Н. Селиверстова. Опыт семантического анализа слов типа «все» и типа «кто-нибудь». ВЯ, 1964, № 14.

наков. Часто как будто бы сходные по значению местоимения все же различаются по одному или нескольким признакам. Так, например, латинское *quis* «кто» имеет признак мужского рода, а его португальский аналог *quem* рода не различает; французское *je* «я» имеет признак неавтономности, а его аналоги в других романских языках и в латыни этой категории не различают; каталанский субститут *li* «ему, ей, им» не различает числа, в то время как во французском местоимения имеют разные формы для единственного и множественного числа *lui* «ему, ей», *les* «им»; у латинских указательных местоимений *hic*, *iste*, *ille* обязательно присутствует не только общий признак «демонстративности», но и признак «близости/отдаленности» («этот — тот»), в то же время французское *ce* содержит лишь общий признак «демонстративности» без дополнительной дифференциации, «близость/отдаленность» требует введения дополнительных единиц *ci* и *là*.

Один и тот же признак может появляться у разных местоимений. Так, например, признак одушевленности в испанском языке различается у прямообъектных местоимений *le—lo*, а в итальянском — у субъектных *egli—esso*. Иногда общие признаки обнаруживаются у субституты, относящихся на первый взгляд к совершенно различным категориям. Так, например, общий признак «близости/отдаленности» имеют указательные местоимения и наречия места — «этот — тот», «здесь — там».

При сопоставлении функционирования местоимений разных романских языков обнаруживается, что в контексте системные отношения подвержены значительным сдвигам, благодаря чему возможна функциональная эквивалентность самых различных форм, как внутри одного языка, так и в параллельных контекстах разных языков¹⁵. При этом оказывается, что из всего набора местоименных признаков в данном контексте может учитываться лишь часть, а остальные признаки могут игнорироваться. В ситуациях, когда один из признаков выступает на первый план, разные местоимения, совпадающие по этому признаку, могут замещать друг друга. Чрезвычайно «сильным» оказывается, например, признак «непредметности» («среднего рода»). Местоимения, имеющие этот признак, могут замещать друг друга в различных контекстах, если на их употребление не накладывается более сильных синтаксических ограничений. Так, непредметные формы указательных местоимений очень слабо ограничены синтаксически: они могут выступать почти во всех функциях и замещают любые другие формы, обладающие признаком непредметности.

В разных языках употребление одних подклассов местоимений определяется в большей мере их синтаксическим значением (II

¹⁵ Отметим, что конструкции разных языков, в том числе близкородственных, чаще бывают соотносительными, чем тождественными. См. Р. А. Будагов. Соответствие и тождество в сопоставительном синтаксисе. В кн.: «Omăgiu lui A. Rosetti». București, 1965.

группа признаков), а в других — значением замещаемого имени (III группа).

Эти характеристики колеблются у разных подклассов местоимений и в разных языках. Так, например, у романского объектного неударного местоимения (фр. или исп. *le*) превалирует синтаксический признак — эти местоимения замещают прямой объект и предикатив независимо от семантики имени, в функции предикатива эти местоимения даже не отражают его рода и числа: исп. *parecen cansadas pero no lo son* «они кажутся усталыми, но таковыми не являются». Напротив, для «адвербиального» местоимения (фр. кат. *en*) основными являются значения, замещающие именные категории, которые сохраняются, в то время как синтаксическая роль этого местоимения оказывается переменной, зависящей от функции соответствующего имени — «адвербиальное» местоимение может замещать разные виды объектов — прямой и косвенный с предлогом, или обстоятельства, но при этом замещаемому имени обязательно присущ признак «частичности». Признак — «доминанта» может быть столь сильным, что снимает все остальные признаки, казалось бы, органически присущие данной местоименной форме. Так, например, в каталанском языке доминирующие у «адвербиальной» формы *en* именные признаки III группы — отнесенность к неопределенному множеству или количеству (признак «частичности») доминируют над всеми синтаксическими признаками этого местоимения, в том числе над объектностью, расширяя кажущееся само собой разумеющимся представление, что субъект может замещаться только субъектным местоимением. В каталанском существительное в позиции субъекта со значением неопределенного множества или количества может замещаться адвербиальной формой: *poden entrar nens al teatre? si, n'hi poden entrar* «детей пускают в театр? Да». (букв. «дети могут входить в театр? Да, их туда могут входить»). В испанском в аналогичных случаях местоименный субъект не выражен, во французском — замещается личным субъектным местоимением.

Наличие или отсутствие общих признаков определяет возможности употребления местоимений одного языка или разных языков в аналогичных контекстах. Как уже говорилось, у субститутов, основная функция которых является структурной, прочие признаки, не указывающие на синтаксическую позицию, могут отступать на задний план. Так, в следующем примере французское *le* и каталанское *ho* не различают ни рода, ни числа, а указывают лишь на замещение прямого объекта. В параллельном латинском тексте субститут отсутствует: лат. 12—13: *Si tu me roges, dicam ut scias* — «Если ты меня спросишь, скажу, чтобы знал»; кат. *Si m'ho preguntes t'ho diré, perquè ho sàpigues* (букв. «если меня это спрашиваешь, тебе это скажу, чтобы это знал»); фр. *Si tu le demandes, je te l'apprendrai*.

Напротив, те субституты, которые не играют собственно структурной роли и не используются для образования грамматического

каркаса высказывания, сохраняют дифференциальные признаки, характеризующие те актанты, которые они замещают.

Роль субститутов в латинском языке, как уже говорилось, почти никогда не является чисто структурной, и соответственно латинские местоимения обладают довольно широким набором дифференциальных признаков. В принципе эти признаки можно передать аналогичными формами романских языков. Однако при сравнении параллельных текстов оказывается, что присущие субститутам, заменяющим те или иные актанты, признаки в переводе зачастую не сохраняются при тех же актантах, а перераспределяются между элементами, входящими в соответствующую предикативную структуру со всеми присущими ей актантами и обстоятельствами. Признаки перемещаются с одного актанта на другой, с актанта на обстоятельства и наоборот, причем общий набор признаков, принадлежащий всей конструкции, предикату и связанными с ним субститутами, в основном сохраняется или меняется согласно характерным для данного языка общим законам построения предикативной группы.

При переводе латинского текста на романские языки обычно происходит следующее. Прежде всего в романском тексте появляются структурные субституты, которые отсутствовали в исходном тексте. В то же время дифференциальные признаки, присущие латинским субститутам, передаются далеко не всегда теми же структурными элементами, которые выражали их в исходном тексте. Так, в примере, приводимом ниже, признаки перемещаются с субститута обстоятельства на именной субститут: лат. 143: *Non ita res est.* — «Не так дело обстоит»; кат. *El cas po és aquest.* (букв. «дело не то»). В каталанском переводе признаки, выражаемые латинским наречием *ita*, передаются указательным местоимением *aquest*.

Если латинский субститут содержит несколько дифференциальных признаков, то часть этих признаков в переводе может опускаться. Иногда признаки могут распределяться между разными субститутами. Рассмотрим несколько примеров: лат. 14: *Hoc Aesculapi fanum est.* — «Это храм Эскулапа»; кат. *Aquí hi ha et temple d'Esculapi* (букв. «тут, здесь есть храм Эскулапа»); фр. *Voici le temple d'Esculape.* В приведенном примере латинское местоимение *hic* содержит признаки «демонстративности» и «близости/отдаленности» I степени. В каталанском тексте передается только этот второй признак наречием места *aquí* «здесь», а признак «демонстративности» опускается. Кроме того, при глаголе появляется структурный субститут обстоятельства места *hi* (ср. фр. *y*). Во французском переводе признак «близости/отдаленности» передается наречием *voici*, которое содержит также признаки «обстоятельности» (как все наречия) и «демонстративности».

Рассмотрим еще один пример: лат. 27: *Ego item volo.* «Я хочу того же»; кат. *Jo també ho desitjo així* (букв. «я также это желаю так»); фр. *Je fais le même voeu.*

В приведенном примере в латинском тексте имеется субститут *item* «тот же самый», который содержит признак «обстоятельности» и «идентичности». В каталанском переводе признак «идентичности» передается наречием *també* «также», а признак «обстоятельности», кроме того, наречием *així* «так». Кроме того, появляется структурный субститут *ho*, занимающий место 2-го актанта. Во французском переводе «идентичность» передается совсем иначе, поскольку перестроена вся конструкция — прилагательным *même* «тот же самый» при имени действия *voue*.

Возможность выразить один и тот же признак субститутом — местоимением и субститутом — наречием *vidna* и из следующего примера: лат. 274: *Quis illic est?* — «Кто там?» кат. *¿Qui és aquell home?* (букв. «кто тот человек?»); фр. *Qui vois-je là-bas?* В латинском примере признак «близости/отдаленности» выражается наречием *illic* «там», во французском тексте также дается наречие *là-bas*, а в каталанском тот же признак выражается местоимением *aquell* «тот».

Интересная закономерность обнаруживается в следующем примере: лат. 229: *Quis hic est qui loquitur?* «Кто это говорит?» (букв. «кто этот есть, кто говорит?»); кат. *¿Qui és que parla per aquí?* (букв. «кто есть, кто говорит здесь?»); фр. *Qui est-ce qui parle là?*

В латинском тексте местоимение *hic* выражает признаки «демонстративности» и «близости/отдаленности». Во французском переводе общий признак «демонстративности» несет указательное местоимение *ce*, которое, как известно, не указывает на «близость/отдаленность». Но этот последний признак выражается в переводе другим элементом — наречием *là*. В каталанском переводе этот же признак выражается наречием *per aquí* «тут», а общий признак «демонстративности» опускается.

Интересно заметить, что во французском переводе признаки, присущие латинскому субституту, как бы раздваиваются и распределяются между двумя элементами, причем один из этих элементов играет структурную роль, занимая место соответствующего актанта в высказывании (фр. *ce*), а второй содержит дифференциальный признак, который имеется в латинском оригинале, но в структуре высказывания занимает место, не соответствующее исходной латинской форме (фр. *là*).

Часто при переводе учитываются лишь те признаки, которые представляются существенными для данного контекста. Приведем еще один пример: лат. 257: *Nam quod scio omne ex hoc scio* — «Ведь то, что я знаю, все знаю от него»; кат. *Tot el que sé em ve d'aquest home* (букв. «все, что знаю, мне идет от этого человека»); фр. *Tout mon savoir me vient de lui*.

В латинском тексте указательное местоимение *hic* (нос «от него») содержит признаки «демонстративности», «близости/отдаленности», одушевленности, мужского рода, единственного числа. В романских параллельных текстах на первый план выступает

признак одушевленности как наиболее существенный в данном контексте. В каталанском переводе этот признак передается существительным *home* «человек», во французском — местоимением *lui*, обладающим признаками одушевленности, мужского рода, единственного числа. Остальные признаки, присущие латинскому *homo*, французский переводчик счел излишними. Каталанский текст сохраняет эти признаки — «демонстративности» и «близости/отдаленности», передавая их указательным местоимением *aquest* «этот», которое является определением к *home* «человек». Таким образом, в каталанском переводе признаки, присущие латинскому *homo*, распределяются между двумя элементами, а во французском часть признаков опускается.

Аналогичная корреляция обнаруживается и в следующем примере: лат. 137: *Jamne ego huic dico?* — «Не мне ли ему сказать?», кат. *Qué, ¿ li ho dic?* (букв. «что, ему это скажу?»); фр. *Vais-je lui dire?*

В романских переводах из признаков, свойственных латинскому *homo*, передается в первую очередь признак одушевленности. Признаки «демонстративности» и «близости/отдаленности» опускаются — в романских языках в подобных контекстах они не выражаются. В то же время в каталанском появляется структурный элемент *ho* — заместитель 2-го актанта.

Интересный пример перераспределения признаков между элементами конструкции представляет следующий отрывок: лат. 69: *Quod si non affert, quo me vortam nescio.* «Если он не принесет, не знаю, как мне обернуться»; кат. *Si torna sense, ho sé pas cap on girar-me.* (букв. «если вернется без»); фр. *S'il ne m'en apporte pas...*

В латинском тексте субститут *quod* «это» замещает существительное «деньги», о котором шла речь в предыдущем контексте, он имеет признаки «относительности», среднего рода, винительного падежа. Во французском тексте ему соответствует местоимение *en*, которое имеет синтаксические признаки объектности, «адвербиальности», «партитивности» и семантические признаки «непредметности» (не различает рода) и «частичности». Именно этот набор признаков, частично коррелирующий с латинским (средний род — «непредметность», винительный падеж — объектность), и оказывается необходимым во французском высказывании, где *en* несет и структурную, и семантическую функцию. Во французском контексте оказывается необходимым и признак «частичности». Но наибольший интерес в этом примере представляет каталанский перевод, где роль субститута играет предлог *sense* «без». Этот субститут указывает на существование (вернее отсутствие) замещаемого элемента, ничего о нем не сообщая. Предлог *sense*, являясь субститутом именной группы, содержит признак «отсутствия», который в исходном латинском тексте и во французском переводе передается отрицанием при глаголе. Здесь наблюдается перестройка всей предикативной группы, в которую входит субститут. Есте-

ственно, что такая перестройка оказывается возможной лишь потому, что в каталанском языке некоторые предлоги могут выступать в роли субститутов.

Как можно видеть из приведенных примеров, соотношения субститутов в разных языках оказываются достаточно сложными и разнообразными. Возвращаясь к образу Л. Теньера, который представляет высказывание как драму, в которой действуют актеры—актанты и меняются декорации — сирконстанты (обстоятельства действия), можно сказать, что хотя в параллельных текстах латинского и романских языков разыгрывается одна и та же пьеса, ее ставят разные режиссеры, и мизансцены в ней строятся по-разному.

Представляется, что приведенный выше материал подтверждает ту точку зрения, что «аналитическое сравнение можно эффективно производить только с функциональной точки зрения, то есть исходя из общих потребностей выражения и выясняя способ, при помощи которого отдельные языки, каждый по-своему, удовлетворяют эти общие потребности»¹⁶.

¹⁶ В. Матезиус. Уж. соч., стр. 196.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕФРАНЦУЗСКОГО
ПИСЬМЕННО-ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

У (Вопросы, связанные с начальным этапом формирования общефранцузского письменно-литературного языка, до сих пор представляют собой сложный и трудный комплекс проблем.

Как известно, IX и X вв. почти не представлены письменными памятниками¹.

Французские эпические поэмы, появившиеся в XI в. (среди них знаменитая «Песнь о Роланде»), дошли до нас лишь в более поздних списках, большая часть которых датируется лишь приблизительно. Датировка основывается на палеографических, а иногда и на языковых особенностях (что уже менее точно).

Попытки локализовать древние литературные старофранцузские тексты, т. е. определить их диалектную принадлежность, терпели и терпят неудачу. Датировка этих текстов большей частью неясна, отсутствуют оригиналы, лингвистические особенности их, так как они отражены в графике списков, очень разнородны и почти не могут быть отнесены к какому-либо одному диалекту².

Привлечение деловых документов для определения диалектных черт старофранцузских литературных текстов исключается. Деловые документы на французском языке впервые систематически (не одновременно в различных районах) появляются в XII—XIII вв. По Жири (Giry), самый древний документ относится к 1204 г. (Дуэ). В последнее время М. Гисселину удалось обнаружить на севере Франции деловые документы, относящиеся к 1163—1226 гг.³

В некоторых городах Северной Франции и Бельгии (Турнэ, Аррас, Сент-Омер, Сент-Кентин) найдены отдельные акты, датированные вторым десятилетием XII в., но это — исключения.

К 1235—1245 гг. деловые документы начинают регулярно появляться на востоке и севере Франции — французской Фландрии, Пикардии, Валлонии, Лотарингии, Восточной Шампани, Бургундии, Франш-Конте и др.

В Парижском районе нет деловых текстов на французском языке раньше 1220 г. В Бретани, Анжу, Турени и вообще в центре Франции деловые документы на французском языке появляют-

¹ Это лишь несколько текстов: 1) Страсбургские клятвы (сохранены историком Нитхардом в его истории IX в.), 2) Кантилена (или Секвенция) св. Евлалии (в списке IX в.), 3) Страсти Христовы (список конца X или начала XI в.), 4) Отрывки проповеди пророка Ионы (конец X, начало XI в.).

² См. Н. А. Катагощина. Процессы формирования французского письменно-литературного языка. ВЯ, 1956, № 2.

³ Maurits Gysseling. Les plus anciens textes français non littéraires en Belgique et dans le Nord de la France. «Scriptorium», 1949, vol. III, pp. 190—210.

ся лишь с середины XIII в., еще позднее переходят на французский язык в деловых документах в Нормандии. В ряде крупных центров, как, например, в Париже и Руане, акты на французском очень редки вплоть до XIII в. И, наоборот, в некоторых городах севера и востока Франции делопроизводство на французском языке развивается рано: Турнэ (1197), Дуэ (1204), Сент-Кентин (1218), Ля Рошель (1219), Сент-Омер (1221), Мец (1220).

Таким образом, литературные тексты на французском языке на три столетия опережают появление на французском языке деловых бумаг и официальных документов.

За последнее время подход к исследованию старофранцузских текстов изменился, произошел значительный сдвиг в лучшую сторону в методах и формах изучения этих текстов. Этому способствовали работы диалектологов валлонистов (Феллера, Дельбуйя) и особенно Ремакля⁴. Изучая валлонские деловые тексты, он убедительно показал, что неверно одно и то же название «диалект» применять к средневековой разговорной речи и к письменному языку — это лингвистические реальности различного плана.

В средневековье письменный язык какой-либо местности или области не совпадает с их разговорной речью, а только слегка окрашен диалектизмами. Для этих региональных разновидностей письменного языка Ремакль ввел термин *scripta*, в настоящее время широко употребляемый романистами. Он показал, что строгое разграничение в эпоху средневековья региональной разговорной речи и регионального письменного языка имеет большое значение, так как устраняет смешение явлений, лежащих в различных плоскостях, определяет новый подход к изучению *scripta*, отличный от того, который характеризует ранних исследователей-диалектологов, отождествляющих письменный текст с каким-либо определенным диалектом.

Исследования Ш. Госсена, посвященные изучению деловых документов самых различных областей Франции⁵, подтвердили точку зрения Ремакля. Госсен пришел к убеждению, что даже документы самого локального значения не являются отражением диалекта в его чистом виде.

Возникновение письменных традиций, региональных или провинциальных, во всех областях *langue d'oïl* в эпоху средневековья, имевших возможность оказывать друг на друга влияние, очень затрудняет интерпретацию графем старофранцузских текстов. Он категорически возражает против тенденции видеть в графемах средневековых текстов предков современных фонем⁶.

⁴ L. Remacle. Le problème de l'ancien wallon. Liège. 1943.

⁵ Ch. Th. Gossen. Französische Scriptastudien. Wien, 1967.

⁶ Cette manière de procéder qui conduit à la pseudoéquation «Graphème médiéval ~ phonème moderne» est tout ce qu'il y a d'incertain. См. статью «Graphème et phonème le problème central de l'étude des langues écrites du moyen âge». «Revue de linguistique romane», 1968, t. XXXII, No. 125—126, p. 2.

В своей последней работе⁷ Госсен считает возможным выделить несколько письменных традиций в средневековой Франции:

1) западнофранцузскую *scripta* — отражена в документах Ангума, Ониса, Де Севр, Пуату, Анжу, Турени, Мэна, Бретани, Нормандии и пикардско-нормандских пограничных районов;

2) центральнофранцузская *scripta* — документы таких районов, как Берри, Орлеана, Иль-де-Франс;

3) пикардская *scripta*;

4) восточнофранцузская *scripta* — документы Бурбоне, Ниверне, Бургундии, Лотарингии, Франш-Конте и Валлонии;

5) *scripta* Шампани.

Более позднее появление французского языка в деловой переписке, чем в литературных текстах, позволяет предполагать, что переписчикам деловых бумаг и официальных документов не надо было создавать письменной традиции заново; они могли заимствовать ее из литературных текстов, которые, как уже говорилось, представлены с IX в.

Если признать существование литературной *scripta* в старофранцузский период, то снимается необходимость непрерывной локализации всех старофранцузских литературных текстов, закрепленной за определенными диалектами.

Снимаются проблемы, связанные с точной локализацией текстов, но возникают новые. Требуется выяснения вопрос о том, с какого времени существуют *scriptae*, отраженные в ранне-старофранцузских памятниках, как они возникли и какие области и районы сыграли решающую роль в их образовании. Продолжает стоять вопрос о том, какая область (или центр) выступает как нормирующий фактор в процессе формирования общепольского письменно-литературного языка (неточность таких понятий, как «франсийский», «Иль-де-Франс»).

Авторы, признающие существование средневековых *scriptae*, расходятся во мнении по вопросу о том, какие региональные *scriptae* использовались и какова была роль Парижа и Иль-де-Франса в их формировании.

В последних работах представлены две точки зрения. С одной стороны, утверждается раннее участие Парижа (Иль-де-Франса, франсийского) в формировании общепольского письменно-литературного языка, с другой, — эта роль отрицается. Расходятся мнения и о том, какие региональные *scriptae* существовали в ранне-старофранцузский период.

К авторам последних работ, приписывающим изначально ведущую роль Парижу (Иль-де-Франсу), относятся Ш. Госсен и Г. Хилти (G. Hilty).

(Признавая, как мы уже видели, наличие нескольких средневековых *scriptae*, Госсен подчеркивает особую ведущую роль Парижа в становлении общепольского литературного языка.

⁷ Ch. Th. Gossen. Op. cit.

По его концепции, с приходом к власти Капетингов (которые были родом из Иль-де-Франса), Париж становится королевской резиденцией, духовным центром Франции до того, как он стал им экономически и политически. С 1100 г. влияние языка Парижа распространяется на прилегающие районы. Значительную роль в росте влияния Парижа сыграло аббатство Сен-Дени. Распространению языка Парижа в другие районы способствовали и браки королей. Таково было влияние на Шампань, язык которой мало отличался от языка Парижа. Шампань географически, экономически и церковно-политически образовывала единство с Иль-де-Франсом. Епископства Шампани, Реймса и Санса были с X и XI вв. в тесном контакте с королевской властью.

По мнению Госсена, основным характером письменного языка литературных текстов которые Сюшье считает представляющими норманнский период, является французский («французским Парижа») или, если использовать традиционный термин, «франсийский». Это объясняется тем, что французский язык Парижа, думает Госсен, укрепился в герцогстве Нормандском еще до появления так называемых нормандских литературных текстов. Письменный язык этих текстов является франко-нормандским и, как другие региональные scriptae, представлял собой гибридное образование с французской окраской (язык Парижа), в нем наличествовали диалектные черты, фонетические и морфологические.

Французский язык Парижа и его окрестностей, предполагает Госсен, помимо того, что он являлся «языком двора», представлял еще среднюю линию, т. е. был понятен всей Северной Франции. В период X—XI вв., еще перед началом развития литературы, он распространился широко по всей Франции. В этих условиях развитие подлинных региональных языков оказалось невозможным.

Средневековые scriptae различных областей не базируются только на региональном диалекте. Они имеют явно выраженный французский характер, а диалектные черты как бы выступают на общем фоне.

Все области Северной Галлии в средневековье имели свой диалект. Их развитие шло наряду с развитием письменного языка. Диалекты влияли на этот последний, но не определяли его⁸.

К взглядам Госсена примыкает Г. Хилти, который пытается доказать ведущую роль «языка Парижа» («франсийского») в разработке общезападной scripta, несмотря на полное отсутствие «франсийских» текстов, по его терминологии, вплоть до XIII в. Он считает возможным предположить, что могла существовать изна-

⁸ «...Jede Nordfranzösische Scripta zeigte sich bisher bei näheres Zusehen als ein heterogenes Kunstgebilde. Sie ist kein Dialekt, obwohl die Bezeichnung «mittelalterliche Dialekte» immer noch in manchen Handbüchern und Monographien herumgeistert, sondern eine «landschaftliche Schreibtradition» (Ch. Th. Gossen. Op. cit., pp. 14—15).

чально устная литература, утерянная впоследствии, которая была отмечена чертами, характерными для франсийского⁹

Такие авторы, как Дельбуй и Авалле, одинаково признают роль языка Парижа в формировании scripta, т. е. французского общеписьменного языка, но считают, что его влияние начинает чувствоваться не ранее XII в.¹⁰ Вместе с тем они различно трактуют природу и происхождение старофранцузских scriptae раннего периода.

Авалле¹¹ в работе, посвященной самым ранним старофранцузским памятникам (Кантилена св. Евлалии, Житие св. Леодегария, Житие св. Алексея), предполагает существование в ранне-старофранцузском периоде трех письменных койнэ, находившихся на одинаковом уровне. Однако, по мнению Авалле, центр — Иль-де-Франс не принимал участия в образовании этих письменных койнэ. Он постулирует наличие: 1) пикардско-валлонской койнэ, 2) североаквитанской (отраженной в таком памятнике, как «Страсбургские клятвы») и 3) нормандской койнэ, представленной «Житием св. Алексея»¹².

Присутствие в этих койнэ общих элементов Авалле объясняет межрегиональными контактами. Он приписывает наличие сходных черт в текстах «Кантилены св. Евлалии» и «Жития св. Леодегария» межрегиональным контактом между пикардско-валлонской областью и Шампанью. Он отказывается признавать влияние Иль-де-Франса до XII в.

Дельбуй также относит влияние языка Парижа («франсийского») на более поздний период. Он постулирует раннее появление scripta в Северной Галлии — с IX или X в. Эта scripta, как он думает, создавалась на основе многочисленных сходных черт (но с сохранением местных особенностей каждой из областей), объединявших в этот период диалекты.

С точки зрения Дельбуйя, до Каролингского возрождения, положившего начало разрыву между романским языком (французским) и латинским, старофранцузские диалекты были очень близки и тем самым создавали основу для образования общей scripta. Произведения, отражавшие диалектные черты отдельных авторов, переписывались поэтами-клерками, которые для литературных текстов использовали такую систему письма, которая имела тенденцию к унификации, чтобы быть доступной для более широких кругов. Эта система письма скрывала диалектные расхождения:

⁹ «Mais a-t-on suffisamment envisagé la possibilité de l'effet d'une littérature orale perdue qui aurait pu être le véhicule d'une langue littéraire portant les traits caractéristiques du français» (G. Hilty. La séquence de Sainte Eulalie et les origines de la langue française. «Vox Romanica», 1968, Bd. 27/1, p. 9).

¹⁰ M. Delbouille. A propos de la genèse de la langue française. VIII Congresso Internazionale di studi romanzi. Atti, v. II, pp. 151—153.

¹¹ D'Arco Silvio Avalle. Alle origini della letteratura francese. I Giuramenti de Strasburgo e la Sequenza di Santa Eulalia. Torino, 1966, его же. Monumenti prefranciani. Il sermone di Valanciennes e il Sant Lethgier. Torino, 1967.

¹² D'Arco Silvio Avalle. Op. cit., p. 152.

одни и те же тексты могли читаться различно. Графика была не фонетической, а ограничивалась лишь выделением слова, которое каждый мог читать по-своему (т. е. вводить черты, свойственные его диалекту). Этому, по мнению Дельбуя, очень помогало использование латинского алфавита.

Все более и более ведущую роль языку Парижа («франсийскому») Дельбуй отводит только с XII в.¹³ Он объясняет это не только политическими и экономическими факторами, но и тем, что французский язык имел много черт (особенностей), совпадавших с особенностями других диалектов. Короче говоря, имел общие черты с каждым из остальных старофранцузских диалектов.

Что касается С. Робсона¹⁴, то он, признавая исключительную сложность и невыясненность вопросов, касающихся условий и процесса формирования общепольского письменного литературного языка, предлагает свою весьма интересную гипотезу.

По его предположению, в Северной Галлии с IX или X в. были две письменные традиции. Это была пикардская письменная традиция, засвидетельствованная наиболее ранним памятником — «Кантиленой св. Евлалии». Для пикардской письменной традиции было характерно развернутое обозначение системы вокализма при помощи целой серии диаграфов (ie, io (ue), eu). С самого начала своего существования она испытывала диалектное влияние, но не ставила себе целью отражение диалекта.

Кроме того, существовала и вторая — межрегиональная письменная традиция, которая, по мнению Робсона, могла возникнуть в монастырских кругах Востока и Севера, особенно после клунийской реформы. Эта традиция представлена таким текстом, как «Житие св. Леодегария», «Страсти Христовы», позднее — «Житием св. Алексея». Это был фиксированный письменный язык без местной окраски. Его отличали устойчивая глагольная морфология (которая уже ясно выступает в «Житии св. Леодегария») и устойчивая система написаний для обозначения согласных. Вместе с тем для этой письменной традиции типично латинизованное или аналогическое обозначение гласных корней, например, vo(i)l, vols, volt, volunt, volent, т. е. обозначение, избегающее отражения чередования гласных корней, характерного для разговорной диалектной речи.

С начала существования этих традиций между ними существовало взаимодействие («ie» в «Леодегарии», «ie», «ue» — в «Алексее»), т. е. черты, свойственные пикардской письменной традиции.

Межрегиональная традиция утвердилась после захвата Нормандии Вильгельмом Завоевателем и была распространена в Англо-норманно-анжуйском королевстве.

¹³ Интересно его замечание по этому поводу: «Никто не дождался XII века, чтобы писать по-французски».

¹⁴ C. A. Robson. Literary Language, Spoken Dialect and the Phonological problem in Old French. «Transactions of the philological Society, 1955». Oxford, 1956, pp. 117—180.

Начиная с 1120 г. основная масса литературных текстов, переписанных в Англии, отличается простой и упорядоченной орфографией, представляющей межрегиональную традицию. Эта традиция, по мнению Робсона, была передана островным писцам через нормандские монастыри.

В тех случаях, когда в этих текстах наблюдалась диалектная окраска, Робсон предполагает в первую очередь влияние центральной диалектной области. Островным писцам было свойственно стремление к фонетической реформе межрегиональной традиции, и она имела основание быть принятой в качестве общепольской. Захват Филиппом-Августом в конце XII в. Артуа, Фландрии и других экономически и культурно развитых областей Севера отодвинул на задний план использование межрегиональной письменной традиции. Королевская администрация, нуждаясь в устойчивых фиксированных нормах письменного языка, обращается к письменной традиции городов Севера (т. е. пикардской), имевших, кроме того, зрелую литературную традицию. Межрегиональная традиция сохранилась лишь в *scriptoria* Сен-Дени.

Наиболее сложным является установление участия различных диалектов в становлении общепольского письменного стандарта. Робсон решительно отвергает ведущую роль королевского домена в этом процессе. Он считает, что решение проблемы возникновения и развития общепольского письменно-литературного языка все время затруднялось тем, что исследователи опирались на понятия, которые не имели правильного определения. Так, королевский домен, которому часто приписывают решающую роль в образовании польского письменного стандарта, исторически — величина переменная. Он никогда в средневековье не был областью с постоянными границами и поэтому не имел однородного диалекта. Анахронизмом является и отождествление его с Иль-де-Франс

Таким же весьма неопределенным понятием является, как считает Робсон, и понятие «франсийский» диалект, который, по его удачному выражению, «всегда постулировался, но никогда непосредственно не был засвидетельствован ни в одном из сохранившихся памятников». Мало того, он одинаково в ряде случаев отождествлялся как с центральным диалектом, так и с некоторыми чертами общепольского языка.

Что касается Парижа, то в раннее средневековье он был менее важным центром, чем Реймс, Труа, Орлеан и Шартр, а позднее для него был характерен текучий состав населения, что не могло обеспечить ему однородного характера языка. Парламент Парижа склонялся к межрегиональной письменной традиции, торговые слои — к языковому узусу коммерческих центров Средней Сены, а придворные круги — после установления контактов с областями Средней Луары — языковому узусу Запада и Северо-Запада.

Не в Иль-де-Франс и не в Париже, утверждает Робсон, следует искать центр формировавшегося письменного стандарта.

Он считает, что в средневековье были три основные диалектные области — Пикардия, Шампань и центральная диалектная область, древние границы которой трудно точно определить. Он определяет центральную диалектную область как территорию, простиравшуюся вдоль Сены и Средней Луары между Шартром, Труа, Туром, Орлеаном и Оксерром. С момента преобладания влияния Парижа и городов по Луаре, где находилась резиденция французских королей, центральная диалектная область стала «*parler digesteur*» (по выражению Робсона) для многих местных диалектов в бассейне Луары.

С XIII в. в южной Нормандии, восточном Мэне, в городах по Нижней Луаре, на севере Берри и на северо-западе Бургундии шел процесс проникновения и ассимиляции либо образования региональных разновидностей общефранцузского стандарта.

Центральная область распространялась и утвердилась в языковом отношении независимо от Иль-де-Франса. После победы Филиппа-Августа над Нормандией (1206 г.) центральная область начала формировать разговорный узус двора.

Англо-норманно-анжуйское королевство не смогло создать лингвистического единства на своей основе. Оно ввело письменный французский язык в Англии и фактически подготовило процесс ассимиляции южных и юго-восточных нормандских говоров речью двора и центральной области.

Шампань, так же как и Нормандия, способствовала лишь созданию широкой центральной области относительно диалектно недифференцированной французской речи, которая из придворных кругов проникла в среду буржуазии.

В работах Робсона подробнее, чем у кого-либо, рассматривается вопрос о соотношении *scriptae* и разговорной диалектной речи. Используя языковые данные, он вместе с тем широко привлекает исторический материал и принимает во внимание весь комплекс политико-экономических и культурных условий, в которых проходило формирование общефранцузского языкового стандарта в эпоху раннего средневековья. Это помогает исследователю осветить ряд наиболее сложных моментов развития общефранцузского литературного языка.

Привлекает внимание попытка объяснить такое явление, как наличие диграфов, обозначающих дифтонги, в самых ранних памятниках («Кантилена св. Евлалии» и некоторых других) и отсутствие их в более поздних текстах — целом ряде рукописей, переписанных в Англии островными писцами. После чего диграфы снова появляются в рукописях XII—XIII вв.

Это явление, которое очень занимает исследователей и до сих пор истолковывается по-разному, породило весьма неприемлемую теорию об «англо-нормандском» диалекте¹⁵.

¹⁵ См. Н. А. Катагощина. К вопросу о так называемом «англо-нормандском» диалекте. Сб. статей по языкознанию. Памяти заслуженного деятеля науки проф. М. В. Сергиевского. Изд-во МГУ, 1961, стр. 120.

Довольно наглядно Робсон показал, что наличие централизации, политического объединения (как это, например, имело место в отношении Англо-норманно-анжуйского королевства) вовсе не обязательно означает, что языковая унификация должна иметь место на основе диалектов именно там, где происходит процесс централизации. Области, передовые в политико-экономическом отношении, могут с успехом использовать для выработки общего письменного стандарта письменные традиции других областей (если, конечно, эти письменные традиции уже существуют).

Совершенно справедливо хорошо подкрепленное аргументами отрицательное отношение Робсона к некритическому использованию таких понятий, как «франсийский», «Иль-де-Франс». Привлекает гипотеза Робсона о том, что ведущую роль в подготовке общефранцузского разговорного стандарта сыграла обширная центральная область и что с конца XII в. разговорный узус этой области, ставшей «*parler directeur*» (по выражению Робсона), оказывал влияние на гибридную письменную традицию королевских канцелярий и других административных и судебных учреждений средневековой Франции. Остается лишь неясным вопрос, почему влияние центральной области было заметно уже в XI в. и оказывало влияние на письменную традицию островных писцов.

Вообще в исследовании Робсона недостаточно показано, в каких условиях и почему еще до XII в. центральная область начала играть значительную роль в становлении общефранцузского языка.

Так или иначе, но теория *scriptae*, выдвинутая Л. Ремаклем, оказала и оказывает плодотворное влияние на изучение проблемы формирования общефранцузского письменно-литературного языка. Она обновила методы подхода к исследованию древних текстов, дала толчок тщательному изучению деловых документов (исследования Ш. Госсена). Знание документов позднего периода в свою очередь помогает выяснить особенности и признаки средневековой литературной *scripta*. Вопрос о начальном этапе формирования общефранцузского литературного языка еще окончательно не решен, но намечаемые последними работами пути весьма перспективны.

О ЧЕРТАХ СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ В МОРФОЛОГИИ РОМАНСКИХ ЯЗЫКОВ

Проблемы и методы сравнительно-сопоставительного исследования языков, принадлежащих к одной и той же генетической группе, широко обсуждаются в современной романистической литературе. На протяжении последнего десятилетия были предложены четыре классификации современных романских языков, в частности, были высказаны четыре точки зрения относительно места румынского языка в этой группе языков¹.

В морфологии романских языков легко обнаруживаются черты сходства, обусловленного генетическим родством этих языков. Так, для всех романских языков характерен сходный инвентарь морфологических категорий, определяющих грамматические подсистемы отдельных классов слов или частей речи (а в применении к родственным языкам классификация языкового материала по частям речи может допускаться как способ сопоставлять «малые системы, а не отдельные явления языка»²). В большинстве романских языков слабо развита система грамматических категорий у существительного и прилагательного и хорошо — у местоимения. Категории наклонения, времени, лица, числа, залога во всех языках образуют развернутую систему оппозиций, манифестирующихся в формах лица и числа большого количества модально-временных парадигм глагола. При этом в качестве средств манифестации во всех романских языках используются как синтетические средства

¹ В 1959 г. Е. Граймс и Ф. Эгерд (E. Grimes-Frederik, B. Agard. *Linguistic divergence in Romance*. «Language», vol. 35, 1959, No. 4), объединив сардинский и румынский языки, противопоставили их западной подгруппе романских языков — французскому и иберо-романским языкам. Через два года известный румынский лингвист И. Иордан, указывая на отсутствие германских элементов и на наличие сходных нероманских элементов, другим родственным языкам не свойственных, объединяет румынский язык с итальянским (см. I. Iordan. *El lugar de la lengua rumana en la Romania*. «Beiträge zur romanischen Philologie», vol. 1. Berlin, 1961). В 1965 г. на XI международном конгрессе по романской филологии В. Манчак, основываясь на критерии числа инноваций в романских языках по сравнению с латинским, противопоставляет румынский и португальский языки всем остальным родственным языкам, в то время как еще один крупный румынский лингвист А. Росетти настаивает на том, что румынский язык, как и балканский, нельзя объединять ни с какими другими романскими языками (A. Rosetti. *A propos de la place de la langue roumaine parmi les langues romanes*. «Beiträge zur romanischen Philologie», vol. II. Berlin, 1963, No. 2; A. Niculescu. *Individualitatea limbii române între limbile romanice*. Bucuresti, 1965).

² Ср. В. Н. Ярцева. Принципы типологического исследования родственных и неродственных языков. В кн.: «Проблемы языкознания». М., «Наука», 1967, стр. 205.

(грамматические показатели, аффиксы, флексии³), так и средства аналитические.

Наряду с перечисленными и многими другими чертами сходства, определяющимися генетической общностью⁴ (и несмотря на генетическую общность), многочисленны и различия, обусловленные расхождением романских языков в процессе их развития.

Если обратиться к структуре парадигм романского глагола, можно отметить весьма различную степень их сложности в отдельных языках. Парадигма глагола в испанском и португальском языках, например, включает сравнительно большое число форм, которое достигает в испанском 115, в португальском — 121. Из них простые формы, т. е. образованные синтетическим путем, составляют половину, в то время как в румынском — приведем его для сравнения — всего лишь треть. Еще более «аналитическим» является глагол в сардинском языке, особенно в подсистеме изъявительного наклонения: лишь одна четверть форм парадигмы сардинского глагола образуется с помощью аффиксальных средств.

Характеризуя структуру романского глагола, нельзя не коснуться вопроса о весьма различной роли неморфологических средств в манифестации глагольных противопоставлений. Для большинства романских языков морфонологическая дифференциация основ не является столь же важным средством реализации грамматических противопоставлений, как аффиксация или использование аналитических конструкций. Хотя в испанском глаголе дифтонгизация как тип варьирования основ широко распространена, она стоит за пределами системы, поскольку для каждого отдельного глагола определяется нормой (дифтонгизирующие глаголы даются обычно списком). Несколько иные природа и условия варьирования основы глагола в португальском языке. Чередование гласных в парадигмах настоящего времени индикатива/конъюнктива обусловлено здесь фонетическим свойством нейтрализации гласных по подъему в неударном положении. Но и эти чередования не являются в системе португальского глагола средством выражения каких-либо морфологических противопоставлений. То же

³ В романских языках тематическая гласная глагола может рассматриваться не только как формальный показатель отнесенности глагольной формы к тому или иному типу глагольного спряжения, т. е. как элемент, который не соотносится с означаемым, но и как элемент, который играет роль модально-временного аффикса: в сардинском, румынском, испанском, португальском, а также каталанском языках тематическая гласная выступает в качестве показателя наклонения, экспонируя противопоставление по этому признаку в настоящем времени индикатива и конъюнктива, см. Н. Д. Арутюнов. Морфологические категории и структура слова в испанском языке (существительное и глагол). В кн.: «Морфологическая структура слова в индоевропейских языках». М., «Наука», 1970.

⁴ В области лексики специфические особенности отдельных романских языков описаны Р. А. Будаговым в его фундаментальном труде «Сравнительно-семаснологогические исследования (романские языки)». Изд-во МГУ, 1963; о синтаксических параллелях см. Р. А. Будагов. Соответствие и тождество в сопоставительном синтаксисе. В кн.: «Omăgiu lui Alexandru Rosetti». București, 1965.

и в итальянском: консонантные чередования типа *k//č, g//ğ* непременно сопровождают флексию, т. е. остаются избыточным средством выражения морфологических противопоставлений и служат, по выражению Е. Куриловича, лишь для дополнительной фонологической характеристики словоформы⁵.

Функции морфонологических чередований в румынском языке более широки. Консонантные чередования здесь, так же как в итальянском, являются результатом воздействия определенной флексии. Однако в румынском можно выделить случаи, когда консонантные альтернации становятся не дополнительной характеристикой словоформы, а основной, т. е. средством выражения грамматического значения словоформы. Таким образом, в румынском языке можно выделить случаи семантизации альтернации (морфоном), их возвышения до уровня морфем⁶. Наличие наряду с консонантными рядами вокалических чередований определяет особенность структуры корневых морфем в румынском глаголе (имени) как «поливариантной», когда в качестве стандартного («правильного») глагола можно рассматривать глаголы, обладающие тремя морфонологическими вариантами корневой морфемы⁷.

Модели морфемной структуры глагольных форм также выявляют значительное расхождение между отдельными романскими языками. Морфемная структура форм в румынских и французских глагольных парадигмах отличается нестройностью, разное число моделей даже в пределах одной временной парадигмы. В то же время в иберо-романских языках, сардинском и частично в провансальском морфемная структура парадигм отличается единством. Как можно видеть, различия в структуре романских языков, в средствах манифестации основных грамматических оппозиций весьма существенны. Однако для сравнительно-типологического исследования родственных языков желательнее более точное определение степени подлинных схождений между языками (скрытых за внешними различиями) и весьма глубоких расхождений при внешней материальной близости их. Такая цель достигается, по-видимому, в результате одного из приемов, используемых в типологических исследованиях, а именно в результате сопоставления отношений между единицами системы (означаемыми) и единицами структуры (означающими)⁸. Анализ системы имени в румынском языке дает возможность определить как характерную особенность этого языка

⁵ J. Kurilowich. *Phonologie und Morphologie*. Ротапринтное издание материалов Венского конгресса по фонологии (сентябрь 1966 г.).

⁶ Имеются в виду чередования типа *k//č, g//g* как средство выражения оппозиции по категории лица, первого и второго, единственного числа *plek//pleč, pierg//perğ*. Эти же альтернации становятся означающими в системе имени, в противопоставлении по категории числа — единственное число/множественное число: *amik//amič, drag/drağ*.

⁷ P. Diaconescu. *Contribuții la definirea și clasificarea verbelor regulate în limba română*. «Studii și cercetări lingvistice», anul XI. București, 1960, No. 2.

⁸ Опыт такого анализа см. Н. Д. Арутюнова. Ук. соч., стр. 293 и сл.

сочетание следующих свойств: с одной стороны, избыточность и вариантность элементов в структуре (можно привести огромное число алломорфов морфемы множественного числа, выбор которых почти свободен; ср. также вариантность показателей рода, которая ничем не обусловлена), с другой стороны, недостаточность структуры в соотношении с системой (недостаточно манифестируется со стороны формы противопоставление по категории рода).

Многие другие вопросы являются не менее существенными при типологическом исследовании родственных языков: место моделей, совпадающих в родственных языках вследствие общности их генетического прошлого, в системе каждого языка; частотность отдельных структурных типов; продуктивность общих моделей в языковой системе каждого языка и т. д.⁹

Рассмотрение всех этих сторон наряду с изучением одинаковых системных черт, скрываемых различиями в плане выражения, и, наоборот, различий в формальном строении явлений ряда языков при близком и даже тождественном содержании, может быть, даст возможность создать более однозначную классификацию романских языков.

⁹ Е. И. Шендельс. О сопоставительно-типологическом анализе в морфологии. В кн.: «Структурно-типологическое описание современных германских языков». М., «Наука», 1966, стр. 52. См. также В. Г. Гак. Специфика родственных языков на разных уровнях реализации. В кн.: «Первая всесоюзная конференция по испанской филологии». Тезисы докладов. (Изд-во ЛГУ, 1970, стр. 32—33), где предлагается многосторонний анализ специфики сопоставляемых языков (на уровне системы, структуры, нормы и узуса).

ЗАМЕТКИ О ТЕРМИНЕ «ГАЛЛИЦИЗМ»

Внимательный анализ различий в значении слов, общих для нескольких европейских языков, может дать любопытные результаты. Я имею в виду не только примеры крупных расхождений, зафиксированные в общеизвестных сборниках паронимов, «ложных друзей переводчика» (*faux amis*, см. Koessler-Derocquigny) или «обманчивых родственников» (*deceptive cognates*, см. Altrocchi), но также и те мелкие особенности и оттенки значения отдельного «европеизма», которые почти в каждом языке можно наблюдать в действительном употреблении в народе или у писателей, или по их отражению в словарях. Остановимся на термине «галлицизм», с первого взгляда столь однозначном и интернациональном¹. Прежде всего отметим, что многие итальянские существительные на *-ismo*, относящиеся к сфере лингвистических понятий (и старые, типа *idiotismo*, *solecismo*, *atticismo* и т. п., и образованные сравнительно недавно, например, *germanismo*² и т. п.), могут иметь как абстрактное значение — собирательное или выделительное, обозначая особенность речи группы лиц, или одного лица («*L'immenso francesismo che inonda i costumi e la letteratura e la lingua degl'italiani e degli europei...*», Leopardi, Zibaldone, 18 agosto 1822; «*il Magalotti fu spesso rimproverato di gallicismo*»), так и значение конкретное, указывающее на одно какое-либо слово («*gioia*» in italiano e un gallicismo», «*il francesismo «chauffeur» e stato quasi interamente eliminato*»).

Колебания в значении интернационального термина «галлицизм» вызываются также существованием синонимов-конкурентов, как, например, итальянские *gallicismo* и *francesismo*, синонимов, которые по-разному соотносятся в разных языках. Так, по данным итальянских словарей, оба слова представляют собой полные синонимы (см., например, *Dizionario Garzanti della lingua italiana*, Milano, 1965), тогда как Словарь современного румынского языка Румынской академии (București, 1958) четко разграничивает значения этих слов:

Franfuzism, s. m. Element de jargon luat fără necesitate din limba franceză și introdus în limba noastră.

Galicism, s. m. Expresie idiomatică (netraductibilă) proprie limbii franceze.

¹ Здесь рассматриваются в первую очередь итальянский и французский, с которыми попутно сравниваются испанский и румынский.

² В греческом именной суффикс *-ismós* был гораздо теснее связан с глагольным суффиксом *izein* (см. A. Debrunner. *Griechische Wortbildungslehre*. Heidelberg, 1917, pp. 154—155), чем в итальянском существительные с суффиксом *-ismo* связаны с глаголами, имеющими суффикс *-izzare*.

В испанском языке конкуренция аналогичных синонимов имеет также свои специфические черты, поскольку книжному термину *galicismo* противостоит производное от *francés* общенародное слово *afrancesar*, *afrancesado*.

Легко заметить, что в современной лингвистической терминологии всех языков (за исключением французского, где мы находим термин *gaulois*) слово *gallico* по традиции, восходящей к классической латыни, обозначает язык жителей древней Галлии, тогда как *gallicisme* имеет отношение только к языку современной Франции³. Последний термин, возникший в эпоху Ренессанса, был создан Анри Этьеном, который в своих «Двух диалогах» (*Deux Dialogues du nouveau langage François italianizé et autrement desguizé*, 1578, II, p. 177, éd. Liseux, 1883) жалуется на то, что «la costume est de quitter ici notre gallicisme et user de l'italianisme». Здесь слово употреблено в собирательном значении «характерные особенности французского языка», откуда потом легко образовалось и индивидуальное значение, зарегистрированное уже в первом издании Словаря Французской академии:

Gallicisme, s. m. Manière de parler particulière à la langue française, et contraire aux règles ordinaires de la grammaire. «S'attaquer à quelqu'un», «se battre avec quelqu'un», sont des gallicismes (*Dictionnaire de l'Académie Française*. Paris, 1694)⁴.

К этому первому значению Словарь добавляет и второе:

On appelle aussi, *gallicisme*, des manières de parler composées des termes de quelqu'autre langue, mais construites selon le génie de la langue française.

В последнем случае это слово первоначально относилось к галлицизмам, встречавшимся в школьных латинских сочинениях, как это можно предположить из примеров, приводимых словарями вплоть до XIX в. Так, в седьмом издании Словаря Французской академии (1878) находим:

Gallicisme... (se dit également) Des façons de parler de la langue française, transportées dans une autre langue. «Cet ouvrage latin est plein de gallicismes». То же у Littré: Façon de parler empruntée du français et transportée dans une autre langue. Il y a des gallicismes dans le discours latin prononcé à la distribution des prix du concours général des lycées et collèges de Paris.

Таким образом, в определениях второго значения слова «галлицизм» чувствуется элемент отрицательной оценки, который специально подчеркивается в некоторых современных словарях, например:

³ Мне ни разу не встретился термин *gallicismo* в применении к заимствованиям из языка галлов, если не считать искусственного примера в словаре Tommaseo — Bellini, *Dizionario della lingua italiana*, s. v. *Gallicismo*: «I Galli che primi parlarone e scrissero il romano, avran fatto sentire dei gallicismi». В этом значении закрепился термин «celtismo».

⁴ Без знаков accents в оригинальном издании.

Forme française introduite abusivement dans une autre langue. «Ce thème latin contient des gallicismes». (Hatzfeld — Darmster — Thomas. Dictionnaire général, s. v.),

Пли: Construction française transportée a tort dans une autre langue (Petit Larousse, ed. 1961, s. v.).

Столь же резкая отрицательная помета сопровождала вначале итальянское слово francesismo или francesismo (см. Redi, Magalotti, Baretti), а вслед за ним и слово gallicismo (с конца XVIII в.). Так, в пятом издании Словаря Академии Круска находим:

Francesismo, Sost. masc. Voce, Locuzione, Significato, proprio della lingua francese, e arbitrariamente, abusivamente o per malvezzo, introdotto nella nostra (s. v., vol. VI, 1889).

Gallicismo. Sost. masc. Voce, Locuzione o Significato, proprio della lingua gallica, ossia francese, e arbitrariamente e in modo abusivo introdotto nella nostra; Francesismo (s. v., vol. VII, 1893).

В этом оттенке значения обоих итальянских слов непосредственно отражается отрицательная реакция по отношению к огромному влиянию французского на итальянский язык конца XVII — начала XX в., реакция, принимавшая формы активной, но не всегда победоносной борьбы против галлицизмов.

Вместе с тем, несмотря на преобладание пурристических тенденций, постепенно распространяется также и чисто историческая точка зрения на галлицизмы, и они получают более объективную характеристику. Например, у Сильвио Пиери (Silvio Pieri) читаем: *soggetto... puo essere un francesismo E un francesismo riconosceremo a ogni modo in leggiero*. (Supplementi periodici all'Archivio glottol. ital., V, 1898, p. 180).

Также и в книге R. R. Bezzola «Abbazzo di una storia dei gallicismi italiani nei primi secoli» (Zürich, 1924) слово gallicismo не имеет, естественно, никакого отрицательного оттенка⁵.

Что касается взаимоотношений между итальянскими синонимами gallicismo и francesismo, столь долгое время употреблявшихся недифференцированно, вряд ли следует проводить между ними искусственную границу, приписывая первому объективный, а второму — аффективно-отрицательный оттенок.

Столь же искусственной будет, по-видимому, попытка употреблять слово gallicismo в более широком смысле, а слова francesismo и provenzalismo в более частном значении, точно указывающем на происхождение слова из языка oïl или из языка oc. Ограниченность сферы применения подобных терминов, приложимых лишь к заимствованиям, проникшим в итальянский язык в X—XIII вв., а также нечеткость границ между галлицизмами и провансализмами

⁵ В испанском языке, как было сказано выше, слово galicismo всегда сохраняло объективное, стилистически нейтральное значение благодаря наличию уничижительного синонима afrancesado.

(см. Беццола. Цит. соч., стр. 58) делают излишней самую точность терминологии.

Не будем, однако, углубляться в область глоттотехнических гипотез, которые отвлекли нас от исторического анализа значений слов с суффиксом *-ismo*⁶. Все сказанное выше по поводу *gallicismo* и *francesismo* находит параллели в истории развития значений других лингвистических терминов на *-ismo*, как, например, возникновение у слова *latinismo* собирательно-абстрактного и индивидуально-го значений, нейтральной и уничтожительной эмоциональной окраски.

В заключение нам хотелось бы еще раз подчеркнуть, что все эти «европеизмы» (еще один термин, созданный Леопарди)⁷ приобретают в разных языках различные смысловые оттенки, так, что значения этих слов гораздо менее единообразны, чем это обычно принято думать.

Перевод с итальянского Т. Б. Алисовой.

⁶ Фердинандо Нери, подробно изучивший историю слова *purista* в итальянском и во французском языках (*Atti Accad. Scienze di Torino*, LXVIII, 1942—1943, pp. 52—56), указывает на забавный парадокс: этот термин, созданный для обозначения рьяных защитников чистоты итальянского языка, сам является галлицизмом, точнее заимствованным из французского языка латинизмом. То же самое можно сказать и о слове *gallicismo*, образованном, как мы видели, Анри Этьеном.

⁷ *Si condannino (come e quanto ragion vuole) e si chiamino barbari i gallicismi, ma non (se cosi posso dire) gli europeismi, che non fee maibarbaro quello che fu proprio di tutto il mondo civile...»* (Zibaldone, 26 giugno, 1821).

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ (рум. *ohaba* — *ohabnic*¹)

Более двадцати лет назад Р. А. Будагов обратил внимание исследователей на необходимость изучения семантического развития древних славянских заимствований в румынском языке, ибо эта область славяно-румынских языковых отношений была наименее изучена. Следует, писал он, «не просто констатировать наличие в румынском языке тех или иных славянских слов, но и показать пути семантического развития этих слов, дать возможную семантическую классификацию». При этом нужно привлекать для сравнения не только старославянские слова, но и данные современных славянских языков, учитывать семантическое многообразие лексики последних². И раньше некоторые исследователи анализировали семантику ряда слов, как, например, Б. П. Хаждеу³, Л. Шаиняну⁴, И. Богдан⁵, А. И. Яцимирский⁶, И. Иордан⁷, Э. Петрович⁸, К. Раковица⁹ и другие, к именам которых можно добавить П. Скока¹⁰, Б. Унбегауна¹¹, В. Кипарского¹², А. Граура¹³,

¹ Наша предыдущая статья из этой серии (№ 14) напечатана в SCL XX, 1969, № 3, стр. 339—341. При цитировании ряда словарей и источников мы используем сокращения, принятые в «Dicţionarul limbii române» (DLR), t. VI. Bucureşti, 1965, pp. XXIII—XCVIII и в книге: G. Mihăilă. *Imprumuturi vechi sudslave în limba română. Studiu lexico-semantic.* Bucureşti, 1960, pp. 294—298. Добавим здесь сокращения некоторых румынских журналов: BL — «Bulletin linguistique»; DR — «Daco-romania»; RFR — «Revista Fundaţiilor Regale»; RRL — «Revue roumaine de linguistique»; SCL — «Studii şi cercătari lingvistice»; CL — «Cercătari de lingvistică».

² См. Р. А. Будагов. Славянское влияние на румынский язык. «Вестн. Ленингр. ун-та», 1947, № 12, стр. 84—87. См. также Р. А. Будагов. О так называемом «промежуточном звене» в смысловом развитии слов. «Сборник статей по языкознанию. Профессору Московского университета акад. В. В. Виноградову». Изд-во МГУ, 1958, стр. 73—85 и его книгу «Сравнительно-семасиологические исследования (Романские языки)». Изд-во МГУ, 1963, в которой ряд примеров взят из румынского языка, в частности из его славянских заимствований.

³ B. P. Hasdeu. *Din istoria limbii române.* Bucureşti, 1883.

⁴ L. Şăineanu. *Incercare asupra semasiologiei limbii române.* Bucureşti, 1887.

⁵ Ряд историко-филологических исследований, опубликованных начиная с 1889 г. и воспроизведенных в кн.: I. Bogdan. *Scrieri alese.* Bucureşti, 1968.

⁶ Из славяно-румынских семасиологических наблюдений. ИОРЯС, 1904, т. IV, кн. 2, pp. 257—258.

⁷ I. Iordan. *Noţiunea «muncă» în limbile romanice.* «Arhiva», 1922, t. XXIX, No. 2, pp. 216—237 (= *Scrieri alese.* Bucureşti, 1968, pp. 3—19).

⁸ Ряд этимологий, опубликованных по большей части в журналах «Daco-romania» и «Cercetări de lingvistică» (см. библиографию его работ в CL, III, 1958, Supl., pp. 565—574 и в RRL XIII, 1968, No. 6, pp. 561—566).

⁹ C. Racovită. «Travail» et «souffrance». BL, VII, 1939, pp. 96—101.

¹⁰ P. Skok. *Leksikologijske studije.* Zagreb, 1948.

¹¹ B. Unbegaun. *Les noms de la neige en roumain.* «Orbis», 1953, t. II, No. 2, pp. 346—351.

¹² V. Kiparsky. *Roum. mucenici 'gateaux' et 'martyrs'.* RRL, 1965, t. X, No. 1—3, pp. 45—47.

¹³ Al. Graur. *Etimologii româneşti.* Bucureşti, 1963.

А. Ломбарда¹⁴ и других, занимавшихся этими вопросами в последнее время.

В рамках этого направления — славяно-румынских исследований — мы позволим себе рассмотреть здесь, на более широкой основе, чем это было сделано до сих пор, два древних румынских слова старославянского происхождения, *ohaba* и *ohabnic*, впервые засвидетельствованных в славяно-румынских грамотах XIV—XVI вв.

Первым, кто основательно занялся этими словами, после кратких указаний Б. П. Хаджеу¹⁵ и Фр. Миклошича¹⁶, был И. Богдан. В своей академической речи 1905 г. и в статье, опубликованной в 1906 г., он объяснил значения этих слов в славяно-румынских грамотах XIV—XVI вв. и в старорумынском языке, а также их славянское происхождение¹⁷. Но поскольку И. Богдану не доставало тогда примеров из славянских языков, которые подтвердили бы его этимологию, хотя она была в сущности принята С. Драгомиром¹⁸, Э. Гамильшегом¹⁹, А. Росетти²⁰, И. Донатом²¹, П. П. Панаитеску²² и всеми румынскими историко-этимологическими и толковыми словарями (Шаиняну, Тиктин, Кандря, Скрибан, DLRM, Чоранеску²³, DLR), это объяснение было поставлено под сомнение некоторыми историками, например А. Сачердояну²⁴.

Согласно определению И. Богдана, дополненному П. П. Панаитеску, рум. *ohábă* (книжнослав.-рум. *оухаба*) означало в Валахии, Банате и на юге Трансильвании в XIV—XV вв. «поместье, свободное от дани и от барщины, имеющее фискальную, юридическую и политическую автономию», т. е. «отказ сюзерена (господаря) от своих прав на это поместье в пользу феодала или феодальной институции, например, монастыря» (соответствует средне-лат. *immunitas*; в Молдавии для этого понятия употреблялось слово *uric*

¹⁴ Alf Lombard. L'utilité des études roumaines pour la slavistique (научное сообщение в Бухарестском университете 9 октября 1969 г.).

¹⁵ Cuvente den bătrâni, I. București, 1878, p. 91; из слав. *оХаб-И-Тиса*; неточно, однако в *Etymologicum Magnum Romaniae*, III. București, 1893, столб. 2687 (из болг. *ohar-*, *uhar-*).

¹⁶ Miklosich. EW. 84—85, 423.

¹⁷ Scrieri alese, pp. 108—109, 249—252 (статья *Ohabă — ohabnic*).

¹⁸ S. Dragomir. Cîteva urme ale organizației de stat slavoromâne. DR. I, 1921, pp. 149—150.

¹⁹ Despre originea românilor. RFR, an VII, 1940, No. 8, pp. 258—259 и карта III (p. 264).

²⁰ A. Rosetti. Istoria limbii române, de la origini pînă în secolul al XVII-lea. București, 1968 pp. 290, 329 (1 изд., 1940).

²¹ I. Donat. Despre toponimia slavă din Oltenia. Craiova, 1947, pp. 70—72.

²² P. P. Panaitescu. Urme din vervea orînduirii feudale în vocabularul limbii române. SCL, IX, 1958, No. 2, pp. 166—168; Idem. Obștea țărănească în Țara Românească și Moldova. Orînduirea feudală. București, 1964, pp. 71, 76.

²³ Al. Ciorănescu. Diccionario Etimológico Rumano, fasc. 4. Laguna, 1960, No. 5855, p. 579.

²⁴ Elemente de continuitate și unitate în istoria medievală a românilor. В сб.: «Unitate și continuitate în istoria poporului român». București, Ed. Academiei, 1968, pp. 113—116. Автор пытается связать рум. *ohabă* с лат. *habitatio* «жилье» или с *habitus* «состояние», что совершенно невозможно с фонетической точки зрения.

венгерского происхождения)²⁵; позднее, этот термин стал обозначать просто «наследственное поместье», ибо такие поместья наследовались, как правило, от отца к сыну и т. д.²⁶. Соответственно рум. прилаг. *ohábnic*, -ă (книжносл.-рум. **ОХАВНЬ** наряду с *охабьскъ*) означало, в первую очередь, «освобожденный, -ая, -ое от дани и т. д.» (например, о поместьи), «имеющий право на такое поместье» (например, о боярине), а потом и «наследственный, -ая, -ое» и т. п.²⁷. Что касается формы румынского прилагательного *ohabnic*, она не происходит от незасвидетельствованного славянского существительного ***оухавникъ**, как предполагал И. Богдан²⁸, а от прилагательного *охабьнь*, путем применения суффикса -*nic* (ст.-сл. -*никъ*), по происхождению являющегося суффиксом *po-pina agentis* и ставшего в румынском языке, как и другие подобные суффиксы, также суффиксом имен прилагательных²⁹. В народной речи это слово получило ряд фонетических вариантов: *ohávníc*, *ohámnic*, *ohámic*, *hábnic*, *hámnic* и др.³⁰.

Вот, например, древнейший известный случай употребления слова *охаба* в славяно-румынской грамоте 1374 г.:

«По сіху, село жидовициъ, свободно ѡт вьсѣтъху данковъ і рабѣтъ г[о]сподскыху и ѡт вонскы и по вьсему охаба.»³¹.

И для **оухавнь** (1407 г.):

«ида стѣ... ѡт клѣвѣ оухавни и ѡт кошници оухавни.»³².

Наконец, древнейшее, известное нам употребление рум. *ohabnic* (1592 г.):

«...Са să-i f[i]e lui moșie stătătoare și ohabnic[ă] în veci»³³.

И. Богдан показал, что оба слова происходят от глагола, известного в книжнославянских текстах, **оухавити сѧ, оухавати сѧ** «abstinere, cavere»³⁴. «Значит, этимологически, — писал он, — *ohabă* означает отказ, невмешательство (государственных служащих в частное поместье), а *ohabnic*(...) — кто-то, чье поместье пользуется подобным правом»³⁵.

²⁵ I. Bogdan. Op. cit., pp. 249—252; P. P. Panaitescu. Urme..., p. 167; Obstea..., p. 77.

²⁶ P. Panaitescu. Urme..., p. 167; см. также: DLR, VII, 2, 1969, p. 171. Слово *ohabă* стало топонимическим названием в южной части Румынии, а именно в Олтении, Банате и на юге Трансильвании, с давних времен, обозначая ряд сел, находящихся на территории бывших таких поместий. См. ук. соч. С. Драгомира и И. Доната.

²⁷ DLR, VII, 2, 1969, стр. 171.

²⁸ Op. cit., p. 251.

²⁹ A. Graug. Nom d'agent et adjectif en roumain. Paris, 1929, pp. 34—36.

³⁰ DLR, там же.

³¹ Documenta Romaniae Historica. B. Țara Românească, vol. I, întocmit de P. P. Panaitescu și D. Mioc. București, 1966, p. 18.

³² Ibid., p. 71.

³³ Crestomație romanică, întocmită sub conducerea acad. Iorgu Iordan, vol. 1. București, 1962, p. 154.

³⁴ Miklosich. Lex, 1087.

³⁵ Op. cit., p. 251.

Приведем более подробные данные из славянских словарей, часть которых появилась позже.

Срезневский, Доп. 210' приводит глагол *охабити* «покинуть, оставить», с примером из «Повести временных лет» (6476 г. = 968 г.), а в Мат. II, 836, возвратную форму этого глагола, *оухабити, са* со значениями «покинуть, оставить; посторониться, спрягаться; перестать, прекратить; отстать, воздержаться; лишиться» и *оухабляти са* «удерживаться, остерегаться, оставлять, пренебрегать», подтверждая эти значения рядом примеров из «Повести временных лет» и из других древнерусских и книжно-славянских текстов. Наряду с этими глаголами появляется производное сущ. *оухавень* или *оухавень* «часть города или крепости, окруженная отдельной стеной; предместье» (II, 835—836), которое приближается своим конкретизированным значением к словам *охаба* и *оухавнь* из славяно-румынских грамот.

Очень интересными кажутся нам данные украинского языка: *охабити (охабляти)* — оставить; *охабитися* — воздерживаться от чего-либо, забыть, потерять что-либо; *охаба* и *охаб* — старое русло реки (а также «лужа, болото») ³⁶, т. е. русло, покинутое рекой. Это свидетельствует о другом способе конкретизации отглагольного существительного. Из украинского *охаб* проникло в польское говоры: *ochab* «bloto, bagno, trzęskawisko, oparzelisko» и глагол *ochabić, ochabiać, «zostawić»* ³⁷, вероятно, того же происхождения.

В сербохорватском языке (диалектное: на о. Крке и в прилегающих областях) *хабити* означает «пазити, слушати», а *хабити се* — «чувати се» (в кайкавском диалекте, в северных областях Хорватии и в Славонии) ³⁸. В словенском языке бытуют следующие слова: *hábiti: kaj* «etwas hintenhalten, verschonen, schonen»; ~ *kaj od koga, česa* «behüten»; ~ *koga česa* «jemanden vor etwas warnen»; *hábiti (habiti) se česa* «sich vor etwas hüten, sich einer Sache enthalten»; *ohábiti se česa* «zanemariti kaj» (пренебречь, запустить, отнестись небрежно); *ohabljiv*, «nemagen» (небрежный, невнимательный) ³⁹. Наконец, в старочешском языке известен глагол *ochabiti se seho* «etwas meiden, sich enthalten» ⁴⁰.

Что касается происхождения славянского глагола (о) *chabiti (se)*, М. Фасмер дает предпочтение германской этимологии, выдвинутой К. К. Уленбеком ⁴¹ и уточненной В. Кипарским ⁴², «Wird

³⁶ Гринченко, 1187; см. и Желеховский, I, 586, который приводит также *охабник*, название растения *Limnoria*.

³⁷ J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki. Słownik języka polskiego, t. III. Warszawa, 1904 (переизд. 1952), p. 543.

³⁸ Rječnik, III, 543.

³⁹ Pieteršnik, I, 262, 805.

⁴⁰ Verneker, I, 381, где приводится и большинство указанных слов.

⁴¹ C. C. Uhlenbek. Die germanischen Wörter im Altslavischen. «Archiv für slav. Phil.», 1893, Bd. XV, S. 485; Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch der gotischen Sprache, Aufl. 2. Amsterdam, 1900, S. 68.

⁴² Die gemeinslavischen Lehnwörter aus dem Germanischen. Helsinki, 1934 (Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Ser. B, t. XXXII, Nr. 2), SS. 145—146.

oft als Entlehnung aus got. *gahaban sik* 'сich enthalten', *gahobains* 'Enthaltsamkeit' oder ahd. *gahaben* 'abstinere' angesehen»⁴³, несмотря на отрицательное мнение Штрекеля⁴⁴ и Бернекера⁴⁵, который считает этимологию глагола *chabiti* 2 «неясной» (*Dunkel*) и скорее связывает его с *chabiti* I (русск. *по-хобить*; ср. и третий омоним, *chabiti* 3 — русский *хобить*)⁴⁶. Омонимией с последними и тем фактом, что это позднее заимствование в праславянском языке объясняется, вероятно, то положение, что глагол (о)*chabiti* 2 встречается только в ряде славянских языков и что на определенных ареалах он уже вышел из употребления (так, он не фиксируется в словарях современного русского и болгарского языков). Но он употреблялся в языке тех славян, которые ассимилировались на территории Дакии.

Итак, рум. *ohabă* — книжносл.-рум. *охаба* является славянским отглагольным существительным от **оХАБИТИ (СА)** с первоначальным значением «место или что-н. другое, оставленное, заброшенное», как можно заключить из сравнения специализированных значений этого славяно-румынского слова: укр. *охаба* (*охаб*) и др.-русск. **оХАБЕНЬ (оХАБЕНЬ)**. Его дальнейшее семантическое развитие является чем-то специфически румынским, характерным для румынских княжеств, когда оно употреблялось в качестве юридического термина феодального общества, как об этом свидетельствует уже первая сохранившаяся славяно-румынская грамота. Что касается прилагательного *охабнь* (и *охабьскъ*), его образование относится, вероятно, к румынской редакции книжнославянского языка, откуда оно потом проникло в румынский язык (*ohabnic*).

Эти термины славянского происхождения, имеющие особое семантическое развитие, которое вытекает, однако, из общего значения глагола **(о)ХАБИТИ(СА)**, входят в политическую и административно-юридическую терминологию феодального времени, так же как и *voievod* наряду с *domn* (<лат. *dominus*) или *spesz* наряду с *jude* (<лат. *judex*) и др. Последние также прошли сложный путь семантического развития в конкретных условиях румынских княжеств⁴⁷. Итак, тот факт, что специфические значения ряда румынских слов — особенно социальных терминов — не встречаются в славянских языках, не противоречит их славянской этимологии, если основывать ее на достоверных фонетических, словообразовательных и семантических соответствиях.

⁴³ Vasmer, II, 293—294. Готские заимствования в праславянском языке приурочиваются к II—V вв. н. э., а древневерхненемецкие — к III—IV вв. См. С. Б. Бернштейн. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., «Наука», 1961, стр. 97—98.

⁴⁴ «Archiv f. sl. Phil.», V. XXVII, S. 43 (прим. 1).

⁴⁵ Berneker, I, 381.

⁴⁶ Ibid., pp. 380—381. См. этимологию последних и у Фасмера, III, 224.

⁴⁷ См. фундаментальные этюды И. Богдана о двух феодальных институтах (*voievod, chez*): В «Opere alese», pp. 165—206, а также: V. Costăchel, P. P. Panaitescu, A. Cazacu. *Viața feudală în Țara Românească și Moldova* (sec. XIV—XVII). București, 1957; P. P. Panaitescu. *Introducere la istoria culturii românești*. București, 1969.

**ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ СООТНЕСЕННОСТИ
И НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РУМЫНСКОГО ЯЗЫКА
(еще раз о противопоставлении «падеж — предлог»)**

Понимание специфики грамматической структуры того или иного языка невозможно без всестороннего изучения в первую очередь тех грамматических явлений, которые отличают его от других родственных ему языков. Одной из таких черт в структуре современного румынского языка¹ является наличие характернейшего для него (и отсутствующего в других романских языках) грамматического противопоставления «падеж—предлог»², в частности в словосочетаниях типа «определяемое—определение». Сравним: *Аргоаре, după zidul morii, o mitralieră a hohotit o singură dată. Mersul nesfârșit de picioare desculțe s-a oprit în fața ușii... Mitraliera a mai hohotit o dată și mersul picioarelor desculțe s-a auzit iar* (Camilar, 52)³. «Совсем близко, за стеной мельницы, захохотал (и умолк) пулемет. Нескончаемый *tonot* босых ног остановился перед дверью... Пулемет захохотал (и умолк) еще раз, и снова раздался *tonot* (все тех же) босых ног». *În tren avu senzația că simte încă mirosul de ținică ieftină care se îmbibase în haine, în mobile* (Munteanu, 44)⁴. — «В поезде он все еще ощущал *zapaх* дешевой цуйки, которым пропиталась одежда, мебель». *Bătrînul se duse la ușă și deschizînd-o simți în nări mirosul ploii, al ierbii ude și al țarinei* (V. Rebreanu, 34)⁵. — «Старик подошел к двери и, открыв ее, почувствовал *zapaх* дождя, влажной травы и пашни».

Мы уже останавливались на рассмотрении подобных словосочетаний с точки зрения комплекса грамматических значений второго компонента, а также синтагматических связей его в каждой из противопоставленных друг другу конструкций⁶. Совершенно очевидно, что анализ интересующих нас словосочетаний только с этой стороны не является исчерпывающим; более того, он должен рассматриваться лишь как один из начальных этапов исследования проблематики вопроса.

¹ Соответственно также молдавского.

² Взаимоотношение падежей и предлогов относится к числу проблем, изучению которых Р. А. Будагов уделяет значительное внимание в работе «Этюды по синтаксису румынского языка». М., Изд-во АН СССР, 1958, раздел «Функции падежей», стр. 7—63. Ср. также: Р. А. Будагов. Введение в науку о языке. М., «Просвещение», 1965, стр. 267—279, 353—363.

³ E. Camilar. *Negura*. E. S. P. L. A., București, 1959.

⁴ F. Munteanu. *Terra di Siena Ed. tinerețului*, București, 1962.

⁵ V. Rebreanu. *Dimineață de toamnă*. București, 1962.

⁶ Т. А. Репина. О противопоставлении «падеж — предлог» в современном румынском языке. НДВШ, Фил. науки, 1968, № 5, стр. 91—99. См. также: M. Grigorescu. *Atributul substantival în limba română*. «Studii și cercetări lingvistice», V, No. 1—2, pp. 99—134.

Задачей настоящей статьи является изучение словосочетаний типа «определяемое—определение» (t't') под несколько иным углом зрения, а именно с целью выяснения существа самой оппозиции и «падеж—предлог» в современном языке и тех направлений исторического развития румынского языка, которые в той или иной степени способствовали формированию этого сугубо румынского и в то же время глубоко романского явления.

При сопоставлении падежного и предложного именного определения (t') обращают на себя внимание два момента, которые представляются весьма существенными для понимания специфики изучаемого противопоставления.

Первое. Падежное t' всегда оформлено *артиклом* (определенным, неопределенным⁷) или соответственно детерминативом (aces-tui, aceluî и т. п.), тогда как предложное t' оказывается выраженным существительным *неартикулированным*. Сравним: — ... Unde-i comandantul g a r n i z o a n e î? (Camilar, 232). — «—...Где командир гарнизона?»; Şi comandantul de batalion l-a privit pe Vieru cu duşmănie... (Там же, 219). — «И командир батальона с ненавистью посмотрел на Виеру...»; Iarăşi rîsei. De frica ja n d a r m i l o r rîsei (Stancu, 166)⁸. — «Я снова засмеялся. От страха перед жандармами (дословно — жандармов) засмеялся»; Frica de moarte îl cuprinsese şi a întreat... (Camilar, 175). — «Страх смерти охватил его, и он спросил...»; Sărută ... mîna întinsă spre el şi izul greu al unei glicerine îi umplu nămile (Munteanu, 65). — «Он поцеловал ... протянутую ему руку, и в нос ему ударил тяжелый запах глицерина»; Bărbile, odăjdiile, cădelniţele, miro-sul de lumnări aprinse şi de tămîie, care făcea să se mai micşoreze izul dulceag de mort, ne îndemnară să ne potolim (Stancu, 252). — «Бороды, рьсы, кадила, запах зажженных свечей и ладана, который (немного) снимал запах покойника, заставили нас успокоиться».

Использование неартикулированного существительного после предлога — вещь обычная для румынского языка. Казалось бы, сочетание de+существительное в атрибутивной функции ничем не отличается от любого другого предложного сочетания. Однако это не совсем так. Дело в том, что распространение предложного существительного определениями приводит в разных случаях к разным результатам. При *неатрибутивном* использовании имени нередко появление определения ведет к одновременному *артикулированию* предложного существительного: ... Andrei ... întovăraşit de

⁷ Притяжательный артикль появляется перед существительным в родительном-дательном падеже лишь в определенных синтаксических условиях, его присутствие не снимает обязательности употребления определенного или неопределенного артикля. В настоящей статье вопрос о притяжательном артикле не затрагивается, ибо непосредственного отношения к проблеме «падеж—предлог» он не имеет. По вопросу о притяжательном артикле см., например, Р. А. Будагов. Этюды по синтаксису румынского языка. М., Изд-во АН СССР, 1958, стр. 17—63.

⁸ Z. Stancu. Pădurea neună. Ed. pentru literatură. Bucureşti, 1963.

соșniță, а plecat (Sahia, 38)⁹ — «...Андрей..., нагрузившись (дословно — сопровождаемый) корзиной, отправился (в путь)»; ...Andrei... înainta domol, plecat într-o parte, tras de соșnița cea albă, plină de ouă (Там же, 39). — «...Андрей... тихо шел, согнувшись в одну сторону под тяжестью белой корзины, *полной яиц* (дословно — перетягиваемый...)»; Lazăr se ocira de local, iar Lucica de casa cu trei etaje (Zincă, 32)¹⁰ — «Лазарь занимался рестораном, а Лучика остальными тремя этажами (дословно — домом с тремя этажами [вторым, третьим, четвертым])».

Атрибутивное существительное, как правило, и в подобных ситуациях сохраняет *неартикулированную* форму: Vîntul ... purta hîrtii și miros de сапал defundat de curînd (Munteanu, 13). — «Ветер ... нес (с собой) бумаги и *запах только что прорытого канала*»; Pornind la război, ne-am cununat cu moartea, și vreau să mi-mi întinez arma în sînge de oameni nevinovați... (Camilar, 99). — «Отправляясь на войну, мы обручились со смертью, и я не хочу пятнать свое оружие в *крови ни в чем неповинных людей*»; Cu gles blajin, de om care și-a încheiat pentru totdeauna societelile cu viața..., spune... (Stancu, 239) — «Вялым голосом человека, *который навсегда закончил счеты с жизнью...*, он говорит...»¹¹.

Во всех тех случаях, когда говорящий испытывает потребность снабдить атрибутивное существительное артиклем, он прибегнет не к предложной, а к падежной конструкции: с точки зрения норм современного румынского языка построения типа *glasul de o femeie или *glasul de femeia iubită (pe care o iubesc) и т. п. абсолютно невозможны. Во всех подобных случаях t' будет выражено падежом: glasul unei femei, glasul femeii iubite (pe care o iubesc) и т. д.

Второе. Сопоставляемые падежная и предложная конструкции не всегда эквивалентны с точки зрения грамматического оформления компонентов (t и t'). Сравните использование обеих конструкций в следующих примерах: Așa își știa Ițic Blonder trecutul: o umbră de cal, o umbră de poloboc și o umbră de om îndoită de spate, mergînd tustrele, fără sfîrșit, ... pînă ce soarele își zvîrlea sulile; atunci, *umbra calului, umbra polobocului și umbra îndoită a omului*, grăbeau către o hrubă neagră, speriate, parcă, de puterile prea luminoase ale răsăritului (Camilar, 17). — «Таким знал свое прошлое Ицик Блондер: *тьнь лошади, тень бочки и сгорбленная (в спине) тень человека*, бредущие втроем, без конца и края, ... до тех пор, пока солнце не выбрасывало своих копий; тогда *тьнь лошади, тень бочки и сгорбленная тень чело-*

⁹ A. Sahia. Scrieri alese. E. S. P. L. A., București, 1960.

¹⁰ H. Zincă. Ultima toamnă. E. S. P. L. A., București, 1958.

¹¹ Интересно отметить, что при предложном атрибутивном существительном (t') возможны отнюдь не всякие определения: исключены, например, такие, как существительное в родительно-дательном падеже, притяжательные прилагательные, качественные прилагательные в сопровождении детерминативного ар-

века спешили к черной землянке, словно напуганные слишком яркой силой рассвета»; ...și o miroznă de fin venea din largul câmpurilor; privighetorile cântau; și se trezeau avuții, fericiți, rumeni; pîn' și natura li se-nchina lor, prin mirozna fînului și prin cântecul păsărilor ... (Там же, 18). — «...и из далеких полей доносился запах сена; пели соловьи; и просыпались богачи, счастливые, румяные; сама природа приветствовала их *запахом* сена и пением птиц...».

Словосочетания *o umbră de cal*, *o umbră de poloboc*, *o umbră de om*, *o miroznă de fîn*, с одной стороны, и *umbra calului*, *umbra polobocului*, *umbra omului*, *miroznă fînului*, с другой стороны, состоят из семантически тождественных единиц, однако воспринимаются они по-разному, в зависимости от того, оформлено ли артиклем все словосочетание в целом или каждый его компонент¹².

С другой стороны, при грамматической однотипности оформления словосочетаний (ср. в приведенных выше примерах: *mersul de picioare desculțe*, *mirosul de țuică*, *comandantul de batalion*, *frica de moarte* — *mersul picioarelor desculțe*; *mirosul ploii*, *comandantul garnizoanei*, *frica jandarmilor*) они могут восприниматься все же как весьма отличные друг от друга построения. В данном случае ощущение разноплановости словосочетаний, тождественных грамматически, создается довольно значительным различием семантики компонентов и семантических отношений между ними: *mirosul de țuică*, *frica de moarte*, *comandantul de batalion* настолько далеки семантически, что вряд ли было бы правильным ставить их в один ряд только на основании того, что в них *t'* оформлено предлогом.

В связи с этим представляется необходимым изучать падежные и предложные атрибутивные словосочетания строго дифференцированно с обязательным учетом как грамматического фактора (оформление *t* и *t'*), так и фактора семантического (значение *t* и *t'*, в первую очередь *t* как независимого члена словосочетания). При этом следовало бы, очевидно, установить ряд структурно-семантических групп. В этот ряд в качестве самостоятельных единиц войдут, например, словосочетания, в которых: 1) *t* означает «звук» или движение, сопровождаемое звуком: *sunet*, *zgomot*, *strigăt*, *glas*, *voce*, *foșnet*, *scîrțîit*, *mormăit*, *pas*, *mers* и т. д., а *t'* — источник звука, движения (*sunetele de acordeon* — *sunetele acordeonului*, *glasul de femeie* — *glasul unei femei* — *glasul femeii* и т. п.); 2) *t* — слова, означающие «запах»: *miros*, *mireazmă*, *duhoare*, *iz*, *parfum*; *t'* — источник запаха (*mireazma florilor* — *mireazma de flori*);

тикля и др., тогда как при *неатрибутивном* существительном они появляются довольно часто, всегда вызывая артикулирование предшествующего существительного (вероятнее всего именно в силу этого последнего фактора они и невозможны при *t'*): *se arapie de casă* но *se arapie de casa mamei*, *de casa*, *noastră*, *de casa sea poia* и т. п. С другой стороны, известный интерес представляет и тот факт, что далеко не всякое определение вызывает артикулирование неатрибутивного существительного. Рассмотрение этих вопросов могло бы явиться предметом самостоятельного изучения.

¹² Подробнее об этом см. ниже, стр. 87—88.

3) t — слова, означающие «начало» (соответственно «конец») чего-то: început, capăt, sfârșit и т. п. (începutul toamnei — începutul de toamnă)¹³. Исследование в пределах настоящей статьи будет проведено на материале одной из таких семантических групп, а именно — первой из названных выше: t, означающее «звук», t' — его источник (в самом широком смысле этих слов).

Грамматически возможные комбинации tt' с точки зрения оформления компонентов, как это показывает изученный материал, не беспредельны и не беспорядочны. Рассмотрим их.

I. Оба компонента оформлены определенным артиклем: — ...Ei au să vie în curînd ... a mai spus ascultînd cum s-arpropiau *bocăniturile* bocancilor (Camilar, 53). — «—...Они скоро придут..., — добавила она, прислушиваясь к тому, как приближается *стук сапог*»;—...prindeți și arestați ... a spus ... în telefon, *glasul soldatului* (Там же, 97) — «—...хватайте и арестуйте..., — сказал ... в телефонную трубку *голос солдата*»; Geamurile au dîrdîit de *ropotul* a pînzelor ... (Там же, 197). — «*Стекла задрожали от грома аплодисментов...*».

II. Оба компонента оформлены артиклем, но в отличие от предыдущего случая t — определенным, t' — неопределенным: De-afară veneau *bocăniturile* în fugă ale unor bocanci (Camilar, 52). — «Снаружи доносился *стук бегущих сапог*»; Intunericul... i-a răspuns *glasul* unui soldat culcat sub bancă (Там же, 293). — «— (Здесь) темно..., — ответил ему *голос* какого-то солдата из-под лавки (дословно — лежащего под лавкой)»; Aproximativ auzit *tropotul* în galop al unui cal (Там же, 93). — «Потом раздался *тонот* скачущего галопом коня».

Как видно из примеров, обе структурные разновидности словосочетаний типа tt' отличаются друг от друга лишь характером артикля, оформляющего t'. Определенным или неопределенным артиклем при t', обязательно падежном, передается¹⁴ разная характеристика t', с точки зрения его соотносительности с обозначаемым существительным понятием. Определенный артикль соотносит его с единственным в данной ситуации (в данном контексте или в своем роде) понятием, неопределенный артикль соотносит t' лишь с одним предметом¹⁵, вычлененном из ряда ему подобных (соответ-

¹³ И так далее. Определение возможных семантических групп могло бы составить предмет самостоятельной статьи. В отношении французского языка подобный анализ дан в статье: И. Кунина, З. Липовецкая, Н. Мовшович. Употребление артикля в словосочетаниях существительное + de + существительное в современном французском языке. «Иностр. яз. в шк.», 1958, № 6, стр. 25—39.

¹⁴ Так же, как в любом другом языке, располагающем неопределенным и определенным артиклем: ср. Т. В. Строева, Л. Р. Зиндер. Грамматическая категория соотносительности имени существительного в немецком языке. «Уч. зап. ЛГУ», серия филологических наук, 1961, вып. 60, стр. 218—232.

¹⁵ Слово «предмет» здесь и в дальнейшем используется в самом широком смысле этого слова (предмет, понятие, явление, лицо и т. п.).

сивенно несколькими предметами)¹⁶. Разное восприятие достигается не формой падежа, ибо в обоих случаях она одинакова, а характером артикля (определенный — неопределенный).

Вместе с тем в смысле самостоятельности компонентов конструкции однотипны: и та, и другая «двувершинны», поскольку оба компонента в них соотнесены с реально существующими объектами, вполне индивидуализированными и, вследствие этого, хотя и выполняют различные синтаксические функции (определяемое — определение), грамматически они равноправны.

III. Артиклем (неопределенным) оформлен лишь первый компонент, *t'* — предложное (неартикулированное) существительное: *Se părea că aude cum urcă treptele niște bocănituri de bocanci grei...* (Camilar, 274) — «(Ему) казалось, что он слышит, как по ступеням поднимаются тяжело постукивающие сапоги (дословно — стук тяжелых сапог)»; *Înăuntru, în întuneric, un glas de femeie plîngea...* (Там же, 102). — «Внутри, в темноте, плакал (какой-то) женский голос...»¹⁷; *...s-a auzit un tropot de copite, și în curînd un călăreț ... s-a oprit din galop...* (Там же, 224). — «...послышался стук копыт, и вскоре какой-то всадник ... осадил скакавшего галопом коня...»; *In alte încăperi ... s-auzea un glas puternic șiînd un discurs; apoi un prelung rotot de aplauze* (Там же, 281). — «Из других комнат ... доносился чей-то громкий (сильный) голос, произносящий речь; затем (раздался) продолжительный гул аплодисментов».

В данном случае перед нами структурно иная разновидность¹⁸: благодаря тому что артикль выражен лишь единожды, весь грамматический «заряд» оказывается как бы сосредоточенным на первом компоненте (или на всем словосочетании). Соотнесенным с реальным, воспринимаемым индивидуализированно предметом является лишь первый компонент (или вся конструкция); *t'* фактически лишено особой характеристики с этой точки зрения, оно воспринимается как некое категориальное понятие¹⁹, а вся конструкция в целом как построение «одновершинное», иерархическое, где *t* — элемент первой степени, *t'* — дополняющий

¹⁶ Ср. замечания по этому поводу в цитированной выше статье автора, стр. 93—96.

¹⁷ Проблемы соотношения предложных конструкций и относительных прилагательных мы здесь не касаемся.

¹⁸ Ср. также о *îmbătă de cal* и т. д. в примерах на стр. 84—85.

¹⁹ Утрачивает ли оно в подобных случаях предметность — общеграмматическое значение существительного как части речи — это вопрос особый. Вполне возможно, что, говоря о предметности, нередко имеют в виду не столько предметность, сколько выраженную или не выраженную грамматически (да и логически) соотнесенность. Думается, что эти понятия не синонимичны и их не следует смешивать. Понятие «предметность» представляется более широким, чем «соотнесенность» (т. е. несоотнесенное понятие может восприниматься как предметное). Изучение этого вопроса выходит за рамки статьи. О противоречивости термина «предметность» см., например, Л. И. Илья. О грамматическом значении отсутствия артикля при существительном в современном французском языке. «Уч. зап. I МГПИИЯ», 1956, т. IX, стр. 195—200.

его (грамматически менее самостоятельный) элемент второй степени²⁰. Конструкции III и I—II противопоставляются, как видим, по двум линиям: «одновершинность — двувершинность» и «несоотнесенность — соотнесенность t'». И та, и другая характеристика создается благодаря наличию или отсутствию при t' артикля.

IV. Артиклем (на этот раз определенным) оформлено, как и в предыдущем случае, лишь t; t' представлено формой неартикулированной (предложной): *Trăi o clipă vedenia fugitivă: perdelele de catifea roșie..., ropotul de aplauze, o fîlfîire de fuste scurte ...* (Cezar Petrescu, 3)²¹. — «На какое-то мгновение перед ним пронеслось (дословно пережил) мимолетное видение: занавеси из красного бархата..., *grom* аплодисментов, колыхание коротких юбок...»; *...ploaia curgea mai dușmănoasă, și-n mijlocul freamătului de copite cineva ofta cu glas tare* (Camilar, 108). — «...дождь лил все яростнее, а среди *топота* копыт кто-то громко вздыхал»; — *E departe? a întrebat el tare. — Trecem prin cîmp... i-a răspuns glasul de copil* (Там же, 56). — «—Далеко? — громко спросил он. — Перейдем через поле...», — ответил ему *детский голос*.

Данная структурная разновидность близка по своему характеру (одновершинность словосочетания, несоотнесенность t') к III с той разницей, что здесь находит выражение (также единожды) определенная соотнесенность.

V. Оба компонента лишены артикля²²: *... a tresărit auzind pași de bocanci* (Camilar, 106). — «...он вздрогнул, услышав *стук сапог* (дословно — шаги сапог)»; *Glasuri tinere de studenți și soldați, care plecau în provincie, dădeau întregii gări un sunet de vacanță* (Sebastian, 126)²³. — «Молодые *голоса* студентов и солдат, которые отправлялись за город, наполнили вокзал шумом каникул»; *Pe urmă auzirăm pași de om care fuge prin curte și se îndreaptă spre casele mărunte din fundul curții* (Stancu, 234). — «Затем мы слышали *шаги* человека, который бежит через двор и направляется к низким домикам в глубине двора».

В данном случае отсутствие артикля равным образом при t и при t' имеет, как нам думается, несколько иное назначение, чем в ранее рассмотренных случаях — оно не столько выражает несоотнесенность существительного (его категориальность), сколько выступает как своеобразный выразитель неопределенной соотнесенности. Передача этой последней через отсутствие артикля (главным образом во множественном числе) весьма характерна для румынского языка (в данном случае: pași, glasuri). Отсутствие же

²⁰ Ср. на стр. 84: *o umbră de om îndoita* (de spate) и *umbra îndoită a omului*.

²¹ С. Petrescu. Intunecare. E. S. P. L. A., București, 1960.

²² Имеется в виду отсутствие не только артикля, но и какого бы то ни было детерминатива.

²³ M. Sebastian. Accidentul. Ed. pentru literatură, București, 1962.

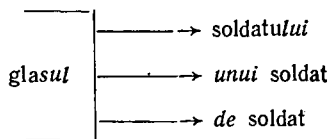
артикля при t (передача неопределенной соотнесенности нулевым артиклем) как бы задерживает его появление и при t' ²⁴.

Если обобщить рассмотренные выше случаи и представить их в виде таблицы, получается весьма показательная картина:

t' t	Определенный артикль	Неопределенный артикль	Отсутствие артикля
Определенный артикль	glasul soldatului	glasul unui soldat	glasul de soldat
Неопределенный артикль			un glas de soldat
Отсутствие артикля			glasuri de soldați

Возможны, как видим, отнюдь не всякие комбинации tt' , заполненными оказываются лишь некоторые «клеточки» предложенной схемы²⁵. Построения такого типа, как, например: *un glas al soldatului, *un glas al unui soldat, практически невозможны. И, таким образом, получается, что о противопоставлении «падеж—предлог» можно говорить лишь в случае оформления t определенным артиклем, т. е. в первом ряду предложенной схемы.

Существо оппозиции «падеж—предлог» в первом ряду таково:



²⁴ Вопрос о взаимодействии более или менее «сильных» грамматических средств передачи различных сторон соотнесенности (в частности, неопределенный артикль — нулевой артикль) нуждается в дополнительном углубленном исследовании.

²⁵ Количество грамматически допустимых сочетаний tt' , очевидно, будет несколько варьировать в разных семантических группах. Установить общие закономерности можно, естественно, лишь после анализа всех семантико-структурных разновидностей. В этом отношении настоящее исследование не является исчерпывающим. Более того, даже внутри изучаемого здесь семантического ряда возможны некоторые отклонения, однако они настолько единичны, что на данном этапе исследования ими можно, как нам представляется, пренебречь.

Оппозиция идет, как уже отмечалось выше, по линии «соотнесенность — несоотнесенность». В первых двух случаях *t'* соотносится с воспринимаемым индивидуализированно предметом, в третьем случае *t'* упоминает о нем лишь как о понятии категориальном, не проецируемом ни на какой конкретный предмет данной категории²⁶.

Чем же достигается этот эффект? Тем ли, что в одном случае употреблена падежная форма, а в другом предложная? Все предыдущие рассуждения и приведенный для иллюстрации языковой материал, как нам кажется, вполне убедительно доказывают, что не в этом дело. Разный эффект восприятия падежной и предложной атрибутивной конструкции достигается в первую очередь наличием или отсутствием при *t'* артикля. Оппозиция «падеж — предлог» оказывается таким образом лишь формой выражения грамматической оппозиции «артикулированность — неартикулированность», которая в свою очередь отражает — в плане содержания — противопоставление «соотнесенность — несоотнесенность», противопоставление общероманское (шире — характеризующее структуру языков так называемого аналитического строя в отличие от языков синтетических, например, латинского).

Что же определило формирование в румынском языке особой формы выражения противопоставления «артикулированность — неартикулированность»? Понять это помогает история языка: необходимо вспомнить, в каких направлениях шло формирование румынского склонения.

Латинское именное склонение, как известно, было основано на изменении формы самого существительного, его флексии: *vulpes*, *vulpis*, *vulpi*, *vulpet*, *vulpe* и т. д. Этот тип склонения оказался полностью разрушенным и лишь остаточные формы типа (*unei*) *vulpi* сохранились в румынском языке, формы не автономные, сами по себе категорию падежа не выражающие. По сути дела румынский язык создал качественно абсолютно новый тип склонения, и исключительно артикулированный (детерминированный), основанный не на изменении флексии существительного, а на изменении форм сопровождающего его элемента новой структуры — артикля (детерминатива): *unei vulpi*, *vulpii*, *acestei vulpi* и т. п. Существительное вне сопровождения его артиклем или детерминативом в румынском языке не склоняемо — это важнейшая черта румынского склонения, которая во многом определяет его своеобразие. И, напротив, падежная форма существительного обязательно детерминирована (артикулирована)²⁷.

²⁶ «Общее значение разряда несоотнесенности состоит в том, что существительное в этой форме обозначает понятие как таковое: говорящий в этом случае не имеет в виду тех «отдельных», которые обобщены в «общем», в понятии» (Т. В. Строева, Л. Р. Зиндер. Грамматическая категория соотнесенности имени существительного в немецком языке, стр. 225).

²⁷ Более подробно вопросы, связанные с грамматическим своеобразием и качественной новизной румынского склонения, рассматриваются в статьях авто-

Назначение артикля в румынском языке, так же как и в романских языках вообще (шире в языках так называемой новоиндоевропейской структуры), состоит в том, чтобы выражать грамматические характеристики имени (род, число, в румынском языке также падеж), но в первую очередь²⁸ — именно этим и было вызвано появление артикля как специального грамматического инструмента — грамматическую категорию соотносительности. Выражение этой грамматической категории (как в именительном-винительном, так и в родительном-дательном падеже) составляет основное грамматическое значение артикля и в румынском языке. Отсутствие артикля явилось своего рода «противовесом», обозначающим категориальную (не индивидуализованную, не конкретизованную) соотносительность или отсутствие конкретной соотносительности²⁹.

В результате исторического развития румынского языка создано такое положение, при котором отсутствует специальное падежное средство, способное передать наряду со значением падежа и грамматическое значение несоотносительности, ибо для этого должна была бы использоваться неартикулированная падежная форма, а таковой в румынском языке нет. Язык вполне естественно прибегает к помощи предлога для введения в связную речь — в атрибутивной функции — неартикулированного существительного³⁰. Именно это, т. е. особый характер румынского склонения —

ра: К проблеме аналитизма романских языков (склонение существительных в румынском). «Филологические науки», 1969, № 6, стр. 127—130; О восточнороманской языковой специфике (к характеристике румынского именного склонения). «Вестн. Ленингр. ун-та», серия история, язык, литература, № 14, вып. 3, 1970, стр. 138—147. Парадигмы склонения приведены в книге автора «Румынский язык», серия «Языки мира», под ред. проф. Р. А. Будагова и проф. Н. С. Чемоданова, вып. 5. Изд-во МГУ, 1968, стр. 37—47, 65—71.

²⁸ Как это убедительно показано в работе: Л. Р. Зиндер, Т. В. Строева. Историческая морфология немецкого языка. Л., «Просвещение», 1968, стр. 52—61, 152—154; ср. также цитированную выше статью тех же авторов.

²⁹ Отсутствие артикля не стало, впрочем, средством передачи только несоотносительности (категориальной соотносительности) существительного. Оно обозначает также неопределенную (и даже определенную) соотносительность. Данный вопрос мог бы составить предмет самостоятельного изучения.

³⁰ О том, что предложные конструкции, в частности, существительное в сопровождении предлога *de* представляют собой своеобразный неартикулированный вариант падежной формы, пишет в самых общих чертах И. Котяну: I. Coteanu. *Schiță a declinării numelui în româna comună*. «Studii și cercetări lingvistice», 1964, vol. XV, No. 4, p. 464 (ср. также рассуждения по поводу немецкого предлога *von* в цит. выше статье Л. Р. Зиндера и Т. В. Строевой, стр. 220). Румынский исследователь Б. Б. Берчану (B. B. Berceanu. *Sistemul gramatical al limbii române*. București, 1971, p. 182) предлагает рассматривать предложные конструкции как особый — неартикулированный — тип румынского склонения. Это, однако, самостоятельная проблема, обсуждение которой выходит за рамки настоящей статьи. Оговорим лишь, что подобное решение вопроса представляется нам спорным, хотя нельзя не согласиться с Б. Б. Берчану в том, что неартикулированного склонения в его традиционном понимании в румынском языке нет. Доказательству этой последней мысли был отчасти посвящен доклад автора настоя-

отсутствие автономных неартикулированных падежных форм — и определяет, как нам думается, содержание противопоставления «падеж—предлог» в сфере именного определения.

Изложенное выше имело целью привлечь внимание к следующим вопросам:

1. При изучении атрибутивных словосочетаний, в которых реализуется противопоставление «падеж—предлог», необходимо (хотя бы в качестве рабочего приема) выделить наиболее типичные структурно-семантические группы.

2. Изучение языкового материала на примере одной из них показывает, что кажущийся разницей в использовании падежного и предложного *t'* выстраивается в довольно стройную систему, в которой лишь один ряд (при *t*, оформленном определенным артиклем) оказывается действительно областью реализации названного противопоставления.

3. Само противопоставление «падеж—предлог» в этом ряду представляет не что иное, как своеобразную форму выражения скрытой за ним грамматической оппозиции «артикулированность—неартикулированность» (в плане грамматического содержания «соотнесенность — несоотнесенность»).

4. Это оказалось возможным потому, что одним из направлений развития румынского языка явилось формирование качественной новой системы именного склонения, влившейся в общее русло развития языка в направлении аналитизма. Поскольку выразителем падежа стал артикль (элемент новой структуры), основное назначение которого состоит в обозначении двух аспектов конкретной соотнесенности (определенной — неопределенной), а неартикулированное существительное утратило способность изменяться по падежам, во всех тех случаях, когда необходимо выразить существительным в функции определения не соотнесенность с конкретным (индивидуализованным) предметом, а категориальную характеристику названного именем понятия, язык прибегает к неартикулированному существительному, снабдив его предлогом — специальным грамматическим инструментом, указывающим на атрибутивную функцию имени (и только!).

5. Материал и выводы статьи подтверждают мысль о том, что в языке «историческое сплошь и рядом выступает как современное, а современное осмысливается на фоне исторического»³¹.

щей статьи на III Всесоюзной конференции по романскому языкознанию в 1967 г. (см. Проблемы диахронии и синхронии в изучении романских языков, ч. I. Минск, 1970, стр. 177—186).

³¹ Р. А. Будагов. Проблемы развития языка. М.—Л., «Наука», 1965, стр. 29.

«LE FAIT» НА ПУТИ ГРАММАТИЗАЦИИ

Традиционная классификация придаточных предложений основывалась, как известно, на отождествлении их функции в составе сложного предложения с функциями членов предложения в составе простого предложения. Так, дополнительное предложение потому и получило свое название, что оно рассматривалось как расширенное дополнение при управляющем им члене главного предложения: при глагольном или сложном именном сказуемом и при существительном: *Je voudrais que vous m'écoutez. Je suis content que vous m'écoutez. L'idée que vous m'avez trahi...*

Однако всегда отмечалась возможность употребления дополнительного придаточного не только в функции дополнения к главному, но и в функции подлежащего и даже сказуемого в составе всего предложения. Во французском языке, например, возможно употребление дополнительного придаточного в функции подлежащего, хотя оно и не характерно для этого языка¹:

...l'attrait qu'elle présentait pour lui et pour lui seul. Qu'elle fût si peu remarquable aux vues superficielles était loin de le faire douter d'elle (M. Du ras. Des journées ..., 217).

В еще более редких случаях предложение-подлежащее стоит в инверсии *A cela s'ajouta que M. Octave avait reçu la visite de Beauprêtre (Montherlant. Les Célibataires, 139).*

Инверсия может быть вызвана относительной длиной группы подлежащего и краткостью группы сказуемого, т. е. обусловлена соотношениями ритма.

Существует мнение, что предложение с *que* является сказуемым в том случае, когда оно помещается непосредственно после глагола-связки². Однако несмотря на свою распространенность, это мнение представляется ошибочным: стоящее после глагола-связки предложение с *que* не сказуемое, а инвертированное подлежащее. Сказуемое же в этом случае представлено глаголом-связкой и именем существительным (субстантивированным прилагательным).

М. Гревис мотивирует аналогичное мнение тем, что содержание предложения с *que* всегда более узко, чем то, что представле-

¹ Р.-Л. Вагнер и Ж. Пеншон (R.-L. Wagner et J. Pinchon. *Grammaire du français classique et moderne*, 2 éd. Paris, 1967) не приводят ни одного литературного примера на такое употребление дополнительного предложения, введенного союзом *que*, где оно не сопровождалось бы указательным местоимением в положении антиципации или репризы. К. Зандфельд. (K. Sandfeld. *Syntaxe du français contemporain*, II, *Les propositions subordonnées*. Paris, 1936) приводит несколько примеров употребления предложения с *que* в качестве подлежащего и сказуемого.

² Ср. Кр. Sandfeld. *Op. cit.*, pp. 9—10.

но в начинающем фразе мнимом подлежащем, которое на самом деле является инвертированным сказуемым³:

L'essentiel est *qu'on vient à votre secours* (Rolland. Les Tragédies de la Foi, 43, chez Grevisse § 1002-bis).

Очевидно, здесь инверсия вызвана относительными размерами подлежащего и сказуемого, следовательно, обусловлена опять-таки ритмико-мелодическими причинами. Предложение с *que* выполняет функцию подлежащего. Личная форма глагола в начале предложения — большая редкость во французском языке. Такое построение допустимо лишь для нескольких глаголов вроде *rester*, *arriver* и носит определенный стилистический отпечаток ввиду своей необычности.

Чтобы сделать структуру предложения более обычной, «нормативной», на помощь приходит безличная конструкция: — *Rentrez, dit-elle. Il vaut mieux que M^{me} de Saint-Selve ne reste pas seule* (Benôit. M^{lle} de la Ferté, 99); *Il suffisait que je regarde le banc, la lampe, le tas de poussier*, pour que je sente que j'allais mourir (Sartre. Mur, 27); *Il paraît plutôt scandaleux aujourd'hui, au contraire que le parti libéral, vainqueur aux dernières élections, refuse le règle du jeu, essaye d'y mettre fin* (Bernard. Québ., 75).

Безличный глагол по своим семантическим связям выполняет при предложении с *que* роль сказуемого, имеющего, однако, некое формальное подлежащее. Это подлежащее антиципирует находящееся в инверсии предложение с *que*.

Совершенно те же семантико-синтаксические связи характеризуют безличные конструкции с прилагательными, занимающими такую же позицию антиципирующего сказуемого по отношению к следующему за ними предложению с *que*: *Il est remarquable que beaucoup de manuscrits nous viennent des bibliothèques étrangères* (Rouquette. Lit. d'Oc., 15); *Il est probable que les retours en arrière ne manqueront pas* (Bernard. Québ., 102).

Уничтожив инверсию, мы получили бы фразы, в которых предложение с *que* играло бы роль подлежащего, безличный оборот превратился бы в личный, утратив местоимение *que* и заняв полагающуюся сказуемому позицию позади подлежащего. Получилось бы что-то вроде: *Que beaucoup de manuscrits nous viennent des bibliothèques étrangères est remarquable*.

Но подобные конструкции не свойственны французскому языку или во всяком случае не очень ему свойственны. Если подлежащее представлено предложением с *que*, то чаще всего, и в любых его позициях, имеют место антиципация или реприза. Антиципация осуществляется с помощью местоимений *ce*, *ça*, *cela* с инверсией подлежащего: *Vernoux fronça les sourcils, sentant l'ironie dans la voix de Maigret. C'était possible, au fond, qu'il fût un timide* (Siméon. M. a. peur, 70).

³ M. Grevisse. Bon Usage. Gembloux, 1959, p. 975.

Инвертированный порядок слов ставит сказуемое на необычное место — в начало предложения. Кроме того, оно оказывается в положении между *c'est* и *que*.

Внешне предложение похоже на сегментированное, с выделительной формулой *c'est que*; по содержанию же отличается от сегментированного тем, что союз *que* входит в состав подлежащего, *ce* — его антиципирует, а *est* — связка в именном сказуемом: *C'est curieux qu'un enfant songe à devenir couturier* (S a r t r e. Intimité, 107); ...*Ça vous plaît qu'il ait cinq doigts à chaque main et qu'il puisse opposer le pouce aux autres doigts* (S a r t r e. Erostrate, 88).

При неинвертированном положении предложения с *que*, играющего роль подлежащего, появляется реприза, осуществляемая теми же указательными местоимениями *ce*, *cela*, *ça*: *Je ne connais pas la montagne. Je n'ai jamais vu de montagne. Que pour franchir un col, il faille monter, cela me semble paradoxal: on devrait descendre...* (M. M o h r t. La Compagne d'Italie, 100); *Qu'Espinac fût resté en correspondance avec ses anciens et futurs chefs et camarades, c'était certain...* (P. N o r d. Maginot, 124).

Антиципация и инверсия просто необходимы в случаях, когда предложение, выполняющее функцию подлежащего, длинно. При неинвертированном порядке сказуемое оказалось бы отброшенным слишком далеко в конец фразы: *Non: Si les voisins n'avaient pas donné d'alarme, c'était parce que cela les vengeait que la fille Sabati, qui n'avait rien à faire de ses journées, fut battue* (S i m e n o n. M. a. peur, 154).

Для современного французского языка особенно характерны антиципация и реприза предложения с *que* в роли подлежащего посредством существительных широкого значения, например, *chose* и в еще большей мере *fait*.

Реприза посредством *chose* при начальной позиции подлежащего-предложения с *que*: *Que ce fût Pierre Fabre l'objet de cet amour, la chose n'avait rien de très extraordinaire* (R o m a i n s. Luc. 207, chez Candfeld, 7); *Bien entendu, qu'il y eût identité entre l'usurier et l'homme en fuite, la chose ne faisait doute pour personne* (K é r y. Qui est, 146).

Антиципация посредством *chose* возможна при инверсии подлежащего: *Cette chose est tout à fait inadmissible que Biche doive mourir* (L i c h t e n b e r g e r. Biche, 218, chez Grevisse § 996).

Можно, пожалуй, сказать, что употребление предложений с *que* в качестве подлежащего, да и не только подлежащего, а и других членов предложения (как это будет показано ниже), во французском языке заменяется употреблением конструкций, в которых все больше и больше закрепляется существительное *le fait*. Чрезвычайно общее значение этого существительного дает возможность превращать его в обобщенный антиципант предложения с *que*, задачей которого оказывается раскрытие, уточнение в каждом данном конкретном случае содержания *le fait*. Само существитель-

ное *le fait* выступает в роли любого члена предложения, а предложение с *que* выполняет при нем самую обычную, можно сказать, тривиальную функцию дополнительного придаточного. Тем самым роль его упрощается и унифицируется:

J'ai étudié la question sous tous les aspects. *Le fait qu'il n'y ait pas eu vol, que Robert de Courçon n'ait pas tenté de se défendre* m'a troublé (S i m e n o n. M. a. peur, 55).

Le fait qu'il (le miope) fut un frère prêcheur, tout comme le premier messenger qui lui avait déjà certifié qu'Edouard II n'était pas mort, faisait également réfléchir le comte de Kent et l'inclinait à prendre la nouvelle au sérieux, car l'ordre des dominicains était connu comme hostile à Mortimer (D r u o n. Rois, VI, 177).

Dans la personne du fils Bégou, Agnès secourait les victimes de la guerre, et *le fait que le garçon fut d'esprit sommaire n'y était rien* (H é r i a t. Grilles, 60).

Le fait que dans cette production on trouve d'excellents ouvrages et même un chef-d'oeuvre n'empêche pas que le roman en tant que genre ne s'est pas encore tout à fait dégagé du poème épique. (R. C h a s l e s. I, Intr. XXXV—XXXVI).

Антиципация дает возможность избежать инверсии даже при относительно длинном предложении с *que*.

Существительное *fait* в роли антиципанта может участвовать в инверсии подлежащего, представленного предложением с *que*.

La conséquence la plus claire en est *le fait que la période d'adaptation phonique spontanée, qu'a connue le franco-canadien, est maintenant révolue* (G e n d r o n. Le phonétisme..., 63).

Во всех подобных случаях существительное *fait* ведет себя как нормальный член предложения, и для него возможны любые грамматические ситуации, как например, выделение посредством специальных конструкций:

Ce qui rend la solution du problème extrêmement compliquée, c'est *le fait qu'on n'arrive pas facilement à associer phonétiquement les deux types «anar» et «andar»* (R o h l f s. Langue d'Oc, 97).

Даже в тех случаях, когда предложение с *que* выполняет свою основную функцию, т. е. служит дополнительным предложением при соответствующем глаголе главного предложения, оно может быть антиципировано существительным *le fait*:

— Je ne tiens pas à entrer dans les détails. Je souligne seulement *le fait qu'il l'a ensuite désabillée et qu'il a fait disparaître les vêtements* (S i m e n o n. M. s'amuse, 179).

Здесь глагол *souligner* мог подчинить придаточное дополнительное непосредственно: *je souligne que...* Антиципация придаточного с *que* посредством *le fait* расширяет возможности его употребления: оно может присоединяться через *le fait* к глаголам, которые, управляя прямым дополнением-существительным, не употребляются с дополнительным придаточным:

Quand Wagner et Pichon donnent pour illustrer *le fait que le subjonctif est obligatoire après la négation d'une cause ou d'une conséquence* l'exemple que voici: Ce n'est pas que je m'inquiète fort de la correction grammaticale toute sèche (Paul Valéry), ils oublient que l'exemple n'illustre rien, l'opposition formelle entre le subjonctif et l'indicatif étant neutralisée dans «je m'inquiète» (S c h o g t. Système Verbal, 52).

Quant aux chemins de fer, seuls la vocation du martyr, le désir de passer pour un excentrique affligé d'une infirmité congénitale, radicale et choquante, peuvent expliquer *le fait que certains voyageurs essayent timidement d'y parler français, sans grand résultat* (B e r n a r d. Québ., 163).

Употребление *le fait* в роли антиципанта предложений с que теснейшим образом примыкает к употреблению дополнительных предложений вообще при существительных широкого значения, а может быть и обусловлено им.

Существительные широкого значения, в большинстве случаев связанные семантически с глаголами, обозначающими интеллектуальную деятельность или чувственные восприятия, так же, как и они, могут нуждаться в раскрытии своего содержания, что и осуществляется придаточным дополнительным предложением:

Il *pensait* de Rose *qu'elle* était splendide, et un peu grotesque comme tout ce qui touche au tragique (A r a g o n. Aurél., 62).

Pour la première fois lui venait *la pensée que* Tony pût n'être pas tout à fait responsable de ses actes... (A y m é. Ecoliers, 73).

Eve ne pouvait pas parler, elle claquait des dents et elle *craignait que* Pierre ne s'en aperçût (S a r t r e. Chambre, 73).

D'instinct, je ferme et serre ma bouche, avec la juste *crainte qu'on* y puisse lire... la fatigue, le dégoût d'une journée mal commencée... (C o l e t t e. Entrave, 25).

Предложения с *que* такого типа иногда относят к определенным на том основании, что они зависят от существительного⁴. Представляется более целесообразным относить их к дополнительным на основании выполняемой ими функции.

Антиципация предложения с *que* посредством существительного *le fait* не только возможна, но широко практикуется при любых синтаксических положениях, занимаемых этим предложением. При этом *le fait* вытесняет указательное местоимение *ce* из функции антиципанта.

Elle comprit *qu'elle* était impuissante, que les raisons ne feraient que l'aigrir et qu'il n'y avait rien à changer *au fait qu'elle* était *amoureuse* (= a ce qu'elle était amoureuse) (G r e e n. Mesurat, 354).

C'était une personne plus pauvre quoique plus grande que ses voisines et qui perdait tout caractère *du fait que sa porte* *demeurait ouverte* (= de ce que...) (G r e e n. Mesurat, 288).

⁴ См. Л. И. Илья. Синтаксис французского языка. М., Изд-во лит-ры на иностр. яз., 1962, стр. 338.

Сейчас такое употребление *fait* принадлежит всем жанрам языка — разговорному, литературному, научному:

La coordination vraie se reconnaît *au fait que* (=à ce que.) *chacune des phrases a l'intonation et l'accent d'une phrase indépendante* (A n t o i n e. Coord, I, 307).

A côté, en dehors de cette population désaxée, secouée par toutes les tempêtes qui constituent le climat habituel de la vie prolétarienne, — aggravées chez nous *de ce fait que* (=de ce que) *le prolétariat de langue française n'est pas le complément d'un patronat d'origine ethnique identique, — il y a la population des campagnes...* (D a v i a u l t. Angl. et empr., 183).

Конструкция с *le fait* особенно распространена с глаголами, управляющими дополнением через предлог, которые могут иметь при себе дополнение-существительное и дополнение-предложение с *que*.

Дополнение-существительное присоединяется непосредственно к предлогу.

Дополнение-предложение не может присоединиться непосредственно к предлогу. Предлог требует присутствия именного элемента — существительного или местоимения. Появляется своеобразная конструкция: глагол+предлог+местоимение (или существительное *le fait*)+дополнительное предложение. Содержание местоимения (или *le fait*) раскрывается дополнительным предложением:

Le dimanche suivant, à la grand-messe, il prononça un important sermon sur la pureté, en *insistant* particulièrement *sur la dureté* des chatiments... (C h e v a l l i e r. Colline, 266).

Il insiste beaucoup sur ce que ces deux imprudentes n'ont pas emmené de chauffeur (M a u r i a c. Pélerins, 133).

...l'inspecteur, craignant de n'avoir pas été bien compris, *insistait sur le fait que* l'orphelin ne ressemblait pas à ses frères adoptifs (A y m é. Ecoliers, 106).

...il éprouvait pour l'abbé Menème une sympathie des plus tempérées. La chose *tenait aux oppositions* de leurs natures, et, dans l'aversion du Supérieur, il entraît tout à la fois de l'irritation et de l'envie (C h e v a l l i e r. Colline, 187—188).

La confusion dont souffrent nos langues *tient à ce que* des notions secondaires se sont introduites dans l'expression de l'actif et du passif, au point d'en réduire ainsi l'opposition fondamentale (V e n d r y è s. Langage, 122).

On donne généralement à ces propositions le nom de complétives. Cette dénomination qui *tient au fait qu'* un grand nombre d'entre elles complètent le sens du verbe principal à la façon d'un substantif complément d'objet est inexact et dangereuse (W a g n e r e t P i n c h o n. Gramm., 551).

Формальность роли местоимения *се* и существительного *fait*, выступающих в совершенно идентичной функции антиципантов

придаточного, подтверждается тем, что оба они могут при некоторых глаголах опускаться.

Так, наряду с *profiter de ce que* или *profiter du fait que* возможно непосредственное примыкание придаточного:

Il avait promis à Chabot de *profiter de ce qu'il* ne devait être à Paris que le lundi matin pour passer le soir à Fontenay-le-Comte (S i m e n o n. M. a. peur, 10).

Pendant ce temps... *je profiterai du fait que* les officiers sont retenus ici, pour perquisitionner chez eux... (P. Nord. Maginot, 113).

Profitons qu'il y a beaucoup de monde (D o r g é l è s. Partir, 211, chez Sandfeld, p. 31).

Разумеется, далеко не во всех случаях возможны все три конструкции. Прежде всего опущение местоимения (или существительного *fait*), а следовательно и вводящего предлога, невозможно при глаголах, значение которых определяется присутствием предлога, например, *tenir à* (ср. *tenir* или *tenir de*).

Чисто формальная роль местоимения *ce*, а следовательно и *le fait*, в случаях, когда предлог не влияет на значение глагола, подтверждается еще тем, что местоимение может появляться при глаголах, обычно присоединяющих дополнение без предлога.

Примером может служить несколько необычное употребление *demande* в сопровождении *à*.

Je demande à ce qu'on m'oublie (F l a u b e r t. Lettre, 457) ⁵.

Таким образом, употребление придаточного предложения с *que* в функции члена предложения формально заменяется в современном французском языке выступающими в значении этого члена предложения указательным местоимением *ce* или существительным *le fait*. Они являются антиципантами придаточного дополнительного предложения. Это придаточное служит раскрытию содержания существительного или местоимения, при котором оно стоит, что и является основной функцией дополнительного придаточного предложения.

Тем самым функции предложений с *que* сужаются, унифицируются, превращаются в подлинно дополнительные. Отпадает и основание для возражения против их названия, высказанного Вагнером и Пеншон ⁶, которые считают, что не стоит называть предложения с *que* дополнительными, так как они могут выступать в качестве подлежащего. Значительный интерес представляет процесс формализации (грамматизации) существительного *le fait* в рассмотренной функции.

⁵ Пример цитирован по: Гревисс. Ук. соч., стр. 949; см. также F. Brunot. La Pensée et la Langue. Paris, 1936, pp. 340—341.

⁶ R.-L. Wagner. et J. Pinchon. Grammaire, p. 55.

* *

*

Примеры взяты из следующих текстов:

- G. Antoine. La Coordination en français. Paris, 1959—1962.
L. Aragon. Aurélien. Paris, 1944.
M. Aymé. Le chemin des écoliers. Paris, 1946.
P. Benoît. Mademoiselle de la Ferté. Paris, 1923.
M. Bernard. Le Québec change de visage. Paris, 1964.
R. Charles. Les illustres françaises. Paris, 1967.
G. Chevallier. Sainte-Colline. Paris, 1937.
Colette. L'entrave. Paris, 1961.
P. Daviault. Anglicismes et emprunts à l'anglais. «Etudes sur le parler français au Canada». Québec, 1955.
M. Druon. Les rois maudits. Paris, 1955—1960.
M. Duras. Des journées entières dans les arbres. Paris, 1954.
G. Flaubert. Correspondance. Edition Conard, tt. 1—9. Paris, 1926—1933.
J.-D. Gendron. Le phonétisme du français canadien du Québec face à l'adstrat anglo-américain. «Etudes de linguistique franco-canadienne». Paris-Québec, 1967.
J. Green. Adrienne Mesurat. Paris, 1927.
Ph. Hériat. Les grilles dorées. Paris, 1959.
A. Kéry. Qui est à l'appareil? Paris, 1963.
F. Mauriac. Pélerins de Lourdes. «Oeuvres complètes», t. 7. Paris, 1951.
M. Mohrt. La Campagne d'Italie. Paris, 1965.
H. de Montherlant. Les Célibataires. Paris, 1934.
P. Nord. Le double crime sur la ligne Maginot. Paris, 1951.
H. Schogt. Le système verbal du français contemporain. Haag, 1968.
G. Rohlfis. Langue d'Oc. «Actes et Mémoires du 3-e Congrès de Langue d'Oc». Bordeaux, 1964—1965.
J. Rouquette. La littérature d'Oc. Paris, 1936.
J.-P. Sartre. Le Mur (L'intimité, Erostrate, La Chambre). Paris, 1939.
G. Simenon. Maigret a peur. Paris, 1953.
G. Simenon. Maigret s'amuse. Paris, 1957.

НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО ПОВОДУ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ «АМЕРИКАНИЗМ», «ИБЕРИЗМ»

В испанской литературе, как в специальной лингвистической, так и в трудах более общего характера, понятие «американизм» трактуется по-разному¹. Ф. Ласаро Карретер называет «американизмом» любое «слово из туземных американских языков, включенное в любой европейский язык» (L á z a r o. Americanismo). У. Тоскано Матеус понимает под термином «американизм» слова американского происхождения в отличие от слов африканского происхождения (Ecuador, 107, подстрочное примечание 1).

Р. Менендес Пидаль квалифицирует как «американизмы» те индейские слова, которые вошли в состав испанского языка Америки и Испании (Manual, 27). В пятнадцатом издании «Словаря испанской Академии» (1925) термин «американизм» понимается как «слово или оборот речи (giro), свойственный только американцам, говорящим на испанском языке». В шестнадцатом издании (1936—1939) предлагается иное толкование: «Американизм. — Слово, значение (асерción) или оборот речи, свойственные только американцам, в особенности же говорящим по-испански».

Судя по определению Ф. Ласаро, термин «американизм» понимается им как заимствование, наподобие заимствований из других языков, бытующих в любом европейском языке («арабизм», «итальянизм» и т. д.), в том числе, вероятно, и в европейском испанском, однако такая унификация вряд ли оправдана, ибо индейская лексика в составе французской, русской или немецкой речи, с одной стороны, и в корпусе испанского словаря, с другой, имеет принципиальные отличия. Р. Менендеса Пидалья в первую очередь интересуют источники, из которых формировалась испанская лексика (испанская латынь, галльские элементы, иберийские, греческие, германские, арабские, а из более поздних — французские, итальянские, галисийско-португальские и, наконец, американские, — см. Manual, § 2—7).

Из определения Академического словаря (1925) следует, что к «американизмам» нужно относить не только индейскую лексику, но и любую другую, а также «обороты» или «выражения» (giros), не зарегистрированные в пиренейском испанском. К толковым словарям нельзя предъявлять тех же требований, которые мы предъявляем к словарям энциклопедическим или к научным справочникам. У Академического словаря есть своя научность, и критерием оценки достоинств лексикографических работ этого рода должна

¹ Ср. высказывание Р. А. Будагова: «Сам термин «американизм» понимается двояко: и как заимствование из того или иного местного языка, и как явление, развившееся на почве самого испанского языка в новых условиях его бытования в Америке. Такое двоякое понимание термина неудобно» (Современное состояние испанского языка и задачи его изучения. «Филолог. науки», 1966, № 4, стр. 165).

служить степень точности отражения реальных языковых употреблений, которые совсем не обязательно должны соответствовать уровню специальных научных знаний. Определяя слово «американизм», Академический словарь отразил наиболее общее и наиболее распространенное значение, в котором употребляется данная лексическая единица. Другое дело, что это общее, не строго терминологическое значение слова совпадает с тем, которое вкладывает в него большинство американских и испанских лингвистов. Такое значение «выведено» из практики сопоставления фактов испанского языка Америки с пиренейским академическим стандартом. Методика эта имеет давнюю историю и не раз приводила к ошибкам как в оценке «американизмов» (с точки зрения «правильности» — «неправильности»), так и в квалификации тех или иных явлений в качестве «американских» или «неамериканских».

Наиболее простым делом казалось определение группы индейских лексических «американизмов». Наличие богатой и разнообразной документации, закреплённость большей части этой лексики за наименованиями «американских вещей», своеобразии фонетического облика индейских слов позволяло без особых колебаний зачислять их в разряд бесспорных «американизмов». Однако заметим, что в качестве основания для выделения этой категории служит только происхождение слова. Особенности функционирования «американизмов» этого типа не учитываются.

К «американизмам» относится и индейское слово *cóndor*, которое известно в американском и в пиренейском испанском, и слово *apapás*, которое чаще можно слышать в пиренейском, чем в американском (здесь шире распространено не индейское *riña*).

Стремление избежать терминологической нечеткости привело к более широкому использованию терминов «индианизм» и «индихенизм» (от *indígena* «туземец») по отношению к «американизмам», бытующим в Америке. Уточнительный термин «индианизм» является в свою очередь родовым понятием по отношению к серии видовых: «мексиканизм» (*mexicanismo*), «перуанизм» (*peruanismo*) и т. д. — и подвидовых, определяющих либо место распространения: «табаскизм» (*tabasquismo* — от названия провинции Табаско в Мексике), либо языковой источник заимствования: «майизм» (*mauísmo*, т. е. заимствование из языка майя). В Испании эти термины, обозначающие видовые и подвидовые понятия, не имеют реальной почвы для употребления: ссылка на американское происхождение того или иного слова оказывается вполне достаточной. «Слова *petaca*, *cóndor*, *chocolate*, — пишет Ф. Ласаро, — являются индихенизмами в испанском языке Америки, по отношению к полуостровному испанскому — это американизмы» (*L á z a g o. Indigenismo*).

Совсем другие основания положены в определение лексических «американизмов» не индейского происхождения. В эту категорию фактически попадают те элементы словаря, которые имеют американскую специфику (испанское слово, одно из значений испан-

ских слов) по сравнению с соответствующими пиренейскими элементами лексики пиренейского лексикона. В этом случае внимание на самом факте возникновения (происхождения) «отклонений» не фиксируется. Решающим оказывается факт отсутствия «междиалектных» соответствий в синхронном плане. Иначе говоря, здесь учитываются в первую очередь непротивопоставленные «диалектные» различия, которые, на наш взгляд, более характерны для индейской лексики. Особенность употребления индейской лексики определяется внелингвистическими факторами (флора, фауна, ландшафт, этнография, антропология и т. д.).

Специфика использования общеиспанского фонда в Америке и в Испании создается главным образом за счет противопоставленных, т. е. соотносительных различий. Однако для того чтобы выявить соотносительные и несоотносительные различия, необходимо коренным образом изменить старую методику, при которой в разряд «американизмов» попадало все, что не отмечено полным тождеством элемента любого уровня американской речи с соответствующим явлением испанского академического стандарта. В этом случае количество «американизмов» непомерно и неправомерно разрасталось, что создавало ложное впечатление о будто бы существующем «неоиспанском» («американском») языке. Другая крайность возникла в результате неточностей старой методики: сопоставление любого факта американской речи с тождественным элементом в любом пиренейском диалекте и говоре на любой ступени развития этого диалекта или говора (территориального или социального) сводило до минимума количество американизмов и по существу дискредитировало самое проблему научного изучения испанского языка Америки.

Выявление американизма есть, прежде всего, методический прием, определяемый задачей установления специфических черт американского варианта языка по сравнению с пиренейским вариантом. Прежде чем квалифицировать то или иное явление как американское (американский локализм = американизм), необходимо убедиться в отсутствии тождественного элемента в пиренейском ареале. Употребление притяжательных местоимений *mío, tuyo, suyo* вместо ударных личных *mi, tí, sí* после наречий *delante, detrás, encima, debajo, junto, cerca, lejos* обычно рассматривается как особенность испанского языка Аргентины.

Б. Е. Видаль де Баттини приводит такие примеры из речи жителей провинции Сан Луис: *Se peñaron delante mío* (*delante de mí*); *Siempre anda atrás tuyo* (*detrás de tí*); *Dice que le parecía gue* (*que*) *se hundía la tierra abajo suyo* (*debajo de él*). Она указывает, что формы *delante mío, encima tuyo* и т. д. наблюдаются в речи образованных жителей Буэнос-Айреса (S. Luis, 380—381).

Амадо Алонсо трактует эти формы как «синтаксические регионализмы», свойственные не только аргентинскому просторечию (*no son sólo vulgares*), но и речи культурных аргентинцев (*Materia, 335*), т. е. рассматривает их как характеристическую особен-

ность всех социальных уровней. Судя по примерам Б. Е. Видаль де Баттини, обороты вроде *junto mío* не дифференцируют аргентинскую речь в социальном плане, тогда как синонимичные построения типа *al lado mío* являются признаком только просторечия.

А. Розенблат относит формы *delante mío*, *delante suyo* в речи венесуэльцев к числу венесуэльских аргентинизмов (Palabras, 447). Являются ли данные синтаксические обороты аргентинизмами, сказать трудно: география этих форм в американском ареале пока еще плохо изучена. Наличие их в венесуэльском варианте подтверждается примерами вроде следующего: *junto suyo había que no quiso que le pegara a los caimanes* (Gallegos. Bárbara, 15), однако сравним пример из чилийской газеты: *Alvaro Marián que estaba delantito mío* («La Nación», 11/X. 1964, 16).

Подобные построения встречаются и в пиренейских текстах: *se puso tras mío* (Delibes. Diario, 31); *Detrás mío entró él del Francés* (58); *Dolores vino detrás mío* (Goytisolo. Isla, 34); *Encima mío, el cielo ondeaba como un lago* (93). Отсюда указанные формы не могут считаться «американизмами». Ср. пиренейские диалектные обороты типа *contra mío*, о которых сообщает А. Самора Висенте со ссылкой на Мунте (Zamoga. Dial., 150).

Поскольку возникновение американизмов имеет свою историю, то необходимо ясно отдавать себе отчет в том, для какой эпохи устанавливаются соотносительные или несоотносительные различия и что с чем сравнивается (диалект с диалектом, просторечие с просторечием, литературная форма с литературной формой). На разных исторических этапах соотношение различительных черт меняется, и то, что в одну эпоху квалифицировалось как американская особенность, в другую эпоху из-за появления (по самым различным причинам) тождественного элемента в сравниваемом (пиренейском) варианте могло потерять свой дифференциальный признак.

Таким образом, американизмом следовало бы называть всякий элемент испанского языка Америки, который в данную эпоху обладает признаками соотносительного или несоотносительного различия по отношению к испанскому языку Испании на соответствующем социальном уровне. При установлении специфических черт пиренейского варианта по сравнению с американским возможно введение параллельного термина «иберизм».

Усвоение пиренейским испанским вариантом того или иного американизма (практически речь идет о словарных заимствованиях) приводит к упразднению различия, и, следовательно, американизм перестает быть таковым. В этом случае можно было бы говорить об «исторических американизмах», т. е. использовать сложный термин, указывающий на происхождение слова (например, из американских языков) и на отсутствие у него в настоящий момент дифференциального признака, который, однако, мог иметь место в прошлом. К разряду «исторических американизмов» можно было бы отнести такие слова, как *casique*, *rigagua*, которые в настоящее время являются общеиспанским достоянием.

Однако такого рода заключения следует предварять самым тщательным анализом условий функционирования отдельных слов в обоих сравниваемых вариантах.

Пришедшее из языка индейцев кичуа слово *пара* «картофель» активно использовалось в испанском языке Америки (особенно часто оно встречается в перуанских документах после 1550 г. — *J. Coguinas*. «*Пара II*») и в течение долгого времени не имело соотносительного члена противопоставления в испанском языке Испании. Иначе говоря, оно было элементом, наделенным дифференциальным признаком (американизм).

Культивирование картофеля в Испании, особенно заметное в XVIII в., привело к распространению этого же наименования в пиренейском ареале. Дифференциация была упразднена и индеанизм *пара* стал «историческим американизмом». Однако в дальнейшем он снова актуализирует свой дифференциальный признак в связи с тем, что на Пиренейском п-ове всеобщее распространение получила контаминированная форма *patata* (из *пара* и *batata*).

Пиренейское слово *patata*, которое по происхождению является «производным» от двух американских слов (*P. N. U. Indigen.*, 15—58), не может, по нашему мнению, быть отнесено к американизмам. Напротив, оно является иберизмом (иберизмом американского происхождения), поскольку несет на себе признаки различия (в данном случае соотносительного) по отношению к испанскому языку Америки. О том периоде, когда *пара* не обладало дифференциальным признаком американской речи, т. е. было только историческим, а не актуальным американизмом, напоминает нам андалусийский диалект, в котором для обозначения понятия «картофель» и до сих пор используется слово *пара*.

Включение слов американского происхождения в академические словари еще не означает, что они перестают быть актуальными американизмами. Так, наряду с индейским заимствованием *coyote*, являющимся общим для американского и пиренейского вариантов (т. е. не американизм, а общее слово), «Краткий академический словарь» (*Dic. man.*) включает производное *coyotero* (собака, специально тренированная для охоты на степного волка), которое является американизмом, поскольку в этом значении оно употребляется только в Америке. В области словаря (включая словообразование) можно различать лексические американизмы (при наличии соотносительной пары в другой звуковой оболочке: амер. *пара* — пирен. *patata*; при отсутствии соотносительной пары: амер. *guabul* «напиток, изготовляемый из бананов»), семантические (при разнице значений в словах, имеющих общую звуковую оболочку: амер. *bola* «мятеж» — пирен. *bola* «шар»), словообразовательные (при отсутствии сходной модели; оформляющей слова того же семантического разряда: амер. *indiada* «группа, сборище индейцев» — пирен. *conjunto de indios* или при наличии соотносительной пары, оформленной по другой модели: амер. *balanceada* — пирен. *balanceo*).

Для обнаружения актуальных фонетических и грамматических американизмов, так же как и лексических (включая словообразовательные), необходимо установить наличие соотносительного или несоотносительного различия элементов в данном состоянии языка при учете соответствующих социальных типов речи. Так, например, наличие в аргентинской фонетической системе звука *ž* во всех социальных типах речи позволяет квалифицировать его как американизм (аргентинского ареала), в связи с тем что в пиренейском испанском он наблюдается только в диалектной речи. Употребление *gesién* с любыми глагольными формами (в препозиции и постпозиции) является грамматическим американизмом, поскольку в пиренейском испанском данная синтаксическая особенность не обнаруживается.

При сопоставлении языковых фактов, различающихся внутри американского ареала, возможно использование терминов, указывающих на локальную ограниченность в масштабах национально-го варианта («аргентинизм», «мексиканизм») или зоны («антилизм»). В специальной лингвистической литературе эти термины употребляются без должной строгости. В категорию локальных (национальных) американизмов зачисляются те языковые факты, которые отсутствуют в пиренейском стандарте, или же те явления, которые возникли, по мнению исследователей, в данном варианте испанского языка Америки².

Условные сокращения:

- A. Alonso. *Materia*—Amado Alonso. *Materia y forma en Poesía*. Madrid, 1960.
 M. Delibes. *Diario*—M. Delibes. *Diario de un cazador*. Barcelona, 1963.
 J. Corominas—J. Corominas. *Diccionario crítico-etimológico de la lengua castellana I—IV*. Bern, 1954—1957.
 Gallegos. Bárbara—Rómulo Gallegos. *Doña Bárbara*, La Habana, s. d.
 J. Goytisolo. *Isla*—J. Goytisolo. *La isla*. La Habana, 1962.
 Lázaro.—F. Lázaro Carreter. *Diccionario de términos filológicos*. Madrid, 1953.
 R. Menéndez Pidal. *Manual*—R. Menéndez Pidal. *Manual de gramática histórica española*. Madrid, 1929.
 P. H. U. Indigen.—P. Henríquez Ureña. *Para la historia de los indigenismos*. Buenos Aires, 1938.
 A. Rosenblat. *Palabras*—A. Rosenblat. *Buenas y malas palabras*. Caracas—Madrid, 1960.
 Toscano. Ecuador—H. Toscano Mateus. *El español en el Ecuador*. Madrid, 1953.
 Vidal. S. Luis—B. E. Vidal de Battini. *El habla rural de San Luis*. BDH, VII (1947).
 Zamora. Dial.—A. Vicente Zamora. *Dialectología española*. Madrid, 1960.

² См., например, A. Rabanales. *Introducción al estudio del español de Chile. Determinación del concepto de chilenismo*. Santiago, 1953. Под «чилинизмом» автор понимает: «expresión oral, escrita o somatológica originada en Chile» (31). Те же принципы отбора наблюдаются в ряде других работ: P. Julio Tobón Betancourt. *Colombianismos y otras voces de uso general*. Bogotá, 1953; A. Mombreno. *Hondureñismos*. México, 1895; Fernán Silva Valdés. *Vocabulario de uruguayismos*. «Boletín de Filología». Montevideo, 1941, pp. 276—281.

ОТ ИМЕНИ ЛИЦА К ИМЕНИ ВЕЩИ — СТЕРЖНЕВАЯ ЛИНИЯ РОМАНСКОЙ ЛЕКСИКИ

Категория рода — вот что разделяет имя лица и имя вещи с интересующей нас точки зрения, каковы бы ни были другие многочисленные расхождения и сходства собственных и нарицательных имен. Имя лица — это имя, в котором категория рода в индоевропейских языках имеет лексико-грамматическое значение, т. е. указывает на реальное различие мужского или женского пола. Имя вещи — это имя, в котором категория рода имеет грамматическое значение, т. е. указывает лишь согласовательный класс слов в языке.

Исходя из того что мы вообще знаем о соотношении лексики и грамматики, о первичности лексического и вторичности грамматического¹, взаимное положение имени лица и имени вещи в современных индоевропейских языках заставляет предположить первичность рода и родовых противопоставлений в именах лиц и вторичность по отношению к ним родовых противопоставлений в именах вещей. Первичность и вторичность мы понимаем при этом в синхронном плане. Это значит, что, уяснив первичные родовые противопоставления (в именах лиц), мы сравнительно легко и просто выведем из них вторичные родовые противопоставления (в именах вещей), но не наоборот².

Что касается диахронической первичности-вторичности, иными словами, вопроса о том, что в действительности произошло первым, отношения здесь могут оказаться и такими, как в синхронии, и обратными, перевернутыми или обращенными. Подобные примеры в большом количестве известны из истории разных языков.

I

Р. А. Будагов высказал в свое время очень плодотворную мысль о том, что в изучении схождения и расхождений романских языков необходимо различать лексическую дифференциацию, т. е. наличие или отсутствие данного фонетического слова, слова в плане выражения (в соответствии с принятой терминологией изображение этого на географической карте — изоглосса) и семантическую дифференциацию, т. е. наличие или отсутствие значений слов, — элементов плана содержания (назовем изображение этого на географической карте изосемой). Предлагаю рассматривать лексические схождения или расхождения в двух планах раз-

¹ См. обзор в кн.: Р. А. Будагов. Введение в науку о языке. М., «Прогресс», 1965, стр. 247—256.

² Ниже будут развиты положения, высказанные нами ранее: Georges Stépanoff. Du nom de personne au nom de chose, principe anthropocentrique du lexique roman. «XII-ème Congrès International de Linguistique et Philologie romanes. Résumés des communications». Bucureşti, 1968, pp. 137—138.

дельно, в плане выражения и в плане содержания, Р. А. Будагов иллюстрировал эту мысль следующим примером: «При традиционном изложении процесса разграничения *tabula* — *mensa* в романских языках создается впечатление, что в одних языках бытует только первое из этих существительных, а в других — только второе. Однако это не так. Данное утверждение нуждается в принципиальном исправлении и должно быть сформулировано иначе: в значении «стол» существительное *tabula* встречается в одних романских языках, а существительное *mensa* — в других. В чем отличие второй формулировки от первой? В выделении значений данных слов»³.

Это разграничение должно быть перенесено и в сопоставительное изучение грамматики. Мы будем различать категорию рода в плане выражения и категорию рода в плане содержания. Остановимся сначала на категории рода имен лиц в романских языках и рассмотрим эту категорию в плане выражения.

Испанский и французский языки занимают в этом отношении, по-видимому, полярные положения. В обоих языках имена людей основаны на двух совершенно различных принципах: в испанском мужской и женский роды четко различаются флексиями при одной неизменяемой основе; во французском этот принцип последовательно не проведен, корреляция или отсутствует вовсе (м. р. *Bernard* — ж. р. нет), или имя является общим для обоих родов (*Claude*), или происходит чередование основ (м. р. *Joseph* — ж. р. *Joséphine*), или, только изредка, имеет место чередование флексий при одной основе (м. р. *Michel* — ж. р. *Michelle*). Ср.:

испанский		французский	
м. р.	ж. р.	м. р.	ж. р.
Alejandro	— Alejandra	Alexandre	— Alexandrine
Bernardo	— Bernarda	Bernard	— Bernardette
Claudio	— Claudia		Claude (Claudine)
Emilio	— Emilia		— Emilie
Francisco	— Francisca	Emile	— Françoise
Gabriel	— Gabriela	François	— Gabrielle
Jerónimo	— Jerónima	Gabriel	— —
José (Josef)	— Joséfa	Gérome	— Joséphine
Juan	— Juana	Joseph	— Jeanne,
Julio	— Julia	Jean	Janine
Manuel	— Manuela		— Julie,
Miguel	— Miguela	Jules	Juliette
Nicolás	— Nicolasa		— —
Pablo	— Pabla	Emmanuel	— Michelle
Pepe	— Pepa	Michel	— (Ni)colle,
		(Ni)colas	(Ni)colette
		Paul	— Paulette

³ Р. А. Будагов. Сравнительно-семасиологические исследования (романские языки). Изд-во МГУ, 1963, стр. 35.

Бросается в глаза, что французский язык, вообще не знающий такого обилия уменьшительных суффиксов, как испанский и итальянский, широко прибегает к ним именно в личных именах для дифференциации женского рода: — *ine, Pauline, Claudine, Jeanine; — ette, Paulette, Colette (Nicolette), Juliette*. Есть небольшая группа внепарных имен, отчетливо женских: *María, Elena*, или отчетливо мужских по происхождению: *Marco*. Но и тут возможны вторичные схождения в русле общей тенденции: итальянск. *Márgio — María*.

Ближе всего примыкают к именам лиц термины родства, в которых указанный родовой принцип находит точно такое же полное выражение: в испанском общая основа при вариациях флексий, во французском — разные основы. Ср.:

	испанский	французский
сын—дочь	hijo—hija	filс—fille
брат—сестра	hermano—hermana	frère—soeur
дядя—тетя	tío—tía	oncle—tante
дед—бабка	abuelo—abuela	grand'pere—
свекор—свекровь	suegro—suegra	grand'mère
	и т. д.	beau-père—
		belle mère
		и т. д.

Следующий круг лексики — названия животных, в которых та же картина:

	испанский	французский
теленок—телка (до года)	becerro—becerra	veau—génisse
козел—коза	cabrón—cabra	bouc—chèvre
баран—овца	carnero—oveja	mouton—brébis
боров—свинья	cerdo—cerda	porc—truie
бизон—бизониха	puerco	bison
олень—олениха	cibolo—cibola	cerf—biche
барашек	ciervo—sierva	agneau—agnelle
козленок—козочка	cordero—cordera	cabri—biquette
кот—кошка	chivo—chiva	chat—chatte
маленький конь, же- ребец—маленькая кобыла	gato—gata	
осел—ослица	jaco—jaca	jument
волк—волчица	jumento—jumenta	âne—ânesse
мул	burro	loup—louve
кобель—сука	lobo—loba	mule—mulet
	mulo—mula	chien—chienne
	perro—perra	

теленок—телка	ternero—ternera	veau
тигр—тигрица	tigre—(tigra) ⁴	tigre—tigresse

Те же отношения в названиях фруктового (и вообще плодоносящего) дерева или куста и его плода:

	испанский	французский
м. р. (дерево)	ж. р. (плод)	ж. р. (плод)
вишня		м. р. (дерево)
яблоня	cerezo—cereza	cerise—cerisier
рождовое дерево	manzano—manzana	pomme—pommier
дерево из породы	algarrobo—algarroba	caroube—caroubier
вязов	almez—almeza	micocoulier
каперс	alcaparro—alcaparra	caprier
зеленый миндаль	allozo—alloza	
миндаль	almendro—almendra	amende—amendier
	и т. д.	

И, наконец, те же родовые противопоставления пронизывают и другие пласты лексики, не связанные в современном языке с различиями пола. Ср.:

	испанский		французский	
	м. р.	ж. р.	м. р.	ж. р.
котел	caldero	caldera	chaudière	
мозги		—	cerveau—cervelle	
ср. мозжечок	cerebelo		cervelet—	—
корзина	cesto—cesta		(panier) ⁵	
хижина	chozo—choza		cabane	
афиша, плакат	cartel		(cartel)	
	cartel—cartela			
	cartélon			
ветвь или корень	cepo	} cepa	cep	
виногр.	cepón			
стул, седло	sello sillo	} —silla	fauteuil—chaise	
кресло	sillón			

Поскольку мы говорим в этой части статьи о плане выражения, нужно отметить, что в испанском существуют многочисленные пары слов, различающиеся именно таким родовым соотношением, но слабо связанные или даже вовсе не связанные (в синхронном состоянии) в плане содержания. Во французском же такие пары единичны и случайны. Ср. исп. (берем примеры на первые буквы словаря):

⁴ Латинскоамериканский неологизм.

⁵ Во французских примерах в скобки взяты слова, имеющие иной корень или совершенно иное значение, чем испанские.

ceja	— 1) бровь 2) бахрама 3) облака на вершине горы	sejo	— 1) туман на реке 2) шнурок на обуви (осо- бой)
cimbra	— связь балок	cimbre	— подземная гале- рея
charanga	— фанфара	charango	— банджо
correa	— ремень	correo	— почта, посланник
corcha	— спускание троса (морской термин)	corcho	— пробка
cohecho	— последняя про- пашка почвы пе- ред посевом	cohecho	— 1) субординация коррупция 2) время послед- ней пахоты
deja	— выступ между двумя насечками	dejo	— 1) акцент неко- торых испан- ских провин- ций 2) оскомина

Иногда здесь в испанском представлены и полярные, по отношению к последней как бы промежуточной группе, пары: либо абсолютные синонимы *sueza* = *suezo* — лоток, или почти абсолютные синонимы *suegna* — *suegno* — рог, т. е. варианты одного слова; либо иногда другой полюс — полные омонимы: *aleta* — плавник, *aleto* — род птицы; *agaña* — паук, *agaño* — царапина; *sodo* — локоть; *soda* — деревянный клин (столяр.), хвост (устар.) и т. д.

2

Теперь рассмотрим в каждом из языков отношения между выделенными родовыми парами с точки зрения словообразования. Общая схема здесь чрезвычайно проста (поскольку лексика разбита на пары): либо слово женского рода образуется от мужского, либо наоборот, либо, наконец, между обоими словами — равноправные, эквиполентные отношения.

Женский род произведен от мужского:

а) В собственных именах *Bernardo* → *Bernarda*, *Paul* → *Paulette* и т. п. В двусоставных именах род определяется по первому компоненту: исп. *José-María* — имя мужчины, *María-José* — имя женщины; франц. *Marie-José* — имя женщины. В старофранцузском, по-видимому, напротив, род сложного имени определялся по второму компоненту, следуя германскому образцу, так как в определенную эпоху⁶ германские личные имена имели преобладающее распространение на французской территории. Так, в собственном имени *Raimond* < *Ragin* + *mundus*, где *ragin* герм.

⁶ А именно около 1000 года, когда большинство романских семей Галлии приняло уже германские личные имена, см. P. Lebel. *Les noms de personnes. «Que sais-je?», n° 235. Paris, 1959, p. 39.*

«совет», mundus герм. «защита» (ср. др.-русск., с одной стороны, Святослав < святая слава; с другой — Борисоглебск < Борис + Глеб), род определяется по второму компоненту. Словообразование древних романских собственных имен мало изучено, но можно предполагать, что двусоставные имена составляют до некоторой степени параллель к словообразованию нарицательных имен путем сложения основ. Ср.:

Эпоха	Нарицательные* имена	Собственные имена
Долитературная эпоха	Существуют типы: 1) dieu merci 2) merci dieu (божья милость)	Ragin-mundus
XII — XIV вв.	2) merci dieu, hôtel dieu 3) merci de dieu	
Среднефранцузский XV — XVI вв.	3) тип с предлогом начинает преобладать: merci de dieu 4) тип с личным именем без предлога: Mont Saint-Michel	тип «имя и фамилия» в приложении друг к другу Pierre Faure
XVII — XIX вв.	5) cas Dupont, musée Antoine Bourdelle 6) bateau-mouche	Jean-Marc Marie-José
XX в.	5) сохраняется 6) сохраняется 6) succès-chanson с инверсией определения из chanson à succès, chanson-succès	

* Ср. Н. Lewicka. Pour une histoire structurale de la formation des mots en français. «El XI Congreso de linguística y filología románicas». Madrid, 1965, p. 80.

б) Женский род произведен из мужского в названиях деятельности и профессий: испанск.: colegial—colegiala, coronel—coronela (разг.), capitán—capitana (разг.), ministro—ministra (вульг.), confeso — обращенный в религию, confesa — вдова, уходящая от мира в религию; этот способ словообразования представлен в испанском, по-видимому, не четко, так как, с одной стороны, он дифференцирует также названия лиц от названий орудий: salador — сито; лохань для стирки — saladoga — прачка; с другой стороны, с ним конкурирует суффиксальный способ образования названий лиц: alcalde—alcaldesa; фр.: collègien—collégien-

ne, étudiant—étudiante, colonel—colonelle (разг.); сюда же вовлекаются и образования от имен собственных, когда последние имеют форму регулярных имен существительных: Guillotin — фамилия изобретателя — guillotine — его изобретение, гильотина.

в) Женский род произведен от мужского также во многих случаях в названиях животных (но не во всех, см. ниже): исп. lobo—loba; tigre—tigra, mulo—mula; фр.: loup—louve, tigre—tigresse, âne—ânesse, chat—chatte.

Мужской род произведен от женского во всех тех случаях, где имя женского рода означало предмет, функционально более важный в хозяйстве, так — в некоторых названиях сельскохозяйственных животных: исп.: cabra→cabrón, и в названиях плодовых деревьев: фр.: cerise→cerisier, pomme→pommier; исп.: manzana→manzano, cerezo→cereza (подробнее см. ниже, о плане содержания).

Более сложные, эквиполентные, отношения представлены в тех случаях, где мужской и женский роды являются параллельными парными образованиями. Этот тип распространен более всего в испанском: cuchillo—cuchilla — разные виды ножей; claro—clara — пробел (в разных значениях); clava — дубина; clavo — гвоздь; cubo—cuba — разные виды бадей и т. д. Во французском такие пары от одной основы единичны: cerveau—cerveille. Во всех этих случаях разница родов является показателем различий по величине (см. ниже, семантика).

Особый тип в романских языках составляют такие пары, где в форме мужского рода сливаются и нейтрализуются прежние латинские различия мужского и среднего, а в форме женского рода сливаются и нейтрализуются прежние латинские различия собирательных имен женского рода, множественного числа среднего рода (тип folia — листья и листа). (Сказанное не означает, что каждая такая пара в современных языках восходит к латинской, к латыни возводится тип отношений, а не его отдельные представители). В виде особой морфологической категории так называемого обоюдного рода этот тип отношений представлен в румынском: вещь — un lucru ед. ч. обоюдн. р.=ед. ч. м. р., unele lucruri — мн. ч., обоюдн. р.=мн. ч. ж. р. В категорию обоюдного рода входят, за немногими исключениями собирательного или обобщающего значения (popor — народ, animal — животное), лишь наименования неодушевленных явлений⁷. Пережиточно это явление представлено в итальянском языке: стена il muro — ед. ч., м. р., le mura — мн. ч., ж. р.; так же il dito — le dita, il legno — le legna и т. п.

Кажется, до сих пор не обращено внимание на то, что в испанском этот тип представлен как особая словообразовательная категория: форма мужского рода является в таких парах первич-

⁷ См. Т. А. Репина. Румынский язык. Серия «Языки мира», под ред. проф. Р. А. Будагова и проф. Н. А. Чемоданова. Изд-во МГУ, 1968, стр. 23—26.

ной, с конкретным, вещественным значением, а форма женского рода — производной с абстрактным или переносным значением: *cuero* — кожа, *cuera* — род кожаного изделия; *chiflo* — свисток, *chifla* — свист, действие по глаголу свистеть; *crío* — сосунок, младенец, *cría* — выращивание сельскохозяйственных животных; *conju-go* — заклинание, *conjuга* — заговор, *conducto* — канал, труба для передачи жидкости, *conducía* — проведение, поведение; *contra-to* — контракт и много специальных значений, *contrata* — контракт; *conseja* — история, сказка, *consejo* — совет, *denuncio* — донос (устар.), *denuncia* — то же (совр.); *custodio* — стражник, *custodia* — охрана, и т. д. Ср. фр.: *aide, f* — помощь, *aide, m* — помощник, где отношения, по-видимому, обратные. Такие случаи гораздо более редки. Ср. в исп.: *ánima* — дух, душа, *ánimo* — присутствие духа, воля, мужество, *madera* — древесина, дерево, *madero* — доска.

Наконец, особый вид парных отношений представлен там, где между двумя разными родовыми формами посредствует промежуточным звеном глагол. В испанском, где этот тип продуктивен, часто женский род является предглагольным образованием, а мужской род — послеглагольным: *area* — пути для лошади, *areag-(se)* — сходить, слезать на землю, *areo* — имя действия — мерить шагами; подпирание, подпорка. Очень часто (и это, по-видимому, самое продуктивное соотношение) в испанском форма женского рода на -а и мужского рода на -о, обе (или одна из них) являются доглагольными или одновременными с глаголом, а после глагола возникает форма мужского рода на -е:

Имя	Глагол	Новое имя
<i>plomo, desplomo</i>	<i>desplomar</i>	<i>desplome</i>
<i>rama, ramo</i>	<i>derramar</i>	<i>derrame</i>
<i>derrota</i>	<i>derrotar</i>	<i>derrote</i>
<i>cortá</i>	<i>cortar</i>	<i>corte</i>
<i>costa</i>	<i>costar</i>	<i>coste</i>
<i>arrimo</i>	<i>arrimar</i>	<i>arrime</i>
<i>amarra</i>	<i>amarrar</i>	<i>amarré</i>
<i>charrá</i>	<i>acharrarse</i>	<i>charrarro, -a</i> (прилаг.)

Отглагольные образования на -е поддерживаются исконными триплетами на -а//о//е: *adobo* — *adobe*, *adufa* — *adufe*, *cerasta* — *ceraste*, *cierna* — *cierne*, *cimbra* — *cimbre* и т. п.

В других индоевропейских языках также представлены сходные словообразовательные отношения. Мы находим их либо в таких парах, где женский род произведен от мужского: *вóрон* — *во-рѡна*, литовск. *vágnas* — *váгна* и где характерное чередование циркумфлексной (в м. р.) акутовой (в ж. р.) интонаций указывает, по мнению некоторых исследователей, на глубокую древность, на тип, сходный с древнеиндийским чередованием *v̄ddhi* (эта сту-

пень представлена в форме с акутовой интонацией *vóron* — *váŋpa*)⁸; либо в таких случаях, где отношение родовых пар аналогично испанским эквиполентным отношениям типа *choza*—*chozo*: ср. русск. *полóк*—*пóлка*, *мóрок* (диал.) — *морóка*, *сóрок* — *со-ро́ка*, а также, может быть, и пары типа: *стрелóк* — *стрéлка*, *прищéпок* — *прищéпка*, *дымóк*—*ды́мка*, *жучóк* — *жу́чка*⁹, *курóк* — *кúрка* (диал.) (о последнем случае см. ниже особо).

3

Особо следует рассмотреть описанные отношения в плане содержания. Посмотрим сначала, какой тип объяснений преобладает здесь в исследованиях по романистике. Характерен пример Г. Рольфса. Отметив, что латинский женский род в слове *сарга* — коза удержался во всех романских языках, а мужской род в слове *сарег* — козел всюду исчез или видоизменился, ср.:

рум. <i>sargă</i> — <i>țap</i>	кат. <i>sabra</i> — <i>boch</i>
ит. <i>sarga</i> — <i>becco</i> — <i>zìmtaru</i>	пров. <i>sabra</i> — <i>bochi</i>
(южн.)	
зарро, <i>sarpon</i> (северн.)	
сард. <i>craba</i> — <i>crabu</i>	фр. <i>chèvre</i> — <i>bouc</i> ,
исп. <i>sabra</i> — <i>sabrón</i>	

Г. Рольфс делает следующий вывод: «После этого обзора мы можем высказать соображения о тех обстоятельствах, которые привели к схождениям и расхождениям в названиях «козы». Лат. *сарга* оказывается родовым названием, т. е. обычным, неизменным обозначением животного, постоянно имеющегося в крестьянском хозяйстве. Его наименование так же незыблемо, как название солнца и луны, земли и воды, молока и меда... Самец козы, «козел», напротив, мало представлен в крестьянском обиходе, а в городах вообще встречается редко... В противопоставлении общему слову «коза», название козла является специальным термином и в речи городского населения употребляется мало...»¹⁰.

Нетрудно видеть, что в объяснениях такого типа смешиваются различные явления: с одной стороны, выделение слабого, подверженного изменениям звена родового противопоставления (в данном случае таким звеном оказывается наименование самца), с другой стороны, различные формы и направления этого изменения. Последних работа Г. Рольфса не объясняет. И объяснение им может быть дано только системное, с точки зрения не экстраязыко-

⁸ Н. Pedersen. *Etudes lituaniennes*.

⁹ См. Ю. С. Степанов. Проблема классификации падежей. «Вопросы языкознания», 1968, № 6.

¹⁰ G. Rohlfs. *Diferenciación léxica de las lenguas románicas*. Madrid, 1960, p. 112.— испанский перевод, дополненный М. Альваром, известной немецкой работы G. Rohlfs. *Die lexikalische Differenzierung der romanischen Sprachen* (1954).

вых факторов, но внутренней системы языка. Исходя из изложенной выше системы соотношения родов, объяснение это заключается в том, что слабое звено, которое так или иначе должно измениться, изменяется в направлении общего давления системы: во французском наименование козла заменяется словом иного корня, в испанском — словом того же корня и даже той же основы, но с измененной флексией (парные соотношения — ж. р. *-a*, м. р. — *-ón*, не отмеченные нами выше, в испанском также представлены очень широко, форма на *-ón* является в таких случаях дублетом формы на *-o*: *agca* — шкатулка, *agcón* — сундук, *caja* — ящик, *cajón* — большой ящик, *ala* — крыло, *alón* — крыло без перьев, *cesta*—*cesto*—*cestón* — разного вида и размера корзины, *chara* — мушка, родинка, *charón* — клякса и т. д. и т. п.). В данном случае специфически испанское «давление системы» проявляется в том, что формы мужского рода на *-ón* имеют значение большого или большего предмета, формы женского рода на *-a* — соответствующего меньшего. Та же общая тенденция отмечена и во французском для пар типа: *cerveau*, m. — *cervelle*, f., *fauteuil*, m. — *chaise*, f., *sac*, m. — *sache*, f. (*sachet*) и подобное¹¹.

Таким образом, в романских языках проявляется особая метаграмматическая тенденция: древние, полностью значимые родовые противопоставления, соответствующие реальным различиям полов, перед тем как угаснуть в широких пластах лексики (где они становятся лишь обозначениями согласовательных классов) переживают промежуточный этап, переходя в обозначения размера. В испанском этот слой лексики очень значителен, причем отношения оказываются в нем обратными, перевернутыми: женский род соответствует большему предмету, а мужской род с флексией *-o* (не *-ón*!) — меньшему.

большой

clava — дубина
cuenca — долина, впадина
cuba — бочка, лохань
charca — большая лужа, болото (фр. *mare*)
caldera — большой котел
choza — большая хижина

малый

clavo — гвоздь
cuenco — глиняный горшок,
cubo — ведро
charco — лужа
 (фр. *flaque d'eau*)
caldero — маленький котел
chozo — шалаш

Иногда в таких парах может произойти более детальная специализация значений: *chancla* — домашняя туфля, *chanclo* — деревянный сандалий; галоша; *clava* — белок яйца; плешь; по-

¹¹ R. Rapin. Le genre, indice de grandeur. «Le français moderne», 1960, t. 28, No. 1.

ляна; claro — пробел; отверстие или пролом в стене; chamiza — маленькая хижина, chamizo — головня; сельский дом; cuchillo — нож, cuchilla — особый нож для переплетчика; гильотина и т. д.

Как общее правило, выяснив общую тенденцию соотношения родов в плане содержания, для разных отдельных участков этой системы, для разных ее фрагментов, необходимо вводить дополнительные семантические дифференциальные признаки. Вот пример построения такого фрагмента для наименования портного.

В испанском мы находим: el sastre — портной, la sastre — швея; la costurera — белошвейка, el costurero (редк.) — дамский портной. Во французском le tailleur — портной, la couturière — белошвейка и le couturier — дамский портной. В обоих языках все обстоит в соответствии с общей тенденцией каждого: в испанском — парные родовые образования от одного корня, во французском — основная пара разнокоренная; tailleur — couturière. Очевидно, однако, что детальное описание требует ввести еще две пары семантических признаков: 1) «для кого шьет портной» — для мужчины или для женщины, и 2) «с каким глаголом связано наименование». Мы получаем следующую картину этого фрагмента:

		Кому шьют	
		I. ему	II. ей
Кто шьет	1. он	фр. tailleur от глагола tailler «кроить» исп. sastre от лат. sartor, без глагола	фр. couturier от глагола coudre «шить» исп. costurero от глагола coser «шить»
	2. она	фр. — исп. sastra	фр. couturière исп. costurera

Если сравнить с этими французскими и испанскими фрагментами румынский, где croitor — портной от глагола croi (славянское заимствование *кроить*), и русский, где *портной* от *порты*, а *швея* от *шить*, и латинское sartor < saritor от глагола sario — полоть, рыхлить почву, то мы от двух национальных тенденций, французской и испанской, отчетливо отделим общую индоевропейскую (или, по крайней мере, европейскую) тенденцию: наименование портного отражает не только пол мастера, но и пол клиента, при этом сочетания одинаковых признаков м.—м. и ж.—ж. являются первичными: первое тяготеет к глаголу со значением «резать, кроить», второе — к глаголу со значением «шить», «сшивать»; сочетания же разных признаков м.—ж. или ж.—м. являются производными, вторичными:

Первичное м. — м. портной croitor sastre tailleur	Вторичное: портниха, sastra
вторичное: швец costurero couturier	первичное: ж. — ж. швея costurera couturière

Особые семантические отношения возникают при так называемых «животных метафорах», когда название самца или самки животного переносится на название инструмента. Романские примеры в большом количестве можно найти в известной работе Г. Рольфа¹². Например, спусковой крючок огнестрельного оружия называется в испанском языке именем кошки или собаки: gatillo, regillo; в ит. и фр. — собаки cane, chien; в немецком, сербско-хорватском и баскском — петухом, соответственно Hahn, droz, ollar и т. д. и т. п. (Ук. соч., стр. 77). К этому следует добавить, что в подобные семантические связи вступают, вероятно, особенно регулярно однокорневые противопоставленные по роду пары: Ср. русск.: *кúрка* (диал.), *кúрица* — *курóк* (в ружье); *жучóк* — *Жúчка* (кличка собаки), *белóк* — *Бéлка* (кличка собаки), *стрелóк* — *стрéлка* и *Стрéлка* (кличка собаки), *дымóк* — *дымка* и *Дымка* (кличка кошки) и т. п. По этим причинам никак нельзя согласиться с М. Фасмером, будто славянские наименования курка — это кальки с немецкого Hahn в том же значении¹³. Отмеченная здесь проблема парных образований типа исп. chozo—choza, фр. cerveau—cervelle, русск. курóк — кúрка, ворон — ворóна, литовск. *vãgnas*—*vãгна* и подобные остается малоисследованным и очень интересным вопросом индоевропейского языкознания.

¹² Дополненное испанское издание: G. Rohlfs. Lengua y cultura, anotaciones de M. Alvar. Madrid, 1966, pp. 76—87. Ср. В. Migliorini. Dal nome proprio al nome comune. Firenze, 1968 (reimpres. 1927).

¹³ М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка (перевод с нем. и дополн. О. Н. Трубачева), т. II. М., «Прогресс», 1967, стр. 427.

ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Т. Б. Алисова

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ГРАММАТИЧЕСКОЙ И КОММУНИКАТИВНОЙ СТРУКТУРОЙ СУБЪЕКТНО-ПРЕДИКАТНЫХ ОТНОШЕНИЙ (на материале итальянского языка)¹

Субъектно-предикатные отношения, определяемые на коммуникативном уровне, возникают между двумя членами высказывания — коммуникативным субъектом (темой) и коммуникативным предикатом (ремой). Первый из них представляет собой «то, что является в данной ситуации известным или по крайней мере может быть легко понято и из чего исходит говорящий². В роли темы, как правило, выступают имена лиц — участников беседы (я—ты), названия (прямые или анафорические) упоминавшихся уже предметов или лиц, указания на место, время или причину. Известность темы, данной в ситуации или в контексте, делает необязательным ее словесное выражение. В отличие от темы рема, т. е. «то, что говорящий сообщает об исходной точке высказывания»³, составляет основное содержание сообщения, которое никогда не может быть опущено и к которому зачастую сводится все высказывание. Коммуникативно одночленными высказываниями могут оказаться как односоставные, так и двусоставные предложения (*vengono!*; *piove*; *c'era una volta un re*). Коммуникативное отношение предикативности получает свое непосредственное выражение

¹ Примеры взяты из следующих источников: D. Montaldi. *Autobiografie della Leggera*. Torino, 1961; N. Ginsburg. *Lessico familiare*. Torino, 1963; F. Chiesa. *Villadorna*. Milano, 1928; C. Malaparte. *La pelle*. Firenze, 1963; trad. fr. Paris, 1959; C. Levi. *Cristo si è fermato a Eboli*. Torino, 1948; trad. fr. Paris, 1948; G. Tomasi di Lampedusa, *Il Gattopardo*. Milano, 1966; Stendhal. *Le rouge et le noir*. Paris, 1883; trad. it. Torino, 1963; A. Gide. *Les caves du Vatican*. Paris, 1962, trad. it. Milano, 1955.

² В. Матезиус. О так называемом актуальном членении предложения. В кн.: «Пражский лингвистический кружок». М., «Прогресс», 1967, стр. 239.

³ Там же.

в интонации, которая отображает также и модальное содержание высказывания, лежащее в основе любой предикации⁴.

Кроме того, предикативные отношения в флективных языках, и в том числе в итальянском, отмечаются грамматически в личных окончаниях глагола, которые, являясь показателями темы в реме, превращают личную форму глагола в минимальную формализованную единицу высказывания, т. е. в предложение⁵.

В отличие от интонации, форма которой не может быть отвлечена от передаваемого ею коммуникативного содержания, предложение, как большинство дискретных знаков языковой системы, не связано однозначно с определенным содержанием, и его члены — подлежащее и сказуемое — могут не отражать конкретного коммуникативного членения данного высказывания, как, например, в том случае, когда подлежащее не совпадает с темой. Поэтому внутри самой системы языка существует целый ряд дополнительных лексических и грамматических средств, которые, дублируя интонацию и фразовое ударение, позволяют недвусмысленно передать коммуникативные различия в содержании высказывания.

Обратимся сначала к структурам, в которых различие между темой и ремой специально подчеркнуто при помощи грамматического обособления (сегментации). Поскольку тема как нечто известное может быть словесно не выражена, необходимость в ее специальном выделении возникает особенно часто в начале сообщения, когда говорящий «задает» определенную тему слушающему или уточняет ее в ходе разговора, как бы напоминая о ней собеседнику. Фрагментарный характер диалога (особенно у детей и малокультурных людей) делает сегментированное предложение преимущественно «разговорной» языковой единицей. «Заданная» обособленная тема находится всегда в начале предложения и часто не соответствует грамматическому подлежащему следующего предложения (анаколуф): *ecco perché io mi piaceva di più la caccia* (Autobiogr., 86); *ed io per le informazioni della questura mi portarono al carcere* (ibid., 344). Подобного рода фразы можно встретить и у современных писателей, использующих «разговорный» стиль в связном рассказе: *Mio padre, le sue idee sul denaro erano diventate, dopo la guerra, più che mai nebulose e confuse* (G i n s b u r g. Lessico fam., 188);

«Уточняемая», т. е. плеонастическая обособленная тема, всегда следует за сказуемым или непосредственно или после дополнений и обстоятельств: *E dagli con le donne! Si direbbe che ve n'abbiano fatto delle grosse, le donne. — Cosa vuoi mai che mi abbi-*

⁴ См. Ш. Балли. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., ИЛ, 1955, стр. 43—44 («мысль нельзя свести к простому представлению, исключающему всякое активное участие со стороны мыслящего субъекта»).

⁵ См. Е. Курилович. Основные структуры языка: словосочетание и предложение. В кн.: «Очерки по лингвистике». М., ИЛ, 1962, стр. 55—56. Курилович рассматривает личную форму глагола как минимум предложения, без которой высказывания оказываются лишь функциональными аналогами предложения, не являясь предложениями с формальной точки зрения.

ano fatto, a me, le donne? (Chiesa. Villad., p. 94). E in lui la paura era più grande che in noi: era in lui, la paura, il vortice dell'imprevisto e dell'inconoscibile... (Ginsburg. Lessico fam., 205).
Дополнительное упоминание подлежащего — темы в отличие от обособленной «заданной темы», открывающей предложение, часто встречается не только в разговорном, но и в книжном⁶ стиле, представляя собой специфически итальянский риторический оборот: Era uscito, il Foffano, dalle aule bolognesi, dove era stato compagno ed amico di Pascoli (F. B. Ageno, pref. ai «Fatti d'Enea»). Характерно, что стилистический оттенок «эпического повествования», связанный с этой формой, не имеет себе соответствия во французском языке: Stanno quelle nane tutto il giorno sedute sulla soglia dei bassi. — Ces naines restent toute la journée assises sur le seuil des «bassi» (Malaparte, 37—41).

Как препозиционная, так и постпозиционная тема сегментированного предложения, независимо от степени их интонационного выделения и различия функций, обязательно имеет при сказуемом свой показатель, — личное окончание глагола и местоименные частицы *lo* (*la, li, le*), *gli, ne* и *ci* (*vi*), — который выражает грамматически предикативные отношения между темой и ремой, например: *Ma a casa non posso andarci!* (Gossen, Bont., 801) или *Ci vai o non ci vai dai Salvucci?* (*ibid.* Ch., 25)⁷. Таким образом, в сегментированном предложении «согласование» ремы с темой, в том числе и согласование личных окончаний сказуемого с темой — подлежащим всегда отмечает реальные предикативные связи между двумя членами конкретного высказывания. В предложениях не сегментированных, речь о которых пойдет ниже, тема высказывания специально не подчеркивается и различие между темой и ремой передается порядком слов. При отсутствии в высказывании дополнительной эмоциональной нагрузки в итальянском языке тема предшествует реме, при эмфатическом подчеркивании смыслового ядра ремы выделяемое слово помещается перед сказуемым и получает обязательное эмфатическое ударение. Так, нейтральным, неизмоциональным порядком слов будет препозиция подлежащего, если оно соответствует теме, и его постпозиция, если оно входит в состав ремы: *La porta di strada ogni tanto si apriva ed entravano delle donne...* (Levi, 34). При аффективном порядке слов эмфатически выделяемое подлежащее, входящее в состав ремы, отмечается ударением и предшествует сказуемому: *Prove ci vogliono* (Gossen, p. 70 Gia, 222). *La fede ci vuole* (*ibid.* Gia, 179).

Точно так же и дополнение, несущее основное содержание в реме, помещается при эмфазе перед сказуемым: *I negri basta che*

⁶ О письменном («книжном») стиле итальянского языка см. Р. А. Будогов. Литературные языки и языковые стили. М., «Высшая школа», 1967, стр. 81.

⁷ См. по этому вопросу исчерпывающие данные: С. Т. Gossen. Studien zur syntaktischen und stilistischen Hervorhebung im modernen Italienisch. Berlin, 1954, pp. 92—110.

sentano una cosa che puzza e tranguggiano. Anche la benzina bevono⁸ (P a v e s e. Nov. p. 104); или Ah, le spiegazioni vuoi! Che ti spieghi vuoi, perché un uomo come me... (Chies a. Villad. Milano, 1928, p. 37); или в книжном стиле: Così nella novella... non la pietà domina, ma l'orrore: nè una sola parola artisticamente viva lo scrittore sa trovare per dirci lo strazio della giovinetta quando apprende l'uccisione dell'amato (F u b i n i. Studi sulla let. d. rin., Fir. 1947, p. 48).

Возможности эмфатической препозиции ремы в итальянском особенно отчетливо вырисовываются на фоне французского: Gravi e senza grazia femminile erano i loro gesti... — leurs gestes étaient graves et sans grâce féminine... (Levi, 34—35). Famoso è infatti il Pendino di Santa Barbara per le molte nane che vi abitano — Le Pendino di santa Barbara è fameux par les nombreuses naines qui y habitent (Malap., 37—41).

При переводе с французского лексическая превосходная степень может заменяться синтаксической эмфазой: mais sa surprise fut extrême quand... ma grande fu la sua sorpresa quando... (Stendh., 43—54).

Как известно, ограниченные возможности перемещения слов внутри связанного предложения во французском языке компенсируются частотностью употребления расчленяющих синтаксических моделей, где главное предложение содержит глагол-связку и выделяемую часть ремы, а определительное придаточное — остальной состав предложения: c'est moi qui ai fait cela⁹.

В итальянском языке этот оборот гораздо менее распространен, чем во французском, и несет более сильную эмфатическую нагрузку. Таким образом, простому нейтральному предложению с подлежащим-ремой l'ha voluto lui будет соответствовать аффективный синоним è lui che l'ha voluto (Gossen., p. 118; Zerb. 14).

Как замечает Балли (стр. 86), модели предложений с выделительными оборотами по существу близки к сегментированным предложениям, поскольку в конструкциях подобного рода коммуникативные категории темы и ремы получают эксплицитное грамматическое выражение, данное вне конкретного сообщения и, следовательно, существующее как самостоятельная единица системы языка. Вместе с тем можно заметить, что синтаксические модели, подчеркивающие коммуникативное членение высказывания или эмфатически выделяющие один из его членов, представляют собой крайне специализированные («отмеченные») языковые знаки с

⁸ При эмфатической препозиции дополнения, входящего в рему, оно никогда не согласуется в роде и числе с причастием сложных форм и не имеет своих местоименных показателей при сказуемом, в отличие от сегментированного дополнения — темы: «i campi mi ha lasciato, non i soldi» — Но «i campi me li ha lasciati, ma i soldi no». См. P. Meriggi. La ripresa dell'oggetto in italiano. «Volkstum und Kultur der Romanen», Bd. II. Heidelberg, 1938, а также Gossen. Op. cit., p. 78.

⁹ См. Ш. Балли. Ук. соч., § 108, стр. 86.

предельно ограниченным функциональным диапазоном. Здесь, как и в вопросительных и императивных предложениях, грамматическая форма, подобно интонации, связана с содержанием однозначными отношениями. Однако в отличие от интонации конструкции так называемого экспрессивного синтаксиса как единицы дискретные лишены способности непрерывно порождать новые смыслы и представляют собой нечто вроде интонационных окаменелостей. Однозначность этих конструкций исключает их из сложной игры взаимодействий между дискретными, но многозначными формами языкового «кода» и смыслом — как «субъективным», возникающим в коммуникации, так и «объективным», лежащим в природе обозначаемых вещей.

Посмотрим теперь, как реагирует форма простого экспрессивно не отмеченного предложения на дополнительное коммуникативное содержание, приобретаемое им в конкретном высказывании. Как было уже сказано, средством выражения различий между подлежащим-темой и подлежащим-ремой служит в итальянском порядок слов: в первом случае оно предшествует сказуемому, во втором — за ним следует. Это общее положение нуждается, однако, в уточнении: подлежащее, обозначающее лицо или предмет, о которых раньше не упоминалось, и, следовательно, как будто бы составляющее часть ремы, может помещаться как перед сказуемым, так и после него. Например, первые предложения итальянских сказок (*Fiabe italiane a cura di Italo Calvino. Torino, 1956*) дают нам два варианта зачинов: 1) *C'era una volta un uomo pescatore. Un bel giorno il pescatore se n'andò con le sue reti a pescare* (p. 260). *C'era una volta un legnaiolo di Corte e questo legnaiolo di corte aveva tre figlie* (p. 443); *C'era una volta un re che aveva tre figlie* (p. 392); 2) *Il gobbo Tabagnino era un povero ciabattino che non sapeva come fare a tirare avanti* (p. 216); *Un giorno un giovane disse: «A me questa storia che tutti devono morire mi piace poco»* (p. 107).

Первый тип зачина Матезиус называет обоснованным, второй — переносным, намеренно представляющим новое как данное. Действительно, рассказы или писатели обычно используют в начале новостования прямой порядок слов «подлежащее+сказуемое», чтобы поставить читателя сразу же *in medias res*. Так начинается рассказ Моравия «*Andare verso il popolo*» (*La macchina si fermò ed essi discesero...*) или рассказ Доменико Пеа «*La signora scende a Pompei*» (*L'autobus delle dodici e trenta che porta a Salerno attraverso la Napoli — Pompei quel giorno non era affollato...*). Препозиция подлежащего в этих случаях лишена эмфатического ударения, свойственного подлежащему-реме в предложениях типа *prove ci vogliono* и не имеет здесь эксплицитных признаков темы, как в сегментированных предложениях. Таким образом, препозиция подлежащего определяется как неотмеченная, а форма предложения «подлежащее+сказуемое» — как нейтральная по отношению к коммуникативному членению.

Естественно, что нейтральная форма предложения, как знак более частотный и обобщенный, выбирается в тех случаях, когда тема известна, не требует дополнительного выделения или не противопоставлена реме и безразлична с точки зрения говорящего, который не считает нужным сообщить о новом предмете речи в отдельном высказывании. Напротив, специальное сообщение о наличии или появлении нового, еще не упоминавшегося протагониста еще до того, как он начал действовать, очевидно, необходимо для того, чтобы обратить на него специальное внимание слушателя. Такого рода «представление» отмечает, с одной стороны, неизвестность нового предмета, название которого является центральной частью ремы (целью сообщения), с другой стороны, вводит его в качестве темы для последующих высказываний. При введении новой темы обычной точкой опоры оказываются обстоятельства места и времени, а иногда просто глаголы, обозначающие наличие, появление, а по аналогии и другие действия субъекта: *Salivano dall'estremo orizzonte, quasi portate dal vento, le prime ombre della notte (Malaparte. La pelle, p. 49); Stamani m'è piovuta nel cervello un'idea (Collodi, 15); C'era una volta un re* и т. п.

Предложение, содержащее наиболее общий глагол наличия *c'è* (фр. *il y a*) с последующим существительным, от которого зависит определенное придаточное, получило название «представляющего оборота» (*tour de présentation*). Вине и Дарбельне¹⁰ рассматривают его как стилистический прием (*un artifice stylistique*).

Действительно, выбор между нейтральным неотмеченным предложением и презентацией, включающей не только «представляющий оборот», но и любую другую точку опоры, свободен и зависит от намерения говорящего. Однако сравнение двух родственных языков, в частности итальянского и французского, показывает, что индивидуальный выбор подчиняется выбору коллективному, т. е. «норме речи»¹¹. Посмотрим теперь на конкретных примерах, в каких случаях итальянский предпочитает отмечать «новизну» понятия, обозначенного подлежащим, путем его постпозиции, в отличие от французского, где чаще сохраняется нейтральный порядок слов:

1. В независимых предложениях, которые выступают как рема по отношению к предыдущему предложению, служащему темой: *Dovette esiliarsi presto però da quei gelidi regni stellari. Entrò don Ciccio Ferrara il contabile. — Il dut cependant abandonner bien vite les royaumes stellaires et glacés. Don Ciccio Ferrara, le comptable, entrait (Gattop. 26—38). La porta di strada ogni tanto si apriva ed *entravano delle donne*: le vicine, le conoscenti, le comari della vedova. — La porte sur la rue s'ouvrait de temps en temps et *des femmes entraient*, des voisines, des connaissances, des com-*

¹⁰ J.-P. Vinay, J. Darbelnet. *Stylistique comparée du français et de l'anglais*. Paris, 1958, p. 203.

¹¹ См. В. Г. Гак. Проблемы лексико-грамматической организации предложения. Автореф. докт. дисс. М., 1968, стр. 8.

mères de la veuve (Levi, 34—35). Era stato attratto da una strega contadina con dei filtri d'amore ed era diventato il suo amante. *Era nata una bambina.* — *Une petite fille était née.* (Levi, 14—14).

Как видно из этих примеров, презентация подлежащего как «нового» осуществляется во французском только при помощи неопределенного артикля, т. е. отмечается в пределах синтаксической группы имени, а не в конструкции предложения. Поэтому в случае определенности подлежащего (см. первый пример), коммуникативная «новизна» понятия остается вообще невыраженной.

2. В предложениях-ремах, открывающих сообщение, где итальянский чаще, чем французский, предваряет сказуемое обстоятельными словами: *Un débris de miroir gisait là, qui lui servait naguère à provoguer des tropismes.* — *C'era lì un frammento di specchio...* di cui in altri tempi s'era servito... (Gide, 17—21). Описание окрестностей Веррьера у Стендаля начинается так: *Le Doubs coule à quelques centaines de pieds au dessous de ses fortifications, bâties jadis par les Espagnoles, et maintenant ruinées.* Итальянский переводчик, несмотря на близость двух языков и постоянное влияние французских моделей на итальянский, предпочитает «обоснованную» конструкцию: *Qualche centinaio di piedi sotto le sue fortificazioni, costruite un tempo dagli spagnoli ed ora in rovina, scorre il Doubs* (Stendh., 1—7). «Обоснованный» зачин возможен также и во французском, и мы его находим как в подлинниках, так и во французских переводах с итальянского: *Au delà, sur la rive gauche, serpentent cinq ou six vallées au fond desquelles l'oeil distingue fort-bien de petits ruisseaux.* — *Di là dal fiume, sulla riva sinistra, serpeggiano cinque o sei valette in fondo alle quali...* (Stendh., 5—12).

Присутствие в начале предложения обстоятельств причины, времени, места является, как известно, одним из условий возможной (но не обязательной) постпозиции подлежащего во французском. Однако сохранение прямого порядка слов даже после «обосновывающих» предложение обстоятельств (например: *Bientôt la femme de chambre de madame et la cuisinière arrivèrent près de la porte* (Stendh., 31) делает неясным коммуникативное содержание фразы вне контекста в отличие от ее итальянского перевода: *Subito dopo vennero la cameriera della signora e la cuoca* (Stendh., 40), где порядок слов определяет подлежащее как «еще не упоминавшееся», несмотря на заданный ситуацией определенный артикль. В связи с этим целесообразнее видеть «обоснованность» (формальную отмеченность) коммуникативного содержания предложения не в наличии или отсутствии вводных обстоятельств, а в постпозиции подлежащего по отношению к сказуемому. Соответственно сохранение препозиции подлежащего в предложениях, содержащих чистую рему, следует рассматривать не как «переносное его употребление», а как устранение категорий «данного» и «нового» из структуры предложения, функционирующего в речи, и как предпочтение нейтральной формы форме более отмеченной. Характерно, что сво-

бода выбора препозиции — постпозиции в этих условиях на фоне превалирующей препозиции во французском и обычности постпозиции в итальянском делает инверсию стилистически отмеченной формой как раз для французского и нейтральной стилистически для итальянского. Так, у Андрэ Жида «обратный» порядок слов подчеркивает нарочитую книжность речи, передаваемую в итальянском, где инверсия соответствует общеречевой норме: «Grâce a quoi régnait entre eux une manière de concorde, planait sur eux une sorte de demi-félicité, chacun d'eux trouvant dans le support de l'autre l'emploi discret de sa vertu — In tal modo vigeva tra loro una specie d'accordo, fluttuava tra loro una specie di felicità, che nel tollerare l'altro, ciascuno impiegava discretamente le proprie virtù (Gide, 12—16) ¹².

Помещаясь после сказуемого и уточняя его содержание, подлежащее, подобно дополнению, может специфицировать действия, заранее известные из ситуации или контекста. È l'usanza di qui, almeno tra i signori: *se muore il padre* le figlie restano per tre anni recluso, un anno se muore il fratello (Levi, 23). При «прямом» порядке слов коммуникативная незаконченность сказуемого снимается, как это видно на примере французского перевода этой фразы: *si le père meurt, les filles restent enfermées pendant trois ans, un an si c'est le frère* (Levi, 23).

Исходя из определения переходности как смысловой неполноты ¹³, можно заметить несомненное структурное и семантическое сходство между дополнением и подлежащим, входящим в состав ремы. Интересно, что Есперсен ¹⁴, указывая на текучесть границ между этими членами предложения, приводит примеры превращений подлежащего в дополнение как раз в условиях его употребления в составе ремы: *Him dreams a strange dream — he dreams a strange dream* или *him like oysters — he likes oysters*. Причину появления именительного падежа местоимения Есперсен видит в том, что в огромном большинстве предложений форма первого слова не показывала, является ли оно дополнением или подлежащим, в связи с исчезновением падежной флексии.

Распространение прямого порядка слов и фиксированной препозиции подлежащего без сомнения связано с утратой падежей. Однако возникновение синонимичной переходной конструкции наряду с непереходной имеет, очевидно, более глубокие корни, независимые от судьбы падежной флексии, так как оба семантико-синтаксических варианта сосуществуют во всех индоевропейских языках, хотя и в различной пропорции. По-видимому, превращение подлежащего в дополнение и связанные с этим преобразова-

¹² См. о стилистическом использовании инверсии R. Le Bidois. *L'inversion du sujet dans la prose contemporaine* (1900—1950). Edition D'Artrey. Paris, p. 375 и далее.

¹³ А. Sechehaye. *Essai sur la structure logique de la phrase*. Paris, 1926, p. 81.

¹⁴ О. Есперсен. *Философия грамматики*. М., ИЛ, 1958, стр. 182.

ния в значении глагола и в модели предложения возникли в условиях употребления подлежащего в составе ремы. Такое употребление в отдельных случаях закрепилось за определенными глагольными лексемами типа «мне нравится что-то» «mi piace qualche cosa» или устойчивыми моделями вроде «у меня есть что-то» «est mihi aliquid» и т. п. Комментируя различие между латинской конструкцией *mihi est liber* и французской *Ce livre est à moi*, Бенвенист¹⁵ обращает внимание как раз на обязательную неопределенность латинского подлежащего, соответствующего прямому дополнению в конструкции *habeo librum* и *j'ai un livre*.

Замена непереходной конструкции ее переходным вариантом (мне снится сон — я вижу сон, *gli è venuta in mente un'idea* — *egli ha avuto un'idea*) первоначально была обусловлена стремлением привести в соответствие подлежащее и коммуникативный субъект (тему). Однако, как всякая грамматическая форма, переходная конструкция расширяет свои функции и оформляет любое коммуникативное содержание, изменение которого в свою очередь отмечается изменением порядка слов и интонацией.

Так, в итальянском языке, как и в русском (и гораздо реже во французском, где препозиция дополнения в главных предложениях обычно связана с сегментацией), дополнение-тема может стоять перед сказуемым в предложениях, лишенных эмоциональной нагрузки: «*Quei pensieri egli aveva fissato sulla carta già nei suoi primi quaderni...* (M. Fubini. Studi sulla lett. del Rin., Fir. 1947, p. 145); *Aggiungi che le parti più notevoli di essa avevano già trattate i poeti antichi* (Foffano, intr. ai «Fatti di Enea», p. 4). *Più felicemente aveva l'Ascoli intravisto la verità, quando il movimento dei manzoniani riconosceva «partito dalla altissima sfera, in cui l'arte e la filosofia stanno congiunte e indivise»* (A. Schiavini. Le origini dell'it. lett. L'It. dial. v. v. 1929, p. 161). Препозиция несегментированных дополнений в неаффективной фразе — сравнительно редкое явление, так как любое существительное в функции темы спонтанно интерпретируется как подлежащее. Так, Пьер Гиро¹⁶ приводит примеры согласования сказуемого с препозиционным дополнением как одну из типичных ошибок малограмотных.

Соответствие между коммуникативным и грамматическим субъектом устанавливается при помощи пассивной формы: *I segreti di Grassano mi erano stati rivelati fin dai primi giorni del mio arrivo da uno dei loro più appassionati protagonisti* (Levi, 26).

Страдательная конструкция, однако, подобно всем прочим формам, не связана с каким-либо определенным коммуникативным членением. Поэтому было бы неточным утверждать, что ее функция сводится к установлению соответствия между темой и подлежащим

¹⁵ E. Benveniste. Problèmes de linguistique générale. Paris, 1966, p. 196.

¹⁶ P. Guiraud. Le français populaire. Paris, 1965, p. 35.

предложения. В итальянском языке, как и в русском, подлежащее при пассивной форме сказуемого очень часто оказывается в составе ремы, восполняя коммуникативную неполноту сказуемого: *Alla Santa Chiesa è stata esplicitamente promessa l'immortalità; a noi in quanto classe sociale, no.* — *On a promis explicitement l'immortalité a notre sainte mère l'Eglise, mais a nous, en tant que classe sociale, non* (Gattop., 32—46). *On lui donnait dix sous par jour.* — *Gli venivan dati dieci soldi al giorno.* (Gide, 14—18) или у Малапарте: *Nel porto di Napoli, una notte, fu rubata una Liberty ship... fu rubato non solo il carico, ma la nave. Scomparve, e non se n'è mai saputo più nulla.* — *Dans le port de Naple, une nuit, on vola un Liberty ship, ... on vola non seulement la cargaison, mais le navir. Il disparut, e on n'en a jamais plus rien su* (Malap., 34—38). В этой позиции подлежащее не только не тема, но даже не производитель действия. По смыслу такие предложения являются неопределенно-субъектными (см. их перевод на французский). В итальянском языке в отличие от французского действие неопределенного лица обозначается эксплицитно-непереходной, т. е. возвратной формой. Поэтому, как видно из последнего примера, синонимом и конкурентом страдательной конструкции в данных коммуникативных условиях выступает рефлексив (которому соответствует во французском все та же переходная неопределенно-личная конструкция с «on»). *Un bel giorno era scomparso da casa e di lui non si erano avute notizie per due mesi* (Gattop., 17), или *Si era ottenuto così un secondo e più valido lasciapassare...* (Gattop., 14). Эти примеры показывают, что несмотря на неопределенно-личный смысл конструкции, семантический объект действия в итальянском литературном языке регулярно оформляется как подлежащее, согласуясь со сказуемым в роде, лице и числе, подобно тому, как это имеет место при непереходных глагольных лексемах типа *sono entrate della donne..., gli è morta la madre* и т. п.

Распределение коммуникативных ролей в модели *verbum reflexivum + Nomen* может измениться на *Nomen + verbum reflexivum*, где согласованное со сказуемым существительное оказывается темой: *Le cifre F. D., che prima si erano distaccate ben nette sul colore dorato del bicchiere pieno, non si videro più* (Gattop., 34).

В этой фразе лексическое значение двух глаголов — *distaccarsi* и *vedersi* — позволяет отметить различие их отношения к субъекту на семантическом уровне, однако с точки зрения коммуникативной и формально-грамматической они занимают одинаковую позицию по отношению к подлежащему-теме.

В упрощенном виде эта цепочка взаимодействий коммуникативных категорий и грамматических форм показана в таблице (см. стр. 129).

Поскольку нас интересовала в первую очередь двучленная конструкция, позволяющая выяснить соотношение между коммуникативными и грамматическими категориями субъекта и предиката, безличные предложения остались за пределами этой схемы.

Коммуникативная Функция подлежащего	Форма сказуемого			
	непереходная	переходная	страдательная	возвратная
Тема	1) il NS è venuto (al MO)	3) il MS ha ricevuto un NO	5) il NS è stato ricevuto (dal MO)	7) il NS si è ricevuto
Рема	2) (al MO) è venuto un NS	4) il NO ha ricevuto un (il) MS	6) è stato ricevuto NS	8) si è ricevuto un NS

Примечание: N и M — два существительных, выступающих поочередно то как подлежащее (NS, MS), то как дополнение (NO, MO). Стрелками соединены семантико-коммуникативные синонимы.

Между тем более внимательный анализ фактов не только литературного, но и простонародного языка позволяет установить некоторые точки соприкосновения и пограничные зоны между безличными и личными конструкциями, и не только в области употребления языка, но и внутри его грамматической системы. Дело в том, что сказуемое, вводящее подлежащее (клетки 2, 6, 8), само по себе не закончено по смыслу («транзитивно») и образует поэтому с подлежащим тесное смысловое единство, которое отметил еще Форначари¹⁷, объяснявший причины инверсии подлежащего необходимостью «tenere insieme unite quelle idee che hanno tra loro affinità». Смысловая спайка членов ремы происходит одновременно с изменением характера синтаксической связи между сказуемым и подлежащим, которая становится более тесной, поскольку замещение позиции подлежащего в составе ремы оказывается обязательным. Соответственным образом переосмыслиются и формальные показатели предикативной связи. В самом деле, если грамматические показатели субъекта в личных окончаниях глагола представляют собой проекцию «понятийной темы» (т. е. той «действительности», к которой относится рема), а согласование с подлежащим-темой есть форма выражения предикативной связи между ними и смысловой зависимости предиката от субъекта (что доказывается также согласованием «по смыслу» — *la maggior parte s'è mosso*), то в случае устранения темы из высказывания согласование теряет свое предикативное содержание, уподобляясь согласованию существительного с прилагательным-определением. Не случайно поэтому, что коммуникативная позиция подлежащего-ремы может быть формально отмечена отсутствием согласования в лице, роде и числе со сказуемым, как это часто имеет место во

¹⁷ R. Fornaciari. *Sintassi italiana dell'uso moderno*. Firenze, 1881. Цит. по кн. Госсена, стр. 84.

французском языке. Так, например, типичный для французского *tour de présentation* построен по безличной модели: *il y a des gens qui pensent...*

В литературной норме современного итальянского языка случаи несогласования вводящего глагола и постпозиционного подлежащего не зарегистрированы и сам *tour de présentation* представляет собой личное предложение: *s'è un uomo — s'erano due uomini*. Более того, культурный итальянец квалифицирует конструкции вроде *è venuto due soldati* не только как неправильные, но и как просто «несуществующие». Тем не менее достаточно обратиться к писаниям малограмотных или сочинениям учеников начальных школ рабочих или сельских районов, чтобы обнаружить своеобразную «безграмотную» норму, согласно которой вместо личных конструкций сказуемого — непереходного, пассивного или возвратного — с постпозиционным согласованным подлежащим (клетки 2, 6 и 8 на схеме) — употребляются их безличные аналоги: *Fu sentito i testimoni* (*Autobiogr.*, 220). *In paese vi è ancora aperto le osterie* (*ibid.* 108). *Mi si presentò davanti due uomini* (*ibid.* 86). *Dopo la visita delle ore sette passò due detenuti con una cassa... e mi passarono dal spioncino una cassetina...* (*ibid.* 332).

В последнем примере сказуемое не согласуется с существительным — ремой (*passò due detenuti*), но получает формы согласования в роде и числе с тем же понятием, которое является темой следующего предложения (*passarono*).

Таким образом, в итальянском просторечии, не скованном литературной нормой, спонтанно возникают те формы выражения «коммуникативной безличности», которые во французском языке уже давно закреплены литературной традицией и включены в грамматическую систему литературного языка.

ЧТО ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И КАК ЕГО СЛЕДУЕТ ИЗУЧАТЬ

Предложение — это грамматически и интонационно оформленная по законам данного языка целостная единица речи, являющаяся главным средством формирования, выражения и сообщения мысли о некоторой действительности и отношения к ней говорящего. Предложение обладает свойством звуковой выделительности (на основе внутренней фонетической организованности), оно выражает предикацию и состоит из одного или нескольких слов, являющихся его предельными составляющими (или потенциальным минимумом).

Предикация — это отнесение данного содержания, данного предмета мысли к действительности, осуществляемое в предложении (в отличие от словосочетания). В пределах предложения различаются неравноправные по своему характеру типы связей, определяющие более тесные и менее тесные объединения слов. Типы связей классифицируются от наиболее свободной, или предикативной, до наименее свободной, или наиболее тесной, которая называется атрибутивной связью. Между этими двумя видами связей промежуточное положение занимает дополнительная, или комплетивная, связь.

Наряду с различными типами связи следует различать разные виды синтаксического содержания, т. е. разные по содержанию отношения между словами, вступающими в ту или иную связь. По содержанию отношения могут быть процессные, т. е. между процессом и совершающим его предметом, предметные (или объективные), т. е. между предметом и процессом или между двумя предметами, квалификативные — между признаком и определяемым предметом или процессом, и обстоятельственные — между обстановкой, в которой протекает процесс или находится предмет, и процессом, или предметом.

Члены предложения — это наиболее типичные выборки из бесконечной пестроты сочетаний различных типов связей и различных видов содержательного синтаксического отношения. Так, например, для определения типичным являются разные виды квалификативных отношений (кваликативно-предметные, квалификативно-процессные), выраженные в форме атрибутивной связи. Для дополнения типичны предметно-процессные отношения при подчиненном предмете, выраженные в форме комплетивной связи. Для обстоятельства характерными являются обстоятельственные отношения и комплетивная связь.

Главные члены предложения — сказуемое и подлежащее — определяются следующим образом: сказуемое — это то слово или сочетание слов, которым выражается предикация и обозначается предикат, т. е. тот предмет мысли, который осознается вместе с предикацией. Подлежащее — это слово (или группа слов), обо-

значающее тот предмет мысли, по отношению к которому мыслится предикат: иными словами, оно является членом предложения, указывающим на то, к чему относится заявление, сделанное в сказуемом. Поскольку открытое выражение подлежащего мы находим только в двусоставном предложении, то наиболее полным определенным подлежащим является следующее: подлежащее — это главный член двусоставного предложения, грамматически не зависимый от других членов предложения и указывающий на то, к чему относится информация, содержащаяся в сказуемом, т. е. слово или сочетание слов, обозначающее тот предмет мысли, по отношению к которому определяется и выделяется содержание высказывания, связанное с предикацией. Сказуемое же — это слово или сочетание слов, выражающее предикацию и функционирующее поэтому в качестве центрального конституирующего члена предложения; в двусоставном предложении оно грамматически зависит от подлежащего.

Суммированные выше основные категории синтаксиса предложения подробно развиты в многочисленных работах, из которых для автора настоящей статьи имеет особенное значение «Синтаксис английского языка» А. И. Смирницкого (Изд-во МГУ, 1957). Все основные определения синтаксических категорий даны автором в «Словаре лингвистических терминов», к которому и отсылается читатель.

Для того чтобы дать еще более полную картину тех вопросов, которые возникают в связи с изучением предложения, необходимо также напомнить и об имеющихся более или менее успешных попытках логического анализа речи. Как показала Е. В. Падучева (подробно основные идеи ее исследования изложены в книге О. С. Ахмановой, С. А. Григорьева и И. В. Гюббенета «Общелогические аспекты оптимализации речевого сообщения». Изд-во МГУ, 1966, стр. 73—88), перевод естественных языков на языки математической логики (необходимый для создания информационно-логических языков) оказывается прежде всего проблемой синтаксической.

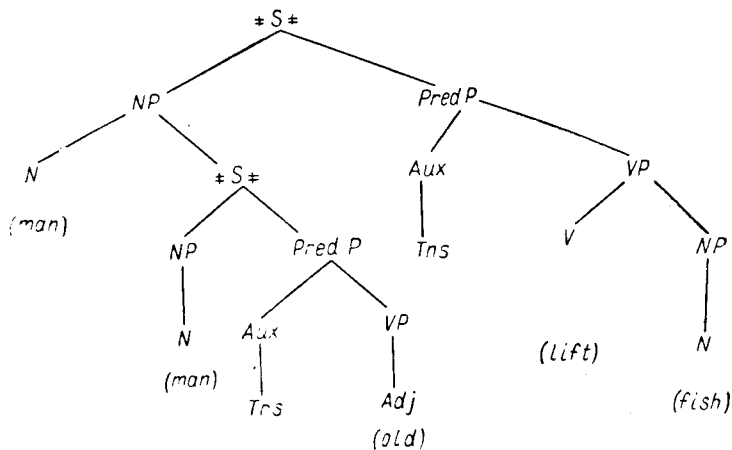
Исследователи сосредоточиваются в первую очередь на выявлении правил построения, на формализации конструкций или моделей, причем конкретные элементы, из которых могут быть построены такие модели, выступают в них в виде переменных величин, не затрагивающих и непосредственно не влияющих на ту или другую инвентарную формулу, не препятствующих ее выделению и формализации как таковой.

Если теперь попытаться определить в наиболее общем виде применяемый при этом метод, избранную эпистемологию, то совершенно ясно, что метод этот должен быть определен как индуктивный, поскольку языкознание является эмпирической наукой. Все перечисленные выше категории или обобщения прочно основываются на фактах естественных человеческих языков, на их многообразном изучении и научной систематизации. То, что именно

так только и может строиться языковедческое исследование, казалось бы, не вызывает и не может вызывать никакого сомнения.

Однако оказывается, что это совсем не так. Последние годы в развитии синтаксической теории характеризовались все более широким распространением такого подхода к синтаксису, который требует полной перестройки всего процесса. «Все надо делать наоборот...» — так озаглавил свою остроумную реплику доктор философских наук В. А. Афанасьев, напечатанную в газете «Правда» 25 февраля 1969 г. Основанием для такого вывода явились весьма распространенные теперь суждения следующего характера: изучение эмпирических объектов вообще не может дать теоретического знания: исследователь, утверждающий, что он стоит на экспериментальных позициях, неизбежно обречен на чистое описательство, имеющее незначительную познавательную ценность, и только на основе априористических дедуктивных схем и выявления наиболее расходящихся траекторий возможных их изменений и т. д., и т. д. может быть обеспечено действительно научное и вполне современное знание.

Посмотрим, как же применяется в действительности этот принцип. Основной идеей всех работ указанного направления, независимо от тех или иных вариантов или разновидностей, является следующее: никакое реальное высказывание не может по определению рассматриваться, или тем более исследоваться как таковое, само по себе. Подлинным предметом исследования должны быть некие «базисные фразы» или же «глубинные структуры», причем это общее положение должно применяться ко всем без исключения высказываниям, независимо от их сложности, необычности, жанра или сферы употребления. Так, например, если имеется такая простая фраза, как the old man lifted the fish, то прежде всего необходимо вообразить «дерево», представляющее глубинную или базисную структуру этой фразы. «Дерево» это будет иметь следующий вид:



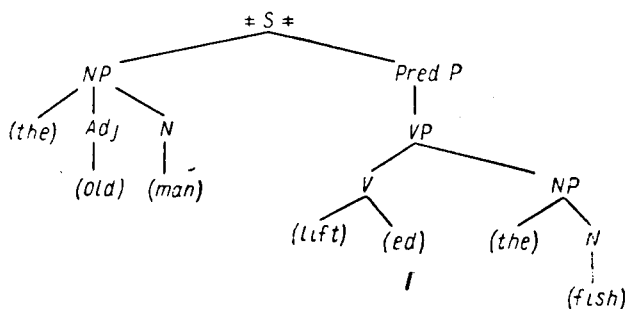
Для того чтобы понять эту схему, необходимо знать перечень тех категорий, на которых основывается и которыми исчерпывается всякое синтаксическое исследование, а именно база, состоящая из базисных правил и лексикона, семантический компонент и трансформационный компонент, терминальные узлы *nodes* (почки) дерева подлежат дальнейшему развитию посредством применения «признаков» (*features*). Так, например, крайнему левому узлу N приписываются признаки: + имя, + определенный, + исчисляемый, — множественное, + одушевленное, + человеческое. Узел переходности, управляемый первой именной фразой или «вырастающий из нее», включает в себя + настоящее время, а узел V (глагол) определяется наличием субъекта, содержащего признаки, перечисленные для самого крайнего левого узла выше, и т. д.

Лексикон присоединяет данные морфемы к терминальным узлам структуры, создаваемой базисными правилами. Эти морфемы должны гармонизировать с признаками, наличествующими в каждом из узлов. Так, например, рыба (*fish*) не может войти в состав самого крайнего левого N узла, потому что она не обладает признаком «+человеческое».

Каждая морфема должна иметь форму матрицы дифференциальных признаков, которые и выражают ее глубинную репрезентацию. В ней также должна содержаться информация, требуемая для семантического компонента. (При этом термин «значение» — «*meaning*» — употребляется именно в кавычках и, по-видимому, не подлежит научному или серьезному обсуждению). Кроме того, в определении морфемы входят еще трансформационные компоненты, например, признаки, которые либо допускают, либо запрещают применение того или другого набора правил, и, далее, также и фонологические компоненты, например, информация о том, что данная морфема является недавним заимствованием и, следовательно, характеризуется признаком «+ иностранное». В данном конкретном случае со словом *fish* в развернутом предложении, если это слово помечено как «+ множественное» на основе базисных правил, то лексикон потребует введения такого ограничения, которое не допустит включения морфы множественного числа S; это достигается при помощи последующего трансформационного правила: тот факт, что это множественное число, будет передан в случае введения семантического компонента.

Выход в данной базисной структуре обеспечивается затем двумя совершенно независимыми компонентами: с одной стороны, семантический компонент обеспечивает семантическую интерпретацию или «чтение»: любая информация, релевантная для семантического «чтения», должна, следовательно, определяться базисной структурой. С другой стороны, цепочка глубинной структуры должна подвергнуться некоторым трансформационным изменениям и приобрести звуковую или удобопроизносимую форму, прежде чем ее можно будет признать как предложение английского языка.

Для этого прилагательное *old* должно быть перенесено в позицию перед крайним левым *N*, а все другие элементы предложения, над которыми доминируют *NP*, должны быть вообще устранены. Определенные существительные *man* и *fish* требуют, далее, введения определенного члена *the*. Заметим, однако, что никакой информации, которая была бы релевантной для семантической интерпретации предложения, нельзя ни добавить, ни изъять. В частности, предложению можно было бы придать форму пассива только при том условии, что к базисным правилам будет добавлен элемент «пассив» как часть именно глубинной структуры. Остающийся узел переходности, маркированный признаком «+ прошедшее», реализуется в виде «-ed» и переносится на правую сторону глагола как суффикс. В результате этих трансформационных изменений, сопровождающихся последующими перестройками структуры, получается новое «дерево», воспроизводящее исходную «фразу»¹:



Так же как и в области фонологии, системе признаков и их матрицам должен быть придан универсальный характер, т. е. они должны явиться основой для работы с самыми разнообразными языками, в которых универсальные категории должны так или иначе реализоваться.

Но к чему же в плане языковедческом должна привести эта современная и совершенная методика? Иначе сказать: что должно дать раскрытие базисных фраз, глубинных структур, порождение трансформационных полей и т. д. человеку, занятому тем или другим естественным человеческим языком со свойственными ему способами и привычками выражения? Ответ, по-видимому, следующий: такая методика, по мнению ее авторов, ценна тем, что, отправляясь от некоторого алгоритма, пользуясь понятиями:

R — уровень, операнд, интерпретация, трансформы и т. д., лингвист получит, например, следующую серию предложений:

базисная фраза (или операнд?) — Поэт посещает деревню.

¹ Данные примеры с пояснением заимствованы из книги: Robert T. Harms. *Introduction to phonological theory*. N. Y., 1968.

Трансформы:

1. *Деревня, посещаемая поэтом.*
2. *Поэт, посещающий деревню.*
3. *Посещение поэтом деревни.*
4. *Посетитель поэтизирует деревню.*
5. *Поэтическая деревня посещается.*
6. *Посещаемый деревенский поэт...*

И т. д. (!). Это «И т. д.» следует, по-видимому, понимать так, что данными шестью словосочетаниями и предложениями (малый и большой синтаксис при этом не различаются, т. е. словосочетания и предложения идут вперемежку) далеко не исчерпываются трансформационные возможности данной базисной фразы. Как прямо указывают авторы, «лингвистический смысл второго требования к выполнимости Т-поля заключается в исследовании выводимости одних фраз естественного языка из других, т. е. в исследовании грамматической и лексической инвариантности» (цитир. произведение, стр. 241).

А rebours! Исследование ведется не от реальных фактов естественных языков, а от дедуктивно-гипотетического конструкта к его реализациям, манифестациям и трансформациям, якобы возможным в тех или иных естественных языках. А далее, — совершенно неразрешимые задачи и бесплодные (это стало теперь вполне ясным) мучения с определением «грамматичности», «приемлемости» и т. д. бесконечных рядов все более и более причудливых «порождений»!

К ВОПРОСУ О НАУЧНЫХ ШКОЛАХ И НАПРАВЛЕНИЯХ В ЯЗЫКОЗНАНИИ

До второй мировой войны у нас очень редко появлялись книги и статьи, посвященные истории языкознания. Чаще всего публиковались некрологи и небольшие юбилейные заметки, иногда краткие библиографические обзоры. Живой интерес к истории науки проявляла проф. Р. О. Шор, но ее работы в этой области были скорее исключением, нежели правилом. Положение коренным образом изменилось в послевоенный период. Еще во время войны, в 1944 г., Московский университет провел большую научную сессию, посвященную роли русской науки в развитии языкознания и других наук. Труды этой сессии были опубликованы и вызвали в свое время большой интерес. В Московском университете была создана специальная серия «Замечательные ученые Московского университета», в которой были опубликованы среди других очерки научной деятельности М. М. Покровского, В. Н. Щепкина, О. М. Бодянского, Ф. Е. Корша, Н. С. Тихонравова, Г. А. Ильинского, Р. Ф. Брандта, Г. О. Винокура, А. И. Смирницкого и И. Н. Розанова. Много было опубликовано различных материалов по истории науки за последние годы Ленинградским, Киевским, Казанским, Харьковским и другими университетами, главным образом в связи с различными юбилеями.

В настоящее время большое внимание истории науки уделяет Академия наук СССР. В Отделении литературы и языка была создана «Комиссия по истории филологических наук», которая осуществила ряд важных мероприятий по изучению истории языкознания, по изданию избранных трудов крупных лингвистов прошлого. Историографическая тематика теперь занимает уже большое место в исследовательских планах научных и педагогических учреждений нашей страны. Было защищено несколько диссертаций, опубликовано немало книг, статей и обзоров, посвященных различным фактам и событиям из прошлого русского и мирового языкознания.

К сожалению, труды по истории науки не пользуются особым вниманием критических отделов наших лингвистических журналов. А между тем многие опубликованные книги дают основания для серьезного разговора о задачах историографических монографий, о характере и принципах анализа научной деятельности крупнейших представителей дореволюционного языкознания, о приемах и методах изучения различных школ и направлений прошлого. В качестве примера могу указать на монографию Р. В. Кравчука «З історії слов'янського мовознавства» (Київ, 1961), на коллективные монографии «История русской диалектологии» (М., 1961) и «Очерки по истории изучения иранских языков» (М., 1962), авто-

ры которых полагают, что задача историка науки состоит лишь в простой регистрации внешних фактов.

Мы изучаем деятельность ученых прошлого не только для того, чтобы воздать им должное, определить роль деятелей науки в решении тех или иных проблем. Это изучение помогает нам лучше разобраться в современных проблемах, так как языкознание прошлого в скрытом виде живет и теперь. И к языкознанию относится знаменитый афоризм В. О. Ключевского: «Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а потому, что, уходя, не умело убрать своих последствий»¹. Мы гораздо сильнее и глубже связаны с языкознанием XIX в., нежели думают многие представители новейших течений, которые не имели времени ознакомиться с трудами своих предшественников. Ведь даже применение математических знаний в нашей науке имеет длительную историю еще в прошлом столетии.

В публикуемых работах по истории языкознания мы часто теперь встречаемся с желанием пересмотреть давно утвердившиеся положения. Сама по себе эта тенденция не может вызвать отрицательного отношения, так как, бесспорно, многое требует пересмотра и детального изучения на основе архивных материалов. Это относится, в частности, к Ф. Ф. Фортунатову, научная деятельность которого не получила до сих пор серьезного освещения. Мы причисляем к последователям Фортунатова лингвистов, которые не только стояли на разных методологических позициях, но глубоко различались своими интересами, методикой исследования, терминологией, своими взглядами на задачи современной им науки. Достаточно сослаться на «Введение в языковедение» В. К. Поржезинского и «Общее языковедение» А. И. Томсона. Авторы этих книг были близкими учениками акад. Фортунатова, сами причисляли себя к его ученикам, но, конечно, они представляли разные направления в истории русского дореволюционного языкознания. Об этом свидетельствуют не только указанные выше книги по общему языкознанию, но и все труды Поржезинского и Томсона. Аналогичных примеров можно привести много.

В 1968 г. в издательстве «Наука» вышла из печати монография Ф. М. Березина «Очерки по истории языкознания в России (конец XIX — начало XX в.)». Книга заслуживает серьезного разбора. В ней поставлены большие проблемы, есть интересные решения отдельных вопросов, много, однако, поспешных выводов и отдельных фактических ошибок. В данной статье, которую я посвящаю своему старому другу и товарищу по университету, — Р. А. Будагову, я, однако, затрону лишь некоторые вопросы, поставленные не автором книги, а автором обширного предисловия к ней, А. А. Леонтьевым. Они заслуживают этого.

А. А. Леонтьев много и основательно занимается историей языкознания. В центре его специальных интересов в этой области

¹ В. О. Ключевский. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., «Наука», 1968, стр. 323.

стоит И. А. Бодуэн де Куртенэ — ученый и человек. Это пристрастие легко понять и оправдать, так как данная тема дает неограниченные возможности для наблюдений и изучений сложной и противоречивой психической организации талантливого ученого-теоретика, тонкого аналитика, человека сильных эмоций и яркого темперамента.

А. А. Леонтьев утверждает, что «казанской лингвистической школы» не существовало. Доказывается это прежде всего тем, что ученики И. А. Бодуэна де Куртенэ плохо понимали идеи своего учителя, по ряду принципиальных пунктов теории расходились с ним, нередко теснее были связаны с Н. В. Крушевским, нежели с Бодуэном. «Не Бодуэн, трибун нового направления, далеко ушедший вперед от современной ему лингвистики, а талантливый недочка Крушевский ... оказался им более близок и понятен»², — пишет А. А. Леонтьев. В архиве Академии наук СССР А. А. Леонтьев обнаружил письмо Бодуэна акад. В. В. Радлову от 1886 года. Вот отрывок из опубликованной части письма: «Моя казанская деятельность — в лучшие годы: — была по большей части пустым сотрясанием воздуха и бессмысленным проведением времени. Вся так называемая казанская лингвистика — это просто вздор. Мои так называемые ученики по большей части лентяи и ни к чему не пригодны. И я, дурак, вместо того, чтобы делать свои собственные дела, убивал на этих господ 15 часов в неделю — а *cuī vopo?* Теперь я чувствую только угрызения совести и горькое разочарование»³.

Каждый историк науки вправе публиковать из архивов ученых любые материалы. Однако он должен заботиться о том, чтобы в печать не попало ничего случайного, написанного под горячую руку. Ведь сам же Бодуэн писал, что Крушевский, один из его казанских учеников, «данные логики и английской психологии ... основательно переработал и усвоил на пользу своей богато одаренной умственной организации»⁴, что «он за короткое время образовался в этой отрасли знания (в лингвистике. — С. Б.) столь всесторонне и столь основательно, что вскоре мог опереться на собственные силы и занять место в ряду самостоятельных исследователей человеческой речи»⁵. Бодуэн неоднократно называл Крушевского выдающимся лингвистом, писал, что он многому от него научился, что он возбуждал в нем самую творческую энергию: «Сам Крушевский также работал очень много и разумно, так что в течение года он сумел познакомиться с многими новыми работами и научными лингвистическими трудами... Из всего этого он всегда превосходно

² Ф. М. Березин. Очерки по истории языкознания в России (конец XIX — начало XX в.). М., «Наука», 1968, стр. 15.

³ Ф. М. Березин. Ук. соч., стр. 15.

⁴ И. А. Бодуэн де Куртенэ. Николай Крушевский, его жизнь и научные труды. «Избранные труды по общему языкознанию», т. I. М., ИЛ, 1963, стр. 199.

⁵ Там же.

умел выделить важное, отбрасывая второстепенное, и это важное использовать для дальнейшего самостоятельного мышления»⁶. Хорошо известно, что не всегда Бодуэн так положительно отзывался о своем ученике, многое в Крушевском раздражало его, он видел недостатки и слабые стороны своего ученика, в ряде случаев, очевидно, был несправедлив к нему. Все это так. Но как можно считать свое девятилетнее пребывание в Казани «бессмысленным проведением времени», если именно в это время под руководством Бодуэна здесь формировался один из выдающихся русских лингвистов второй половины XIX в.

Казанским учеником Бодуэна был также В. А. Богородицкий. Конечно, он не был крупным и самостоятельным теоретиком. Однако в истории русского языкознания он занимает свое место. Его многочисленные труды по экспериментальной фонетике, по русской грамматике, по сравнительной грамматике индоевропейских языков, по тюркологии явились значительным вкладом в науку. Богородицкий многие идеи Бодуэна творчески применил при изучении русского языкового материала (например, в учении о членении основ). «В. А. Богородицкий особенно плодотворно работал в области общих проблем морфологии слова. Ему принадлежат ясные и точные формулы, характеризующие значение и направление морфологических процессов «переразложения» и «упрощения», которые Н. В. Крушевским, а ранее и самим В. А. Богородицким, подводились под общее понятие «абсорбции», — пишет о нем В. В. Виноградов⁷.

Более скромное место в истории русского языкознания занимает С. К. Булич. Но и он оставил немало ценных трудов, которые во всяком случае не дают право историку языкознания писать о нем так неуважительно, как пишет А. А. Леонтьев.

Отрицая существование «казанской лингвистической школы», А. А. Леонтьев, однако, признает существование «школы Крушевского». Так, характеризуя В. А. Богородицкого, он пишет: «Богородицкий в первую очередь — лингвист школы Крушевского»⁸. И Булич, по мнению А. А. Леонтьева, стоял ближе к Крушевскому, нежели к Бодуэну. В этом есть доля истины. Нет сомнений, что Н. В. Крушевский оказал большое влияние на формирование взглядов молодых казанских лингвистов, на их интересы, на методику описания языковых фактов. Это был человек могучего интеллекта, большой силы воли, огромной работоспособности. Да ведь и сам Бодуэн не отрицал, что Крушевский оказывал на него известное влияние.

⁶ И. А. Бодуэн де Куртенэ. Николай Крушевский, его жизнь и научные труды. «Избранные труды по общему языкознанию», т. I, стр. 160.

⁷ В. В. Виноградов. Русская наука о русском литературном языке. «Роль русской науки в развитии мировой науки и культуры», т. III, кн. I. Изд-во МГУ, 1946, стр. 102.

⁸ Ф. М. Березин. Ук. соч., стр. 10.

Все эти давно известные факты отнюдь не говорят об отсутствии «казанской лингвистической школы». Они дают лишь основание утверждать, что в формировании этой школы большую роль сыграл не только Бодуэн, но и его молодые ученики и товарищи по университету. Во главе школы стоял, конечно, сам Бодуэн, но его ученики воспринимали взгляды своего учителя не пассивно: одни положения они признавали, от других отказывались, в ряде случаев самостоятельно развивали новые положения и принципы. Характеризуя В. А. Богородицкого, П. С. Кузнецов писал: «Значительную роль в формировании В. А. Богородицкого как ученого сыграл родоначальник казанской лингвистической школы профессор И. А. Бодуэн де Куртенэ. Следуя во многом своему учителю, В. А. Богородицкий шел, однако, самостоятельным путем, работая в ряде таких областей, к которым не обращался Бодуэн де Куртенэ. Некоторых положений последнего В. А. Богородицкий не разделял»⁹. В еще большей степени это можно сказать о Крушевском.

В своей известной статье «Казанский период профессорской деятельности И. А. Бодуэна де Куртенэ» В. А. Богородицкий, вспоминая молодые годы, писал: «В состав кружка входили Н. В. Крушевский, В. А. Богородицкий, С. К. Булич, А. И. Александров, Н. С. Кукуранов и нек. др., а к концу В. В. Радлов, перешедший затем действительным членом в Академию Наук. Я очень хорошо помню это светлое время, время общей (разрядка наша. — С. Б.) кипучей работы, и как памятны эти субботние лингвистические вечера, на которые каждый из участников спешил, неся для сообщения сработанное им за время истекшей недели. Так, формировалась в Казани лингвистическая школа, долго удерживавшая в литературе наименование «казанской»¹⁰.

При оценке роли Бодуэна в формировании данной школы не следует забывать, что впоследствии ни в Дерпте, ни в Польше, ни даже в Петербурге, где ученый работал почти два десятилетия и где воспитал несколько крупных лингвистов (например, М. Р. Фасмера и Л. В. Щербу), Бодуэн не сумел уже создать своей школы. Объяснить это можно только тем, что лишь в Казани он встретил молодых лингвистов, которые помогли ему создать одну из первых в России лингвистических школ. Сам Бодуэн не хотел этого признавать, ревниво оберегая свой приоритет в решении многих научных проблем. Не имея в Дерпте ни талантливых учеников, ни единомышленников, он в приступе часто посещавшей его меланхолии написал цитированное выше письмо акад. Радлову, в котором все свои неудачи пытался свалить на своих незадачливых учеников. А неудач было много. Слишком много было невыполненных пла-

⁹ П. С. Кузнецов. Василий Алексеевич Богородицкий (1857—1941). «Труды Института языкознания АН СССР», 1953, т. II, стр. 254.

¹⁰ В. А. Богородицкий. Казанский период профессорской деятельности И. А. Бодуэна де Куртенэ (1875—1883). «Prace filologiczne», t. XV, część druga, Warszawa, 1931, str. 466.

нов, много было написано случайного и поверхностного. Значительно позже, уже в 1902 г., Бодуэн писал: «Как вследствие неумения работать и сосредоточиваться, так и по обстоятельствам жизни, я разменялся на мелкие гроши и, вместо чего-нибудь цельного и заслуживающего внимания, сочинял какие-то осколки и обрывки»¹¹.

А. А. Леонтьев не без оснований резко критикует состояние истории лингвистической науки. Справедливо его утверждение, что данная дисциплина по сей день является чисто эмпирической. «Она констатировала те или иные явления, тенденции или влияния, совершенно не задаваясь вопросом, какие внутренние факторы обуславливают все эти явления и по каким специфическим законам протекает развитие»¹². Однако далеко не со всеми положениями Леонтьева можно согласиться. Это относится прежде всего к его толкованию научных школ. Вопреки многочисленным фактам А. А. Леонтьев решительно утверждает, что представители одной школы должны во всем придерживаться единых взглядов, пользоваться общими методами и принципами. Мне представляется, что он смешивает два различных явления: научную школу и научное направление.

О школе мы можем говорить в том случае, если группу ученых объединяет единство интересов в науке, некоторые общие взгляды на предмет исследования, пристрастие к некоторым специфичным сторонам предмета изучения, некоторые общие методические принципы, близость терминологии. Для славистов понятие «казанская лингвистическая школа» является совершенно реальным и осязаемым. Признаки этой школы в той или иной степени характеризуют не только непосредственных учеников Бодуэна, но и научное творчество Н. М. Петровского, А. М. Селищева и многих других ученых. Совершенно свободным от влияния этой школы был, например, профессор Казанского университета Е. Ф. Будде, который испытал известное влияние школы Фортунатова. И это легко показать на анализе любого произведения Будде.

Наиболее существенным и общим признаком «казанской лингвистической школы» является стремление строго разграничивать в языке факты физиологические и психические, синхронию и диахронию. Представители этой школы проявляют большой интерес к проблеме соотносительной хронологии, к морфологической структуре слова, к чередованиям, пытаясь впервые строго разграничить явления фонетические и грамматические, к изучению диалектов, к проблеме смешивания языков. Большое внимание «казанцы» уделяли грамматике русского литературного языка, орфографии, теории правописания. Это была в России одна из самых

¹¹ И. А. Бодуэн де Куртенэ. Заметка об изменяемости основ склонения, в особенности же об их сокращении в пользу окончаний. «Сборник статей, посвященных учениками и почитателями Ф. Ф. Фортунатову». Варшава, 1902, стр. 234.

¹² Предисловие к ук. соч. Березина, стр. 3.

«антифилологических школ», что особенно ярко отличало ее от других школ дореволюционной России, филологических по преимуществу. Примечательно, что «казанская лингвистическая школа» не дала ни одного крупного историка языка. В отличие от ученых «фортунатовской школы» здесь мало интересовались проблемой реконструкции «праязыка», скептически относились к «точным» фонетическим реконструкциям Ф. Ф. Fortunatova и А. А. Шахматова, полагали, что эти ученые и их последователи не учитывают значения и роли морфологических факторов. Я сознательно не включаю в характеристику данной школы учения о фонеме, так как здесь, в Казани, оно не получило развития.

Кроме школ, в языкознании существуют направления. Они-то и составляют основное содержание истории науки. Именно здесь в наиболее ясном и чистом виде мы можем наблюдать историю идей, методов и принципов науки. А. А. Потебня вошел в историю языкознания главным образом не как создатель «харьковской школы», а как родоначальник особого направления, которое получило наименование «потебнианства».

К ПРОБЛЕМЕ ОБЩИХ СЕМАНТИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ

«Хотя наиболее развитые языки имеют законы и определения, общие с наименее развитыми, но именно отличие от этого всеобщего и общего и есть то, что составляет их развитие»¹. Эти слова К. Маркса невольно вспоминаются при взгляде на развитие лингвистики за последние годы. Введение в широкий научный оборот материала языков, до того еще недостаточно изучавшихся, показало, что сколь бы ни были своеобразны эти языки — мертвые или живые — в них нет ничего такого, что не могло бы быть принципиально сопоставлено с категориями и определениями уже известных языков. Создается впечатление, что специфика языка формируется разным набором одних и тех же оппозиций, подобно тому как через посредство различных комбинаций дифференциальных признаков можно, по мнению Р. Якобсона, описать фонемный строй любого языка².

Таким образом, в современном языкознании все больше укрепляется мысль о необходимости выявления языковых универсалий — законов и определений, свойственных всем языкам. Но при этом не следует забывать и о второй стороне проблемы, о том, как конкретно проявляются эти всеобщие законы в отдельных языках. С. Ульман приводит ряд универсалий описательной (синхронной) и исторической (диахронной) семантики³. К последним он относит метафорический перенос понятий, расширение или сужение значения и табу. Этот список универсальных семантических исторических процессов следует считать неполным и случайным по составу. Прежде всего С. Ульман ставит в один ряд причины семантических сдвигов (табу) и сами формы семантических процессов (метафорический перенос, изменение объема значения слова). Эти два аспекта исторической семасиологии нередко смешиваются в трудах по семантике, а между тем их следует тщательно различать. Одна и та же причина (например, табу) может вызвать семантические переосмысления разных форм (метафора, метонимия, ухудшение значения слова и т. п.).

Ссылаясь на О. Есперсена, С. Ульман утверждает, что в изменении значений слов отражаются общие законы человеческого мышления. Если это так, а это, видимо, так и есть, то формы семантических процессов должны соответствовать формально-логическим отношениям между понятиями, которых в логике насчиты-

¹ К. Маркс. К критике политической экономии. М., Госполитиздат, 1953, стр. 195.

² Р. Якобсон. Значение лингвистических универсалий для языкознания. В кн.: В. А. Звегинцев. История языкознания XIX—XX вв. в очерках и извлечениях, ч. II. М., Учпедгиз, 1965, стр. 385.

³ S. Ullmann. Semantic Universals. «Universals of Language», Ed. by J. Greenberg, M. I. T. Cambridge (Mass.), 1963.

вается пять. Им соответствует пять основных семантических процессов: синонимическое развитие значений, смещение, энантиосемия, расширение или сужение (включая сюда ухудшение или улучшение значения), перенос (метафорический или метонимический). Такого рода семантические процессы обнаруживаются во всех языках, всюду, где имеет место смена названий или изменение значения слова.

Но тот факт, что общие семантические процессы свойственны всем языкам, не значит, что они занимают в них одинаковое положение. Специфика структуры языка определяется двумя факторами: а) особенностями в использовании языковых универсалий; б) наличием «неуниверсальных» явлений. При этом роль первого фактора оказывается значительно больше, чем это кажется на первый взгляд. Подобно тому как специфика функционального (или индивидуального) стиля зиждется в большей степени на количественном и качественном преломлении общеязыковых явлений, свойственных всем стилям, нежели на использовании особых средств, так и специфика отдельно взятого языка заключается более в качественно-количественной специфичности универсальных законов и явлений, чем в наличии особых, только этому языку свойственных определений и категорий.

В связи с этим большой научный и практический интерес представляет сопоставительное изучение проявления одной и той же семантической универсалии в разных языках. В качестве примера возьмем метафору. Это действительно один из универсальных семантических процессов языка. В свете современной науки не раз высказывавшееся мнение о том, что метафора относится к «дологическим» стадиям мышления и свойственна «первобытной конкретной» речи, следует признать поспешным и необоснованным. Метафора представляет собой первую форму абстрактного мышления, причем первую не только в филогенетическом плане, но и в том смысле, что именно к ней прежде всего обращается сознание человека в акте номинации⁴. Рассматривая языковую метафору в сопоставительном плане, необходимо учитывать методологическое замечание, высказанное Р. А. Будаговым: «Теоретические доводы убеждают в том, что соотношение между логическим и чувственно-экспрессивным элементами в слове может иметь место в самых различных языках и никакие умозрительные соображения не могут выдвинуть в этом плане один язык за счет другого. Практические же доводы сводятся к тому, что сравнительная «метафоричность» языков ... почти совершенно не изучена, поэтому всякие категорические утверждения, без предварительного «сплошного» изучения соответствующей лексики, неизбежно обречены на неудачу»⁵. Действительно, заключения о различной метафоричности

⁴ Ср. T. Vianu. Problemele metaforiei. «Problemele metaforiei și alte studii de stilistică». București, 1957, p. 27.

⁵ Р. А. Будагов. Сравнительно-семасиологические исследования. Романские языки. Изд-во МГУ, 1963, стр. 83.

языков, приводимые в сопоставительных стилистических, основываются на отдельных фактах, так что читатель всегда может предложить примеры противоположного характера.

Сопоставлять языковые факты можно, с одной стороны, — в системе (на уровне языка) и в реализации (на уровне речи), с другой, — в семасиологическом или в ономазиологическом плане. Количественный анализ в ономазиологическом плане текстов и словарей показал, что во французском языке метафоризация как средство формирования наименований используется чаще, чем в русском. При создании технических терминов французский язык нередко использует метафорическое обозначение там, где русский — функциональное. Это связывается с преимущественным развитием отыменного словообразования во французском языке и отглагольного — в русском. В речи французский язык часто прибегает к метафорическому обозначению (даже к полустертой метафоре) там, где русский язык использует прямое наименование⁶. Представляет интерес анализ переносных метафорических значений у целых универсальных типов метафорических переносов.

В цитированной выше статье С. Ульман отмечает четыре универсальные тенденции в области метафорического переноса: 1) закон Шпербера; 2) антропоморфизм; 3) переход от конкретного к абстрактному; 4) синестезия. Во французском языке каждая из этих тенденций приобретает своеобразное преломление. Рассмотрим более подробно первые две.

Закон Шпербера гласит, что если в данное время какой-либо комплекс идей имеет большое значение в жизни данного общества и одно слово из этого круга идей изменило значение, то и другие слова того же семантического поля следуют за этим словом. С другой стороны, понятия этого комплекса идей постоянно притягивают к себе новые наименования.

Для французского языка закон Шпербера чрезвычайно характерен, и не случайно он был установлен Шпербером на материале французского военного аргю. Эта закономерность проявляется, например, в развитии французской фразеологии.

Охота, бывшая важным занятием в средние века, оставила множество фразеологических выражений во французском языке: *être aux abois, donner rendez-vous, aller sur les brisées de qn; prendre dans ses filets, lâcher prise* и др.

В современную эпоху огромную роль в повседневной жизни Франции играет автомобильный транспорт. Не случайно в языке появляется все больше метафорических речений, взятых из этой сферы: *changer de vitesse, faire marche arrière, donner le feu vert, tomber en panne, ça roule, ça gaze* и др. Многие глаголы, обозначающие действия, «связанные с механизмами, получили метафорические значения, ставшие более употребительными, чем их прямые значения: *débrayer, démarrer, stopper, renverser la vapeur* и т. д.

⁶ См. В. Г. Гак. Беседы о французском слове. М., «Международные отношения», 1966, стр. 94—102.

С другой стороны, для обозначения действий механизмов, их свойств и частей используются слова из других понятийных сфер, в частности те, что обозначают действия живых существ.

Одним из фундаментальных отношений, с которым в первую очередь сталкивается человек, воспринимающий объективную реальность, являются пространственные отношения, отражающие координацию сосуществующих объектов⁷. Пространственные отношения доступны непосредственному зрительному восприятию и связаны с движениями самого отражающего существа⁸. Пространственные отношения — постоянный фон, на котором разыгрываются действия человека. Не случайно их номинация занимает большое место в человеческом языке. Историческая семасиология показывает, что выражение пространственных отношений нередко лежит в основе выражения иных отношений: принадлежности, времени и далее — причины, противопоставления и других. И в наше время языковые элементы, обозначающие пространство, легко подвергаются переносному использованию для выражения самых различных значений. Правда, Ж. Маторе показывает, что усиление социального момента в жизни общества вызвало изменение в представлении о пространстве, которое выступает прежде всего, как «место встречи», «общая зона, где может происходить обмен»⁹. Это в свою очередь стимулировало метафорическое использование слов, связанных с понятием пространства и обозначающих структуру пространства: координаты (*ligne, axe, droite, gauche, vertical, horizontal, palier, centre, cadre, polarisation, marge, surface, plan, niveau, plateforme, position, base, sommet, sphère*), движения (*approche, baisse, mouvement, passage, impasse, convergence, divergence, promotion*), восприятия пространства (*aspect, regard, tour d'horizon, point de vue, repère, perspective*), субъективные ощущения, вызываемые данным пространством (*milieu, climat, atmosphère, ambiance*). Пространственные метафоры наводняют страницы газет¹⁰, бытовую речь, используются при построении философских и эстетических систем. В разговорной французской речи, например, количество (цены, денежные суммы, заработная плата) обозначается при помощи переноса употребления слов и оборотов с пространственным значением (ср. русск. *около 100 рублей*). Например, *ça va chercher dans mille francs; Ça dépassera cent francs; Nous pouvons vous prêter un million de francs et au-delà (R)*¹¹.

⁷ «Философия естествознания». М., Политиздат, 1966, стр. 139.

⁸ А. А. Зиновьев. Основы логической теории научных знаний. М., «Наука», 1967, стр. 212.

⁹ G. Matoré. L'espace humain. Paris, 1962.

¹⁰ Отметим в качестве примера, что континентальная Франция все чаще именуется hexagone, т. е. «шестиугольник».

¹¹ R — Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française par Paul Robert. Paris, 1966. DFC — Dictionnaire du français contemporain par J. Dubois et autres. Paris, 1966; FF — записи французской разговорной речи, произведенные научно-методическим центром КРЕДИФ для разработки Le Français fondamental; СРЯ — Словарь русского языка в 4-х томах. М., ГИС, 1957—1961.

...Si bien que maintenant nous sommes *en dessous* du coût de la vie (FF); Il faut que je compte au moins pas *loin* de cinq mille francs de papier (FF).

Проявление закона Шпербера во французском языке облегчается еще и тем, что этому языку в высшей степени свойственна метафорическая «радиация синонимов», иначе говоря, групповой перенос значений слов. Вслед за одним словом, другие слова той же лексико-семантической группы начинают приобретать аналогичное переносное значение. Так, в русском языке для обозначения «головы» в разговорной речи используются метафорические наименования посуды: *котелок* или реже *черепок*. Во французском просторечии для этого используется более длинный ряд слов того же семантического поля: *carafe, carafon, cafetière, bouillotte, tégilire*. Голова может обозначаться в просторечии не только словом *poïte* «груша», но названием чуть ли не любого овоща или фрукта: *chou, citron, calabasse, coloquinte, coco, ciboulot* и даже *cassis*. Слово «лапка» входит в состав некоторых ботанических названий: *кошачья лапка, гусиные лапки*. Во французской народной ботанической терминологии имеется также *piéd-de-chat* и *patte-d'oie*, но кроме того, еще несколько десятков наименований, основанных на метафоризации «лап» и «лапок» различных животных (*ped-de-mouche, patte-de-lour* и т. п.¹²). Легкость однотипного переноса слов одной и той же лексико-семантической группы свидетельствует о меньшей четкости семантических границ между членами этой группы.

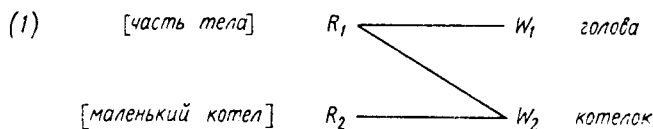
Остановимся более подробно на антропоморфизме, который, как отмечает Ульман, имеет две стороны: перенос наименований, связанных с человеком, на иные предметы и явления (*ручка двери*) и перенос наименований других объектов и процессов на действия человека и части его тела (*глазное яблоко*). Первое явление наблюдается чаще, и это становится вполне понятным в свете упомянутого выше закона Шпербера. В центре внимания человека находится он сам, и отсюда его стремление описывать окружающий мир по «образу и подобию своему». Мы рассмотрим антропоморфные метафорические наименования во французском и русском языках. Поскольку нас интересует не авторская, а языковая метафора, в качестве материала исследования используются словари. Отдельные примеры приводятся из записей французской разговорной речи и из художественной литературы. Однако прежде чем приступить к анализу материала, остановимся на некоторых семантических аспектах метафорического переноса.

Язык представляет собой целенаправленное орудие общения¹³. Это означает, что любой языковой элемент (например, W_1)

¹² P. Guiraud. Structures étymologiques du lexique français. Paris, 1967, pp. 164—169.

¹³ Целенаправленность языка подробно разработана лингвистами пражской школы. См. «Пражский лингвистический кружок». Тезисы Пражского лингвистического кружка. М., 1967.

создается для обозначения определенного элемента реальности (R_1), либо для выполнения какой-либо определенной внутриязыковой функции. Соответственно элемент W_2 возникает для обозначения R_2 . Отношения $R_1—W_1$, $R_2—W_2$ являются отношениями прямой собственной номинации. При этом наименования W_1 и W_2 употребляются в своем основном, первичном, прямом значении, а денотаты R_1 и R_2 получают прямые наименования. Языковые формы в конечном счете отражают связи между предметами и человеческими понятиями о них. Если денотаты R_1 и R_2 окажутся в какой-либо постоянной или окказиональной предметно-логической связи, то для названия R_1 может быть использовано наименование W_2 . Например, R_1 «соответствующая часть тела» обозначается словом *голова* (W_1), R_2 маленький котел — словом *котелок* (W_2). Люди отмечают внешнее сходство между двумя предметами, вследствие чего W_2 приспособливается для обозначения R_1 . Происходит перенос значения слова:

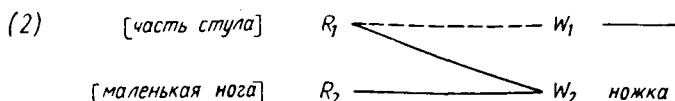


Отношение $R_1—W_2$ есть отношение косвенной несобственной номинации. По отношению к R_1 название W_2 употребляется в своем неосновном, вторичном значении, причем с R_1 оно связывается косвенно — через сходство двух предметов R_2 и R_1 . Вместе с тем в отношении номинации $R_1—W_2$ предмет R_1 получает не свое основное наименование, которое создано специально для него, но другое, «чужое» название. Схема объясняет и эффект образности метафорических переносов. Образность есть совмещенное видение двух картин. Отношение $R_1—W_2$ словно накладывает один на другой два образа: $R_1—W_1$ («голова») и $R_2—W_2$ («котелок») ¹⁴. Эта совмещенность образов отмечается как в семасиологическом плане (угол $R_2W_2R_1$) — возможность одного слова (W_2) обозначать одновременно два разных предмета (R_1 и R_2), так и в ономасиологическом (угол $W_1R_1W_2$) — способность одного предмета получать два разных обозначения.

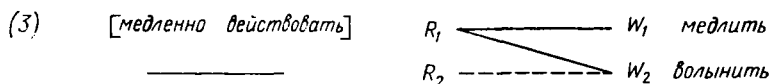
Резюмируя сказанное выше, можно отметить, что метафора есть определенного рода отношение между тремя отношениями наименования: R_1W_1 , R_1W_2 и R_2W_2 . В системе языка изображенное

¹⁴ П. Гиро говорит здесь о печатании одного образа поверх другого (surimpression). P. Guiraud. La Sémantique. Paris, 1964, p. 40.

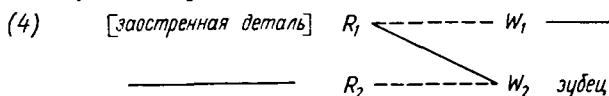
выше отношение прямой и косвенной номинации может претерпевать различные изменения.



В этом случае переносное обозначение W_2 является единственным обозначением предмета R_1 . Однако метафорический характер наименования полностью сохраняется благодаря противопоставлению косвенного наименования R_1W_2 прямому R_2W_2 . Такую метафору можно назвать односторонней семасиологической метафорой.



Здесь распадается связь R_2W_2 вследствие забвения реалии, первоначально обозначавшейся формой W_2 , или же ее переименованием. W_2 обозначает только R_1 , но сохраняет свойства косвенной переносной номинации благодаря противопоставлению его прямой номинации R_1W_1 . Такое обозначение можно называть односторонней ономасиологической метафорой. Она часто отмечается у фразеологических выражений, не имеющих прямого значения. Например, *быть на седьмом небе* в настоящее время не связывается с прямым значением этого выражения, и его образный характер подчеркивается противопоставлением необразному обозначению той же ситуации: *чувствовать себя очень счастливым*.



В этом случае номинация R_1W_2 не противопоставляется прямым номинациям, и ее метафорический характер прослеживается лишь этимологически.

Образность в случаях (2) и (3) ослабляется и в (4) она может совсем исчезнуть, так что сохраняется лишь общая эмоциональная окраска обозначения.

На семантическом уровне перенос наименования с предмета R_2 на предмет R_1 заключается в субституции одних семантических компонентов другими. Этот процесс может сопровождаться или не сопровождаться изменениями в лексеме. В первом случае наименование W_1 по структуре не отличается от наименования W_2 . Например: *зуб* (часть тела) → *зуб* (пилы); *хвост* (часть тела) → *хвост* (очередь). Такие переносные наименования будем называть полными, к ним относятся отмеченные выше случаи (1), (2), (3). В них новое наименование целиком мотивировано исходным.

Во втором случае переход от W_1 к W_2 сопровождается изменением во внешней форме обозначения: простое слово может замениться производным и т. п. Например: *зуб*→*зубец*; *хвост*→*хвостовик*. Такие переносы можно называть частичными, так как W_2 не полностью мотивировано исходным наименованием.

Таким образом, вырисовывается общая типология метафорических номинаций:

А. Полный метафорический перенос:

- а) двусторонняя метафора;
- б) односторонняя семасиологическая метафора;
- в) односторонняя ономасиологическая метафора.

Б. Частичный метафорический перенос.

Относительная употребительность в языке тех или иных видов метафор является его типологической характеристикой в области использования переносных наименований.

В. Скаличка считает, что у метафоры не может быть формального признака¹⁵. В отношении лексических метафор это не совсем верно. Языки создают формальные средства образования переносных наименований. В области метафорических номинаций такими являются различные способы выражения уподобления и сравнения: суффиксы ~*образный*, ~*видный*, ~*forme*, ~*morphé*, конструкции со служебными словами: *en, de (tube en U), в виде*; уменьшительные суффиксы, используемые в технической терминологии (*aillette, глазок*).

Еще более существенным формальным признаком метафоры является дистрибуция языковых элементов в речи. Метафора реализуется в синтагме. Одним из общих законов построения высказывания является семантическое согласование, т. е. наличие у компонентов синтагмы общих сем. Так, глагол, обозначающий специфические действия или состояния одушевленного существа (например, «спать», «кричать», «есть»), в прямом значении должен сочетаться с одушевленным подлежащим, содержащим ту же сему. Если же он сочетается с неодушевленным подлежащим, то это свидетельствует о его переносном употреблении (ср. у Ж. Ренара. *Боль уснула и храпит*).

Сема представляет собой отражение в значении слова определенной различительной черты объективной реальности. Если слово применяется для обозначения элемента действительности, не обладающего данной различительной чертой, то соответствующая сема не реализуется, устраняется из семантической структуры данного слова, которая реорганизуется вокруг другого, потенциального, семантического компонента, в связи с чем слово переосмысливается. Например, семантическую структуру слова *лиса* можно представить как сочетание категориальной архисемы А («одушевленное существо»), родовой семы В («животное»), видовой диффе-

¹⁵ В. Скаличка. О переносных значениях в грамматике. «Езиковедски изследованиа в чест на академик Стефан Младенов». София, 1957, стр. 515.

ренцирующей семы b_1 («животное с определенными биологическими признаками» — *vulpes*), потенциальной семы C (приписываемое лисе качество — «хитрость»). При использовании этого слова для обозначения человека, который не обладает различительными чертами B и b_1 , эти семы B и b_1 не реализуются и в качестве ведущей дифференцирующей семы выступает дополнительная C («хитрость»). Также и при переосмыслении глагола *есть* его основная сема «принимать пищу» устраняется и на первый план выходят семы, отражающие разные частные или второстепенные стороны этого процесса («кусать», «грызть», «проглатывать» и др.).

В целом в семантическом плане языковой антропоморфизм может быть определен как устранение семы «одушевленность», в связи с чем слова, обозначающие свойства и действия человека (и шире — живых существ), используются для обозначения проявлений неодушевленных предметов.

С одушевленным лицом (человеком) неразрывно связаны такие явления и понятия, как «питаться», «говорить», «жить» и «умирать», родственные отношения.

Рассмотрим переносные наименования в русском и французском языках у слов, обозначающих эти действия и свойства.

Глаголы *manger* и *есть* получают следующие метафорические употребления при устранении семы «субъект — одушевленное существо».

Переносные значения (при неодушевленном субъекте)	<i>есть</i> (примеры из СРЯ)	<i>manger</i> (примеры из R)
1. разрушать, раздражать	<i>Кислота ест посуду. Дым ест глаза (=разъедать)</i>	<i>Plaque de fer mangée par la rouille. Peau mangée d'ulcères.</i>
2. мучить, не давать покоя	<i>Его ела грусть (=снедать, грызть)</i>	<i>Etre mangé par la maladie (= ronger, dévorer).</i>
3. потреблять, уничтожать	<i>Все капиталы съела мельница (=жрать)</i>	<i>Ce foyer mange beaucoup de houille. La matinée a été mangée par la correspondance.</i>
4. закрывать, делать невидимым	—	<i>Visage mangé par la barbe.</i>

Таблица позволяет сделать ряд выводов.

В русском языке отмечаются частичные метафоры, т. е. глаголы, отличающиеся морфологически от тех, что используются и в

прямом значении: *разъедать, снедать*. Во французских примерах все метафоры полные.

Основная семантическая ось русских переносных наименований — значения 1 и 2: *есть* → «грызть, причинять раздражение, разрушать». В этих значениях глагол *есть* употребляется чаще, чем *manger*.

Основной семантической осью французских переносных наименований являются значения 3 и 4: *manger* → *faire disparaître* («уничтожать, делать невидимым»).

Например, в текстах:

Il m'a dit que, comme le moteur était pratiquement refait, elle ... elle mangeait pas d'huile (FF).

В значении 3 *manger* может сочетаться метонимически и с одушевленным субъектом (ср. русск. *вы потребляете, у вас уходит*):

Vous mangez beaucoup d'huile? — Moyennement, un demi-litre aux 100 (Daninos).

От значения 3 («уничтожать») глагол переходит к значению 4 («занимать место, покрывать, делать невидимым»):

Le compte rendu de la Chambre nous mange un sacré morceau de la «une» (Romains). Ça ne mange pas de place (Romains). Les yeux lui mangent la figure. Navire mangé par les lames. La haute église mangée par le lierre (R).

Таким образом, в метафорических переносах французский глагол заходит дальше русского. Глагол *есть* даже при переносе сохраняет значение воздействия на предмет, приводящего к изменению последнего. Французский глагол *manger* в конечной точке метафорической эволюции обозначает пространственные отношения: движение извне внутрь (значение 3), исчезновение одного предмета за другим (значение 4).

Boire — *пить*. Французский глагол *boire* при неодушевленном субъекте также получает значение «поглощать, уничтожать». Le soleil boit la rosée. L'éponge boit (R). В русском языке эти значения передаются не глаголом *пить*, который согласно СРЯ, не употребляется с неодушевленным объектом, но производными глаголами *впитывать, втягивать*. Так же как и в предыдущем случае, во французском языке переносные обозначения совпадают по форме с прямыми («полный перенос»), а в русском — они морфологически различаются («частичный перенос»).

Глаголы *есть* и *пить* показывают поглощение пищи. Обратимся к глаголам обратного действия, обозначающим извержение наружу.

Cracher — *плевать*. Если СРЯ не фиксирует ни одного употребления глагола *плевать* с неодушевленным субъектом, то французские словари специально отмечают значения глагола *cracher*, связанные с неодушевленным субъектом («выбрасывать», «извергать»): Ce stylo crache (R). Volcan qui crache de la lave (R). Cracher des projectiles, de la fumée (DFC).

Baver — *пускать слюни*. Французский глагол имеет особые значения при неодушевленном подлежащем («растекаться»): L'encre a bavé (R).

Vomir — *вырвать* при сочетании с неодушевленным субъектом значит «извергать»: Le volcan qui vomit de la lave (R).

Глагол dégueuler имеет аналогичное переносное употребление: D'ailleurs, il dégueule, le gicleur (FF).

Итак, прямые русские соответствия перечисленных французских глаголов с неодушевленными субъектами не употребляются. Переносные значения французских глаголов передаются либо глаголами частичной метафоричности (*изрыгать*), либо неметафоричными глаголами (*брызгать, извергать*). Общий знаменатель переносных употреблений этой группы французских глаголов может быть определен как «выбрасывать, делать видимым, обнаруживать».

Если глаголы типа manger и boire в своем конечном метафорическом развитии обозначают движение извне внутрь, то глаголы группы cracher, vomir, dégueuler указывают на противоположное движение — изнутри наружу.

Vivre — *жить*. Оба глагола имеют примерно одинаковый круг переносных употреблений. Они оба сочетаются с неодушевленными подлежащими: Son souvenir vit en nous (DFC). *Память о нем живет в наших сердцах*. Однако нередко французский глагол vivre употребляется в тех контекстах, где по-русски был бы использован скорее глагол *существовать*, а не *жить*. Напротив, глаголы mourir и *умирать* различаются по своей семантической структуре. Русский глагол сочетается с неодушевленными субъектами, метонимически соотносящимися с одушевленным существом: чувства, воспоминания, обычаи и др. (см. примеры в СРЯ). Французский глагол mourir может соединяться с неодушевленными субъектами, не имеющими отношения к одушевленному существу. Например: Le jour meurt. Une fusée (une balle) qui meurt. Les vagues viennent mourir sur la plage (DFC). Le feu, la flamme meurt. Bruit qui meurt (R). В русском языке этим употреблениям глагола mourir соответствуют частичные метафоры (*замирать, отмирать*), либо переносные употребления глаголов, не связанных в прямом значении с неодушевленными субъектами (*уеасать* и др.). Прилагательное *мертвый* имеет целый ряд переносных значений, но все они так или иначе связаны с понятием «жизнь»: «безжизненный, лишенный движения, далекий от жизни». Французское прилагательное mort в своих метафорических употреблениях заходит дальше и характеризует предметы, непригодные к дальнейшему употреблению. Ср. Les pneus sont morts (DFC); Elle est morte, hein, ta pile? (FF).

Dormir — *спать*. Глагол *спать* относится исключительно к одушевленным субъектам (*человек спит*) и субъектам, включающим в свой состав одушевленные существа (*город спит; природа спит*), или же к субъектам, составляющим часть одушевленного существа

(*ум спит; спят желания*). Все эти употребления свойственны и глаголу *dormir*, но, кроме того, он приобретает переносное значение «оставаться неподвижным или непроизводительным», сочетаясь при этом с подлежащими, не связанными с одушевленными существами как часть с целым. Например: *Le capital qui dort* (DFC). *Le reste du temps la bagnole dort devant chez lui* (San-Antonio). («Остальное время машина стоит у его дома»).

Глаголы восприятия: *regarder* — *смотреть*. Оба глагола соотносятся с неодушевленным подлежащим в значении «быть обращенным»: *Cette maison regarde le Midi* (DFC). *Этот дом смотрит на юг*. Однако французский глагол развивает переносное значение «относиться», отсутствующее у его русского аналога: *Les autres soins regardaient Thérèse* (Zofa).

Voir — *видеть*. Русский глагол *видеть* во всех оттенках значения связывается с одушевленными субъектами либо с субъектами, включающими в себя одушевленные существа. Французский глагол имеет более широкую сочетаемость, соединяясь, в частности, с подлежащим, указывающим на время протекания события: *Les dernières années ont vu se dérouler à travers le monde de grandes manifestations contre la guerre au Vietnam* (Humanité).

Глаголы *говорения*. В переносном употреблении они чаще, чем соответствующие русские глаголы, обозначают соответствие (*dire*), несоответствие (*crier, juger, hurler*) и другие отношения. Некоторые примеры: *Le jardinage ne me dit pas grand-chose* (FF). *La tendresse des gestes jurait avec le réalisme des propos* (Lanoux). — *Tes fesses t'en reparleront longtemps* (Bauër).

Родственные отношения. Слова этой лексико-семантической группы метафорически обозначают различные связи и отношения, нередко локального характера. При этом сема неодушевленности заменяет сему одушевленности в объекте.

Marier — *женить*. Французский глагол означает метафорически «объединять, сочетать, смешивать»: *Marier les couleurs*. *Marier la vigne à l'orgeau* (R). *Mariage* (букв. «брак») значит «сочетание»: *Heureux mariage de mots* (R). Характерно, что русские слова *сочетать, сочетание*, происходящие от *чета*, употребляются лишь в переносном смысле и при обозначении вступления в брак требуют дополнения: *бракосочетание, сочетаться браком*. И в этом случае прямое и переносное обозначения морфологически различаются в русском языке и не различаются во французском.

Epouser — *выходить замуж, жениться*. Французский глагол метафорически обозначает присоединение к чему-либо: *Epouser les idées d'un ami*. *Epouser une grande cause* (R). Он может также значить «прилагать к»: *Robe qui épouse les formes du corps*. *Route qui épouse les découpures de la côte* (R).

S'apparenter — *породниться*. Французский глагол метафорически значит «быть схожим»: *Ces deux teintes s'apparentent bien* (R) — *La plupart de ces vases, comme forme, s'apparentent tellement étroitement à ceux de Bourgogne* (FF).

Mâtiné — *нечистой породы*. Французское слово в переносном употреблении значит «смешанный с»: Il écorche un français mâtiné d'espagnol (Lapoux).

Итак, отмеченные термины родственных отношений при устранении семы «одушевленность» переосмысляются и обозначают отношение в более общем плане: соединение, присоединение, сходство.

Лексема divorce — *развод* при метафоризации указывает на противоположное действие: разъединение, расхождение: Il y a divorce entre la théorie et la pratique (R).

Основные термины родства (*мать, отец, сын, дочь* и т. п.) при устранении семы «родственное отношение» в русской разговорной речи располагаются по семантической оси «возраст». Слова *отец* и *мать* прилагаются к людям старше говорящего, *сын* и *дочка* — к людям более младшего возраста, *брат* и *сестра* — к людям примерно того же возраста, что и говорящий. Но при этом переосмыслении, так или иначе, термины родства остаются в круге наименований, относящихся к одушевленным существам. Во французском языке термины родства значительно реже используются в указанном выше переносном значении, но намного чаще, чем их русские соответствия, употребляются в переносных значениях, относящихся к неодушевленным предметам. Так как термины родства обозначают отношение между двумя одушевленными субстанциями, то этот перенос на семантическом уровне выражается в устранении семы одушевленности либо в обеих, либо в одной из субстанций. Французские словари фиксируют как одно из значений слов *père* и *mère* «источник», «причина». При этом у слова *mère* это значение более употребительно. Особенно характерно переосмысление *mère* в научно-технической терминологии, где это слово обозначает главную или исходную субстанцию *maison mère, langue mère, fusée mère, l'idée mère d'un ouvrage*. Слово *paternité* при устранении семы одушевленности у второго члена отношения означает не «отцовство», но «авторство»: Il revendique la paternité de ce projet (DFC). Если слова *mère* и *père* метафорически обозначают предшествование, то *filles, fils, filiale* — последовательность, следствие, *frère* и *sœur* — связь между двумя предметами, *jumeaux* — сходство двух предметов, например: *Lits jumeaux. De petites maisons jumelles bordent l'avenue* (DFC). Таким образом, при переосмыслении термины родства во французском языке приспособляются для выражения различных отношений (причина, следование, сходство), крайним типом которых являются отношения локального характера. Пространственно-относительный характер приобретают переносные значения слов, указывающих на части тела: *tête* (верхняя или передняя часть предмета), *piéd* (нижняя часть), *sœur* (центральная часть), *dos* (обратная сторона) и т. п.: *au cœur de l'été; la tête de l'arbre; le piéd d'un mur; le dos d'une lettre*. Русский язык в аналогичных случаях нередко использует частичные метафоры: *сердцевина, подножие* и др.

Наш краткий обзор слов одного лишь семантического поля показывает, что даже такая семасиологическая универсалия, как антропоморфизм, по-своему преломляется в каждом отдельном языке. Антропоморфные языковые метафорические переносы во французском языке характеризуются следующими чертами по сравнению с русским языком:

в структурном плане — большим удельным весом полных метафор, при которых прямое и переносное значение выражается в одном и том же слове. В русском языке обнаруживается сравнительно большее число частичных метафор, при которых перенос значения сопровождается изменениями в форме слова;

в семантическом плане — более широким антропоморфизмом.

Во французском языке более широкий круг слов, нежели в русском, развивает переносные значения такого порядка. Это свидетельствует о менее прочной связи сем в семантической структуре французского слова. В семантическом плане антропоморфизм во французском языке характеризуется также большим, чем в русском языке, смысловым расхождением между прямыми и переносными значениями слов. От описания действий и качеств живых существ французские лексемы переходят к выражению различных отношений и связей, крайним завершением которых оказываются пространственные отношения. Это обстоятельство можно рассматривать как еще одно проявление закона Шпербера: не только пространственные лексемы широко используются в переносном значении (см. выше свидетельство Ж. Мэторе), но и слова других групп, в частности те, что обозначают действия и качества одушевленных существ, метафорически привлекаются для выражения локальных отношений.

СЛОВА И ПРЕДМЕТЫ
(к вопросу о школах в семасиологии)

Мы переживаем период, когда лингвисты с большим вниманием пересматривают научные направления прошедших эпох, вскрывая их недостатки и вместе с тем заново оценивая их заслуги. Я хотел бы в этой статье еще раз рассмотреть концепции двух научных школ, которые, придерживаясь противоположных точек зрения, имеют то общее, что обе они интересуются отношением между языком и действительностью, отражаемой языком.

Первая из этих школ получила название «Wörter und Sachen», чем как бы подчеркивается особый интерес, который она проявляет к этому вопросу. Языковеды, объединившиеся вокруг журнала, который в качестве названия взял упомянутое немецкое выражение, отводят предмету приоритет над словом в том смысле, что они прежде всего интересуются предметами, а затем уже словами, обозначающими эти предметы. Можно вспомнить об одном лингвисте — представителе этой школы, который с целью изучения пастушеской терминологии заставлял себя проводить долгое время в овчарне и не раз, в течение многих месяцев, жил вместе с пастухами. Разумеется, он мог избежать таким образом кое-каких фактических неточностей, но все же возникает вопрос, стоило ли это делать. Мы отнюдь не собираемся рекомендовать кому-либо строить теории о вещах, в которых он не сведущ, но вряд ли целесообразно тратить несколько лет жизни, чтобы выяснить некоторые подробности, касающиеся в конце концов весьма второстепенной области науки.

Теория «Wörter und Sachen» делает упор на конкретный аспект языка, а между тем его абстрактный аспект представляет несомненно больший интерес, хотя вместе с тем и большие трудности для исследователя. Кроме того, сторонники этой теории, чрезмерно интересуясь обозначаемыми предметами, забывают, что между предметами и словами вклинивается психическая деятельность говорящих. Это значит, что они проходят мимо чувств говорящих субъектов, мимо субъективных психологических факторов, которые являются источником различных оттенков значений, приобретаемых словами, а нередко также и источником различных изменений. Общеизвестно, что один и тот же предмет можно обозначить разными способами, даже противоречащими один другому, в зависимости от настроения говорящих.

Как бы то ни было, в деятельности группы «Wörter und Sachen» следует видеть положительное явление в развитии нашей науки первой половины XX в. Это направление способствовало укреплению связи лингвистики с окружающей действительностью, что позволило устранить из области этимологии пагубные послед-

ствия различных фантастических домыслов. Достаточно сослаться в качестве примера такого субъективного толкования на этимологию, выводящую фр. *lapin* «кролик» из *lapere* «лакать» (см. замечания А. Мейе, BSL, XXVII, I (81), 1926, стр. 122—123). Было бесполезно напомнить лишний раз, что язык представляет собой общественное явление и что он зависит от контакта между человеком и миром, в котором человек живет.

Вторая школа, на которой я хочу остановиться, — семантическая. Она отводит слову приоритет над предметами и стремится заниматься словами, игнорируя предметы, которые эти слова обозначают. Приверженцы этой концепции признают реальный субстрат только у слов, обозначающих физические объекты; отказываясь же видеть реальный субстрат у слов, обозначающих отвлеченные понятия, они отдают на деле приоритет языку. Более того, эта теория стремится убедить нас в том, что, изменяя свой словарь, мы могли бы изменить сами факты действительности. Опыт показывает нам, однако, что предметы не изменяются, когда им дают новые названия. Доказательством этому является то, что старое и новое наименование могут сосуществовать: в Румынии после второй мировой войны решили заменить слово *chelner* «официант» словом *ospătar*, но в настоящее время употребляются оба термина.

Старые слова могут снова войти в употребление после некоторого периода забвения, и это доказывает, что соответствующая действительность за это время не изменилась. Румынское слово *băcănie* «бакалея» было заменено словом *alimentară*, но через некоторое время оно вновь стало употребляться, причем с тем же значением.

С другой стороны, действительность может измениться, не приводя при этом к замене слова, которое ее обозначает. Во французском языке слово *voiture* было наименованием экипажа, запряженного лошадьми. В настоящее время словом *voiture*, обозначают железнодорожный вагон или автомобиль.

Усилия лингвистов, примыкающих к семантической теории, были направлены главным образом на определение — и определение субъективное — слов, имеющих отношение к социальным конфликтам. Надо сказать, что эти усилия не дали, да и не могли дать, желаемых результатов. Обратившись к иным «семантическим полям», можно было бы, однако, показать, что язык все же оказывает определенное влияние на действительность, которую он выражает. Примеры такого анализа приводятся мною в книге «*Studii de lingvistică generală*» (Бухарест, 1960, стр. 196—200). Речь идет прежде всего о народной этимологии, приведшей не только к изменению внешней формы слова в силу сближения этого слова с другим, в котором видели его родственника по значению, но, кроме того, и к изменению фактов действительности в силу стремления привести их в соответствие с новой формой. Поставив название цветка «ноготок», фр. *souci* (из лат. *solsequia*) в связь с глаголом *soucier* «заботить» (из лат. *sollicitare*), француз-

ский крестьянин сделал из него символ новобрачной, на которую сразу же после свадьбы обрушиваются домашние заботы.

Но это еще не все. К явлениям подобного рода следует отнести и эвфемизмы, призванные смягчить обозначение неприятных вещей. Во французских газетах называют «неделикатным кассиром» (*un caissier indélicat*) человека, который сбежал с деньгами своего хозяина. По-французски говорят также о человеке, что он «утомлен» (*fatigué*), желая избежать слова «болён» (*malade*), и так далее.

Я думаю, что здесь мы сталкиваемся с одним из аспектов языка, представляющих большой интерес для изучения, и именно в этом направлении должны были бы высказывать свои рекомендации adeпты семантической школы. В самом деле, невозможно устранить социальные конфликты путем замены слов, которые их обозначают. Иное дело — лингвистическая проблема эвфемистических выражений. Эвфемизм может затрагивать и отношения между социальными категориями. Иногда слово заменяется другим либо потому, что оно создает впечатление о неприятной обстановке, либо потому, что обозначаемая им вещь сама по себе непривлекательна, либо, наконец, потому, что находится слово «более хорошего тона». Румынское слово *sigciuta* «трактир» было заменено словами *bodegă* и *bar*, прежнее название *han* «постоялый двор» уступило место слову *hotel*, поскольку новые названия могли, несомненно, легко привлечь публику из более культурных слоев населения. Недавно в Румынии вместо слова *hamal* «носильщик» стали употреблять более «лестное» название *lucrător de pergon* «работник перрона», поскольку носильщики в самом деле больше не носят багаж на своей спине. Но производное слово *hamalic* «тяжелый, неприятный труд» сохранится в языке по крайней мере в течение некоторого времени, потому что оно не связывается непосредственно с каким-либо конкретным видом труда.

В силу противоречий, возникающих, таким образом, между языком и обозначаемыми предметами, может создаться впечатление, что изменяется главным образом действительность. Но очень часто, напротив, конфликты разрешаются путем изменений, происходящих в языке: слова-эвфемизмы пропихиваются новым неприятным значением и в свою очередь устраняются из языка, они перестают употребляться даже в их первоначальном смысле, не содержащем в себе ничего отрицательного. Я ограничусь здесь тем, что напомним пример, приводимый Х. Нюропом (*Grammaire historique de la langue française*, vol. IV. Копенгаген, 1913, стр. 301—302): во французском языке многие слова приходили на смену друг другу, обозначая женщину легкого поведения, вследствие чего они затем выходили из употребления не только в своем новом, но даже спустя некоторое время и во всех своих значениях.

ОТ СЛОВА К ПРЕДЛОЖЕНИЮ В СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ ГРАММАТИКЕ

Лингвистика во Франции и, в частности, грамматика французского языка как один из ее объектов находятся в настоящее время в периоде эволюции и привлекают к себе живейший интерес не только лингвистов, но и исследователей в других смежных областях науки. Об этом оживлении свидетельствует появление ряда новых журналов в последние годы¹ и многих статей по вопросам лингвистики и психолингвистики в периодических изданиях, посвященных проблемам психологии, философии, социолингвистики, так или иначе соприкасающихся с проблемами языка².

Можно утверждать, что преобладающим направлением во французской грамматике в настоящее время является структуральное, в широком значении этого термина. Это направление связывают обычно со стремлением в лингвистике к точному определению предмета своей науки и созданию объективных методов исследования. «В последние десятилетия, — говорит А. Мартине, — в лингвистике все усилия были направлены к тому, чтобы лингвистика стала автономной, и эти усилия увенчались полным успехом»³.

В центре внимания лингвистов структуральной ориентации продолжают оставаться проблемы определения основных единиц языка и их взаимных отношений, их место в системе языка.

Ниже будет затронут только один вопрос: как представляется возможным в современных работах по синтаксису французского языка объединение таких единиц синтаксиса, как слово, сочетание слов, предложение, единым методом анализа, или, иначе говоря, определение их места в системе на основе единого метода анализа. Сохранение единицей каждого уровня этой иерархии своих признаков при их интегрировании в единицах высшего уровня представляется условием построения самой системы.

Хотя принято утверждать, что удовлетворительного определения слову еще не дано в общем языкознании, но отсутствие такого определения не мешает практически пользоваться этим термином и достигать взаимопонимания. Известно, впрочем, что разрешение этой проблемы значительно продвинулось⁴.

¹ «La linguistique» (под ред. A. Martinet), «Langages», «Langue française», «Cahiers de lexicologie» (ред. B. Quemada).

² Например в: «Journal de psychologie normale et pathologique», «Critique», «Esprit», «Diogène» и др.

³ A. Martinet. Le Mot. «Problèmes du langage». Coll. «Diogène». Paris, 1967, pp. 39—40.

⁴ A. Martinet. Le mot, pp. 39—53; Ch. Muller. Le mot, unité de texte et unité de lexique en statistique lexicologique. «Travaux de linguistique et de littérature», vol. 1. Strasbourg, 1963, pp. 155—174.

Большинство лингвистов различают в синтаксисе, помимо слова и предложения, промежуточные между ними единицы — словосочетание, группу слов⁵. Образование этих единиц из слов не ставит проблему их отношения к слову, они представляют собой сегменты речевой цепи, образующиеся на основе комбинаторных свойств слов, т. е. относятся к уровню слова.

В «Словаре лингвистических терминов» О. С. Ахмановой даны два определения словосочетанию: «словосочетание: 1) соединение двух или более знаменательных слов (вместе с относящимися к ним служебными словами или без них), служащее для выражения единого, но расчлененного понятия или представления, 2) любой вид грамматического сочетания полнозначных слов»⁶. В советском языкознании термин закрепился главным образом в первом значении и соответствует самому пониманию предмета синтаксиса, который определяется как учение о предложении и словосочетании⁷.

Словосочетание и предложение рассматриваются как формальные структуры, принадлежащие к разным уровням, они — «разные объекты синтаксиса»⁸. Словосочетания образуются в предложении, выделяются из предложения, но предложение не расчленяется на словосочетания непосредственно, т. е. к этим двум разным формальным структурам не может быть применен единый метод анализа. В настоящее время признается необходимость изучения словосочетаний во взаимодействии, но пока еще не определен окончательно путь изучения этого взаимодействия.

Изучение словосочетания как особой структуры вполне оправдано, так как позволяет: 1) установить потенциал сочетаемости каждой части речи, ее комбинаторные свойства, 2) исследовать средства выражения связи в двучленном словосочетании, 3) наблюдать условия изменения функций части речи под влиянием отношения зависимости, так называемую транспозицию частей речи, 4) выделить парадигматические классы словосочетаний, образующие одну из закрытых подсистем языка. Несмотря на различия в морфосинтаксической характеристике частей речи русского и французского языка, можно применить теорию словосочетания, созданную в русской грамматике, к описанию системы словосочетаний во французском языке. Все типы словосочетаний, существ-

⁵ J. K. Halliday. Linguistique générale et linguistique appliquée. «Etudes de linguistique appliquée», 1962, No. 1. Paris, p. 11; A. W. de Groot. Classification of Word-groups. «Lingua», 1957, vol. VI, No. 2.

⁶ О. С. Ахманова. Словарь лингвистических терминов. М., «Советская энциклопедия», 1966, стр. 426.

⁷ Грамматика русского языка, т. II. Синтаксис. М., Изд-во АН СССР, 1954. «Предметом синтаксиса как отдела грамматики является изучение способов соединения слов в словосочетания и в предложения» (стр. 6). См. также: Основы построения описательной грамматики современного русского литературного языка. М., «Наука», 1966, стр. 133 и 134.

⁸ Основы построения описательной грамматики..., стр. 133.

вующие во французском языке, давно и превосходно изучены в отдельности.

Во французской грамматике структурального направления центральной теоретической проблемой представляется проблема единства метода анализа в изучении формальных единиц синтаксиса и проблема их взаимоотношений.

Дистрибутивный метод, опирающийся на учение Ф. де Соссюра, разрешил в общих чертах эту задачу, определив структуру языка как иерархическую и преобладающий вид синтагматических отношений как отношение зависимости во всех грамматических единицах языка от слова до сложного высказывания. Для разрешения вопроса о взаимоотношениях между единицами разных планов в некоторых работах принимается трансформационный анализ.

Дистрибутивный анализ, оказавший большое влияние на развитие синтаксической теории в структурной лингвистике, вызвал вместе с тем существенные возражения. Анализ по непосредственно составляющим, говорит Ж. Мунен, дает обозначение только одного типа, которые в дальнейшем могут быть, как предполагается, распределены по классам. Синтаксически в этом анализе они равноценны, и формальные основания их совместимости или несовместимости, их комбинирования неизвестны⁹. Но еще важнее то, что эта теория, как указывает Ж. Дюбуа, не может объяснить, как образуются все типы высказывания, игнорирует творческую природу языка и признает внелингвистическим отношение значения к действительности¹⁰.

Как осуществляется последовательный переход от слова к сочетанию слов и затем к предложению в трудах французских лингвистов?

Л. Теньер одним из первых французских лингвистов признал отношение иерархической зависимости основанием своей синтаксической теории¹¹.

Слово как часть речи в теории Теньера — синтаксическая единица, характеризующаяся своими двусторонними связями с окружающими словами. Отношения зависимости устанавливаются не односторонне в двучленной синтагме, а в «узле», образуемом двусторонними связями каждой из частей речи с другими частями речи. Парадигматические отношения в узлах рассматриваются особо и очень детально в разделе «Структурального синтаксиса» под общим названием «Трансляция».

Вопрос отношения «узлов» к предложению разрешается без труда. Глагол в личной форме признается организующим центром предложения, его ядром, стягивающим к себе все другие узлы и

⁹ G. Mounin. Problèmes théoriques de la traduction. Paris, 1963, p. 256.

¹⁰ J. Dubois. Grammaire distributionnelle. «Langue française», 1969, n° 1, p. 47.

¹¹ L. Tesnière. Les éléments de syntaxe structurale. Paris, 1959.

образующим вершину иерархии всех зависимостей. Подлежащее, в теории Л. Теньера, в плане структурном один из детерминантов глагола, условно обозначаемый как первый актант, а в плане семантическом — связанный с глаголом предикативным отношением. Тип глагола, определяемый его валентностью, т. е. сочетаемостью с актантами, определяет и тип предложения. С актантами глагол связан залоговыми отношениями, объединяемыми в категории диаязы.

Нет необходимости останавливаться подробнее на синтаксической теории Л. Теньера, привлечшей к себе большое внимание¹². Структурализм Л. Теньера отличается существенно от структурализма более поздних представителей структурной грамматики — Б. Потье и Ж. Дюбуа. Однако между ними есть и черты сходства: признание иерархической структуры предложения, расчлененной на такие ступени, как слово, «узел», предложение; противопоставление, хотя и слишком общее у Теньера, уровня семантического уровню структурному; предпосылки преобразования одних формальных структур в другие.

В современной структурной грамматике уровень формальной структуры слова как части речи и всех видов сочетаний слов противопоставляется другому уровню, уровню коммуникации, имеющему в качестве собственной минимальной единицы «фразу».

Известны колебания Соссюра в вопросе о том, является ли фраза структурой языка или свободной комбинацией элементов, предоставляемых системой¹³. Соссюр иногда прямо говорил о том, что фраза относится к речи, а не к языку, но говорил также, что «трудно провести границу между ними»¹⁴. Как говорит Р. Годель, нет собственно соссюровской теории фразы.

Синтаксис предложения, говорит Э. Бенвенист, только грамматический код, который организует размещение его частей. Фраза как единица коммуникации — образование неопределенное, бесконечно разнообразное, сама жизнь языка в его действии. Предикативность делает фразу единицей особого уровня, но фраза в то же время — сегмент речи, имеющий синтагматическую структуру, и ее можно рассматривать также и на уровне «грамматического кода»¹⁵. Так разрешается вопрос, поставленный Соссюром о том, следует ли относить фразу к языку или к речи.

Признавая достижения дистрибутивного анализа, но подвергнув критике понимание синтаксиса как линейного сегментирования высказывания и указав на ограниченность результатов такого ана-

¹² R. H. Robins. *Syntactic Analysis*. «Archivum linguisticum», 1961, t. XIII, pp. 78—79; H. Wisemann. «Ind. Forsch.», 1961, Bd. XLVI, pp. 176—185; E. Benveniste. BSLP, 1960, t. LVI, pp. 20—23.

¹³ R. Godel. *Les sources manuscrites du Cours de linguistique générale de F. de Saussure*. Genève, 1957, p. 169.

¹⁴ *Ibid.*, pp. 89—90.

¹⁵ E. Benveniste. *Les niveaux de l'analyse linguistique*. «Problèmes de linguistique générale». Paris, 1967, pp. 128—129.

лиза, А. Мартине выдвигает теорию функционального синтаксиса¹⁶. Указав на неопределенность терминов, которые служат для обозначения фразы, А. Мартине говорит: «Лингвисту в этом вопросе следует видеть во фразе грамматическую конструкцию, которую надлежит определять в терминах дискретных единиц»; «фраза, — продолжает Мартине, — наименьший сегмент, в котором отождествляется формально определяемая и лингвистически определяемая речь»¹⁷. Деление фразы на меньшие элементы должно производиться на основании их собственной синтаксической функции. Во фразе могут быть элементы, которые возможно устранить, не разрушая высказывания. Например, после отсечения экспансий во фразе: «les chiens de la voisine mangent la soupe» остается ядро: «les chiens mangent», которое, следовательно, занимает в ней особое положение. Функциональный анализ должен основываться на относительной автономности частей высказывания, выделенных дистрибутивным анализом. Методологическое обоснование функционального синтаксиса представляет большой интерес для типологического сопоставления языков, но основное возражение против этого метода состоит в том, что определение синтаксической автономности монем связано с известными трудностями¹⁸.

В последних по времени появления работах представителей французского структурализма в грамматике Б. Потье и Ж. Дюбуа термин «фраза» («ядро» у Б. Потье) относится к морфосинтаксической структуре, расчленимой на именную и глагольную синтагмы. Синтагма — звено, в котором осуществляется переход от слова к фразе.

Б. Потье строго различает грамматическую форму и семантику этих форм. В плане семантическом для членов ядра сохраняются термины подлежащее и сказуемое, приведение в соотношение членов ядра называется предикацией, а ядро — минимальной единицей коммуникации. Предикативная структура связана с ситуацией настолько непосредственно, что ситуация может выполнять функцию подлежащего или сказуемого при их отсутствии. Предикация — основной семантический механизм, объединяющий все классы предикации в общей синтаксической категории залога, но содержание этого термина значительно расширяется, активный залог противопоставляется атрибутивному, включающему и пассивную предикацию¹⁹.

Избегая введения новых грамматических терминов, Потье и Дюбуа вынуждены расширять или видоизменять содержание терминов, для того, чтобы обозначать свое обычно более обобщенное,

¹⁶ A. Martinet. Elements of a Functional Syntax. «Word», vol. 16, No. 1, pp. 1—10; его же. L'autonomie syntaxique. «Méthodes de la grammaire. Tradition et nouveauté». Paris, 1966, pp. 49—59.

¹⁷ A. Martinet. Réflexions sur la phrase. «La linguistique synchronique». Paris, 1968, p. 228.

¹⁸ «Méthodes de la grammaire. Discussion». Paris, 1966, pp. 59—64.

¹⁹ B. Pottier. Présentation de la linguistique. Fondements d'une théorie. Paris, 1967, pp. 41—42.

чем в традиционной грамматике, понимание грамматических категорий.

Б. Потье посвятил свою монографию «*Systématique des éléments de relation*»²⁰ исследованию средств выражения отношений в языке одной из подсистем языка, необходимой для функционирования системы в целом и, в частности, для преобразования одних языковых структур в другие. В небольшой работе, появившейся в результате опыта работы в машинном переводе²¹, Потье наглядно показывает простоту основных механизмов языка и необходимость этих средств связи для их рекурсивности.

Ж. Дюбуа избрал в качестве метода грамматического описания французского глагола трансформационный метод²². Объективность этого метода, как считает Ж. Дюбуа, подтверждается возможностью его применения в тождественных условиях к неограниченному числу конструкций, однотипных по морфосинтаксическому составу. Два типа трансформаций имеют особенно большое значение для синтаксиса: трансформация словосочетания (именной синтагмы) в предложение и предложение в словосочетание и трансформация одного типа предложения в другой тип, например активного предложения в пассивное. Если типы предложений у Теньера определяются дистрибуционными свойствами глагола, то у Дюбуа они определяются его трансформационными свойствами.

Общеграмматическая теория Ж. Дюбуа во многом совпадает с теорией Б. Потье. Как говорит Ж. Дюбуа, между взглядами представителей структурализма больше общего, чем расхождений.

Сохраняя в синтаксисе такие категории, как предикативность, субъект, объект, Ж. Дюбуа подчеркивает их условность; они относятся к определенным формальным структурам, а не к их значению, которое на этом первом этапе синтаксического анализа не рассматривается. И хотя фраза признается единицей коммуникации, соотносимой с ситуацией, но предметом анализа на этом уровне является собственно грамматический механизм фразы, но не «тайна коммуникации», о которой говорил Ф. де Соссюр, и не логическое содержание предикации²³.

²⁰ B. Pottier. *Systématique des éléments de relation*. Paris, 1962.

²¹ B. Pottier. *Introduction à l'étude les structures fondamentales*, 3e édition. Nancy, 1966.

²² J. Dubois. *Grammaire structurale du français. Le verbe*. Paris, 1967.

²³ De Mauro. *Introduzione alla semantica*. Bari, 1965, p. 129.

ЛЕБРИХА И ВАЛЬДЕС

(из истории литературной нормы испанского языка)

Начало нового периода в истории испанского литературного языка — это эпоха энергичной филологической деятельности первых испанских гуманистов, эпоха первых серьезных опытов теоретического осмысления и описания испанского языка, порожденных новым отношением к народному языку, живым интересом к нему как к славному преемнику древних «грамматик» и вместе с тем — как к достойному объекту изучения и обработки.

Историк языка с особенным вниманием обращается к двум сочинениям, ознаменовавшим собой рождение испанской филологической науки. Речь идет о первой кастильской грамматике, принадлежащей перу Элио Антонио де Лебриха (1492), и о «Диалоге о языке» Хуана де Вальдес (1536).

Судьба этих первых лингвистических трудов сложилась очень различно. Грамматика Лебрихи была издана при жизни автора и принесла ему широкую известность и признание, как и другие его труды. «Диалог» еретика-эразмиста Вальдеса увидел свет лишь спустя два столетия после написания. Авторство его было установлено много позднее¹.

Хотя «Грамматику» и «Диалог» разделяет сорок с лишним лет, авторов этих произведений объединяет патриотическое понимание своего долга перед родным языком, оба признают преемственную связь между языками «вульгарными» и древними; оба защищают полноправие кастильского. Наконец, не трудно увидеть их единомыслие и по некоторым конкретным вопросам, в частности в такой важной области, как правописание.

Между тем общеизвестно резко отрицательное отношение Вальдеса к трудам Лебрихи. Вальдес утверждает, что даже не читал его грамматики и не слышал, чтобы ее хвалили. Он критически относится и к его словарям, считая их недостаточно полными и неточными. Наконец, он решительно отвергает авторитет Лебрихи в области орфографии. Антипатия Вальдеса к его славному предшественнику, несправедливо-скептическая оценка несомненных заслуг Лебрихи перед испанской филологией на первый взгляд представляется совершенно непонятной и вызывает естественное недоумение. Его выразил, в частности, Монтесинос в своем введении к «Диалогу о языке».

Чем же можно объяснить это явно несправедливое отношение? Каковы его объективные причины и основания? Могут ли они

¹ См. Juan de Valdés. *Diálogo de la lengua*. Ed. y notas por T. E. Montesinos. Madrid, 1928.

представлять некоторый научный интерес или речь идет о чем-то сугубо личном, субъективном и безотчетном, к науке отношения не имеющем?

Попробуем поискать объяснений, учитывая конкретные исторические обстоятельства.

Начало нового периода истории кастильского, или испанского, литературного языка, периода его постепенного превращения в национальный литературный язык хронологически связывают с образованием испанской абсолютной монархии. Политическое объединение Кастилии и Арагона, политика подавления феодальной вольницы, падение Гранады, первая экспедиция Колумба к берегам Нового Света — все эти исторические обстоятельства подготовили выход Испании на широкую мировую арену. Растущая роль Испании, ее быстрая территориальная экспансия, сложность и объем вставших перед ней задач — все требовало сплочения сил в масштабе всей страны, мобилизации всех средств, материальных и идеологических. Особое место в этом процессе принадлежало языку.

Кастильский диалект к этому времени практически превратился в общенародный язык полуострова. Уже на предшествующем этапе он функционировал как письменно-литературный язык. Правда, наряду с ним в этой функции выступали другие языки (латинский и арабский) и другие диалекты; однако руководящая политическая роль Кастилии в Реконкисте обусловила ведущее положение ее языковой разновидности. В XIV—XV вв. на кастильском языке создается богатая литература, в том числе такие шедевры, как «Книга благой любви» Х. Руиса, «Стансы» Х. Манрике и знаменитая «Селестина».

К последнему десятилетию XV в. относится и выход в свет первых значительных трудов по языку. Их автор — известный гуманист Лебриха, или Небриха. Настоящее его имя — Антонио Мартинес де Кала и Арана дель Охо. Он родился в начале 40-х годов XV в. в андалузском городке Лебриха, учился в Саламанке, 10 лет провел в Италии, после чего вернулся в Испанию, где занимался филологическими штудиями и преподаванием древних языков. В 1492—1494 гг. он публикует свои словари (латинско-кастильский и кастильско-латинский). Однако в историю он вошел скорее не как лексикограф, а как автор первой кастильской грамматики, увидевшей свет в 1492 г.

Самый факт появления грамматики вульгарного языка был в высшей степени знаменателен. Со времен Данте в народных языках видели результат произвольного, несогласованного, индивидуального творчества, отсюда их изменчивость, иррациональность и стихийный характер в отличие от древних «грамматических» языков, характеризующихся регулярностью, рациональностью и стабильностью. Между языками «грамматическими» и вульгарными существует принципиальный разрыв. Правда, наряду с этой метафизической концепцией, по самому своему существу принадлежавшей

средневековью, не кто иной, как ее автор, Данте, развивает знаменитую теорию «вольгаре иллюстре», в которой этот разрыв как бы преодолевается. В трактате «De vulgari eloquio sive idiomate libri duo» Данте ставит задачу создания новой «грамматики», нового упорядоченного языка на основе народного, который должен соединить в себе естественность и искусство, ибо в народном языке заложены все необходимые для этого возможности: способность называть вещи, сочетать слова и произносить эти сочетания. Теория «знаменитого народного языка» по сути принадлежит уже Возрождению. Но понадобилось немало времени, чтобы преодолеть старое представление.

На заре Возрождения казалось, что высшие достижения человеческого гения неотделимы от их языковой формы: языки повседневного обихода представлялись принципиально непригодными для выражения высоких идей. Однако гуманистическая культура не могла долго оставаться достоянием тесного круга ученых-гуманистов. Молодой буржуазии нужны были знания, накопленные античностью. Все настойчивее ощущается стремление к демократизации наук и искусств. Широкие народные массы, для которых почти единственной духовной пищей по-прежнему оставалась религия, начали проявлять интерес к религиозной литературе, Библии, литургии. Протестантское движение в ряде европейских стран вливается в общее русло борьбы за демократизацию идеологии, выдвигающей народный язык как свое мощное орудие. Передовые умы XV—XVI вв. сходятся на том, что «вещи не теряют ценности от того, что они общедоступны».

Если новая культура, порывая со средневековой традицией, неуклонно расширяет сферы применения народных языков, то этот процесс не может не отразиться и на филологической теории, стимулируя изучение последних. Вместе с тем увлечение древними «грамматиками» вооружает филологов необходимым инструментарием для категориального осмысления, обработки и нормализации «вульгарных» языков. На этой почве развивается новый взгляд на отношение между живыми и мертвыми («грамматическими») языками. В «естественности» народного языка, в том, что его не изучают, а «всасывают с материнским молоком», перестают видеть его недостаток. Прирожденный человеческий разум проявляется в любом языке. Все языки способны выразить все идеи, стало быть, все языки принципиально равноправны, все обладают известной правильностью, наличной или хотя бы потенциальной. Отсюда вытекает возможность и, более того, задача усовершенствования родного языка: построения его грамматики, фиксации его изменчивых форм, отбора и закрепления нормы, наконец, — обогащения его лексических возможностей. Синтез «первозданного», «естественного» и «искусства», о котором некогда мечтал Данте, в XVI в. получил обоснование и подкрепление во всей эстетике Ренессанса и стал осознанным идеалом и целью филологической деятельности гуманистов. Эта цель формулируется как защита равноправия народ-

ного языка и его «прославление», или совершенствование (ср. манифест Дюбелле).

Однако поначалу эти две задачи выступают раздельно. На первых порах выдвигается задача более насущная: полноправие народного языка, практически уже доказанное мастерами слова, нуждается в теоретическом подкреплении; живой язык должен получить научное грамматическое описание. Эту первоочередную задачу и взял на себя Лебриха и решил ее на достаточно высоком уровне.

Сочинение Лебрихи — это прежде всего совершенно новый по замыслу труд. Лебриха, по его собственным словам, заложил первый камень в здание кастильской грамматики. Трактую кастильский письменно-литературный язык как орудие национальной славы, он видит свой патриотический долг в том, чтобы уберечь его от «порчи», т. е. от изменения и развития, и превратить его в новый «грамматический» язык, в новую латынь. Обращаясь в прологе к королеве Изабелле, Лебриха приводит ряд соображений о пользе и своевременности своего труда. Языки, говорит он, рождаются, крепнут, процветают и приходят в упадок вместе с могуществом государства. Кастильский язык вместе со славою королевства достиг таких вершин, что впредь можно ожидать скорее его упадка, чем надеяться на дальнейший подъем. Вот почему именно теперь настала самая пора закрепить его в виде грамматики, чтобы он сохранился наподобие латинского и греческого, «дабы все, что отныне и впредь будет на нем написано, могло бы сохранить свое значение на веки веков».

Но для того чтобы закрепить формы народного языка, необходимо описать их, «свести в теорию, или систему правил». Объект Лебрихи — язык именно как некоторая система, притом не уступающая общепризнанным системам древних языков. Защищая равноправие родного языка, автор подробно описывает его категории, все время сопоставляя их с латинскими: он не упускает ни одной возможности отметить черты их сходства и родства. Это не мешает ему видеть своеобразие кастильского, то, чего нет «ни в древних, ни в других известных ему языках». Таковы, например, описательные глагольные обороты — страдательный и безличный, сложные времена, новый футурум. Очень интересны замечания о неличных формах глагола, в частности — о «причастном имени» и др.

Лебриха описывает, сопоставляет, толкует грамматические термины, но, как правило, не регламентирует. Отвлекаясь от конкретного употребления тех или иных форм, он пытается охватить и зафиксировать весь их инвентарь, классифицировать все категории, уловить общее и устойчивое на уровне языка.

Единственная область, к которой Лебриха подходит с нормативных позиций², — это графика и правописание. Напомним, что в

² Наставления, касающиеся поэтики, здесь не учитываются.

70-х годах XV в. в Испании появились первые книгопечатни. Распространение книг делало особенно наглядной и недопустимой ту анархию, которая царила в письменной форме литературного языка. К этому времени между устоявшейся письменной традицией и живым произношением намечалось ощутимое расхождение; с другой стороны, традицию расшатывало увлечение древними языками, которое повлекло за собой лавину ученых и квазиученых написаний (вроде *humano, sillaba, mixto, sciencia, sancto, tancto, solempnidad*). Упорядочение и регламентация орфографии было насущным, неотложным делом, и Лебриха посвятил ему несколько глав своего труда. Почти все его предписания разумно обоснованы, последовательны и отражают фонетический узус своего времени. Лебриха и здесь отстаивает права народного языка, решительно высказываясь против этимологических написаний. «Мы должны писать так, как произносим», — гласит его первое правило.

Но если задача нормализации орфографии к концу XV в. была поставлена самой жизнью, то с грамматикой как таковой дело обстояло иначе. Проблема совершенствования вульгарного языка, конкретные вопросы «хорошего» и «дурного» обычая, т. е. собственно отбор нормы, еще не заботили Лебриху. Чтобы доказать равноправие народного языка, достаточно было продемонстрировать его регулярность, т. е. сопоставить его «строчка за строчкой» с латынью. Примерно так же обстояло дело с лексикой: Лебриха занимался не отбором «лучших» слов, а составлением кастильско-латинского и латино-кастильского словарей.

Интересы Вальдеса были обращены в другую сторону.

Хуан де Вальдес родился примерно на шестьдесят лет позднее Лебрихи и сформировался как ученый, когда Лебрихи уже не было в живых. Он получил образование в университете Алкалá де Эна́рес — центре новой, гуманистической науки, противопоставлявшей себя ортодоксальной схоластической теологии. Атмосфера молодого университета была пропитана духом критического рационализма. Особенным влиянием пользовались здесь идеи Эразма Роттердамского, который в то время имел большой авторитет в Испании. Антипапская позиция Эразма до поры до времени была на руку испанскому абсолютизму в его борьбе с Ватиканом. С изменением политической обстановки эразмисту Вальдесу пришлось искать убежища в Италии. «Диалог о языке» был написан в Неаполе в 1535 или 1536 г.

В эти годы Испания приближалась к апогею своего могущества. В связи с ее международными притязаниями чрезвычайно повысился престиж испанского языка. Его изучают в Италии и во Франции. Это новый этап и в развитии литературного языка как общенационального, этап осознания его возросшего значения, новых функций и новых, более сложных задач. Апологеты народного языка переходят от «защиты» к своеобразному наступлению. В вальдесовом «Диалоге» звучат ноты превосходства кастильско-го над латынью и тосканским. Патриотический долг теперь видят

не только в том, чтобы доказать равноправие народного языка, но и в его литературной обработке, дальнейшем совершенствовании, шлифовке и обогащении. Обе эти задачи получают в «Диалоге» новое, оригинальное решение, чего не было и не могло быть в трудах Лебрихи.

Уже в самой литературной форме «Диалога» заложены черты и возможности, которых лишено сочинение Лебрихи. Здесь нет деления на книги и главы, нет строгой систематичности. Зато гибкий и свободный жанр диалога, особенно той его разновидности, которая восходит к Эразму, как нельзя лучше подходит для обсуждения в форме спора насущных проблем, для полемических отступлений. Эразмистский диалог чрезвычайно публицистичен: форма непринужденной беседы позволяет не только трактовать разнообразные научные вопросы, но и включать в реплики собеседников сатирические выпады, острые и злободневные политические намеки и меткие наблюдения нравов.

В том же духе свободной беседы развивается и основная тема «Диалога о языке». Вопросы и реплики собеседников, двое из которых — итальянцы, направлены на то, чтобы заставить Вальдеса, участвующего в диалоге на правах одного из ведущих персонажей, высказать свои суждения по разнообразным вопросам, связанным с кастильским языком. Основной из них — вопрос о том, как следует писать. Он обсуждается всесторонне: речь идет и о буквах, т. е. орфографии, и о словах, и о грамматике, и о стиле. Иными словами, речь идет о том, что считать «хорошим обычаем» во всех аспектах литературного языка и в первую очередь его письменной формы, и каковы критерии отбора, на которые следует опираться.

В «Диалоге» получают отражение множество сосуществующих конкурирующих между собой форм, колебания в произношении и написании. Однако ценность его далеко не исчерпывается только этим. Главный интерес заключается в материале, относящемся к организации национальной языковой нормы.

Вальдес ищет правила «хорошего слога», который обязателен для всякого желающего не только хорошо писать, но и хорошо говорить по-кастильски. Норма письменной и устной речи для него едина: «Я пишу так, как говорю». Зато он строго разграничивает прозу и поэзию: язык поэзии — это область особых законов и особых вольностей, здесь находят себе убежище разного рода архаизмы, лексические и грамматические, все, против чего борется Вальдес, и здесь не властны те нормы, отбору и закреплению которых посвящен «Диалог».

Вальдес сосредоточивает свое внимание на языке прозы и прежде всего на серьезной прозе «среднего стиля». В отличие от Лебрихи и авторов многих трактатов того времени, он ни словом не касается «высокой» прозы, фигур ораторской речи. Но вместе с тем та проза, о которой заботится Вальдес, — это не тривиальная речь повседневного общения. Это — язык культурного обихода,

пригодный для выражения отвлеченных понятий, необходимых в морально-этической, философской, научной сфере.

Каковы же критерии, которыми он руководствуется?

Основной критерий отбора того или иного варианта для Вальдеса — современный узус, т. е. живая языковая практика. В поисках образцов он не склонен оглядываться назад: он равно отвергает этимологический принцип в орфографии и обветшалый образец знаменитого «Амадиса Галльского» в вопросах грамматики и слога. Дело тут не только в том, что испанская литература еще не располагала такими общепризнанными произведениями, какими были для Италии творения великих тречентистов Боккаччо и Петрарки. Причина лежит глубже. Вальдес принципиально далек от признания решающей роли в языке отдельной личности ученого или художника слова, которые могли бы противопоставить свое индивидуальное понимание разумного и прекрасного тому, что освящено коллективным «обыкновением». Образец для Вальдеса — коллективный и притом современный узус.

При этом Вальдес последовательно ориентируется на речь совершенно определенной категории носителей языка: это — просвещенные, «хорошо говорящие» люди двора и столицы. Вальдес вполне закономерно стоял на почве новой Кастилии и Толедо как географического центра национальной языковой нормы. Язык Толедо как столицы уже издавна и особенно с конца XIV в. считался наиболее «чистым», а в дальнейшем — образцовым. Вальдес — активный поборник унификации языка и распространения толедской нормы в качестве национальной, противопоставленной диалектам как низшим формам языка. Однако носителями нормы он считает не всех толеданцев и не только придворную верхушку, но всех «людей, хорошо говорящих». Социальное содержание этой формулы Вальдеса достаточно широко: определяющим для него является не происхождение и не социальное положение, а просвещенность, культурный уровень. Плебеи для него — «все люди бездарные и бедные разумом, каково бы ни было их происхождение и богатство».

Более того: для языковых воззрений Вальдеса чрезвычайно характерно его отношение к народным поговоркам и пословицам. Для него они, как и для многих людей Возрождения, не только свидетельства исконности и жизнеспособности того или иного явления языка, но и воплощение трезвости, четкости мысли и высоких моральных качеств, имманентно присущих человеческой природе как таковой.

Познакомившись с этими установками Вальдеса, обратимся к его конкретным высказываниям и оценкам. Ограничимся теми из них, которые касаются грамматики и лексики.

Значительная часть грамматических наблюдений Вальдеса направлена на то, чтобы среди колеблющихся и конкурирующих грамматических форм и синтаксических сочетаний отобрать и закрепить лучшие, принадлежащие «хорошему обычаю». Здесь ин-

тересна и попытка стилистической дифференциации: что хорошо в стихах, не всегда годится в прозе. Так, из дублетов *yo so/yo soy* первый в прозе не употребителен. Из форм глагола *reír* — *ríase* и *rígase* Вальдес считает правильной первую, без *g*, которое «неведомо как туда затесалось». В системе претерита он осуждает как просторечные локализмы такие формы, как *traxon*, *hizon*, *dixon*, *puson* вместо *traxeron*, *hizieron*, *dixeron*, *pusieron*. В области сложных времен интересно предпочтение, которое Вальдес отдает аналитической форме предпрошедшего перед простой формой на *-ga*: последняя к тому времени уже широко употреблялась в сослагательном значении. Предпочтение Вальдеса свидетельствует не только о стремлении к уточнению и дифференциации функций глагольных форм, но и к окончательному внедрению более употребительной в его время. Из двух соперничавших вариантов будущего времени Вальдес выбирает слитный, возражая против эпентезы объектного местоимения: «Я считаю лучшим, чтобы глагол шел сам по себе, и местоимение — само по себе». Характерно, что в подкрепление своего мнения он приводит народные пословицы («*çria cuervo y sacaráte el ojo*» и др.).

Всякие спонтанные фонетические явления, затемняющие морфологическую прозрачность, вызывают неодобрение Вальдеса, усматривающего в них непонятный и неразумный произвол. Если в живом узусе есть возможность выбора, он всегда отдает предпочтение более «разумному» варианту, т. е. такому, в котором каждый составной элемент, каждая морфема выступает со всей отчетливостью и автономностью. Это относится не только к формам будущего времени с местоименным объектом, но и к повелительным формам: не *ponelde*, а *ponedle*, не *embialdo*, а *embiadlo*; то же в сочетании инфинитива с местоимением: не *dezillo*, а *dezirlo* и не *copocella*, а *copocergla*. Первые допустимы разве что в стихах, ради рифмы. Только в стихах допускает Вальдес и устаревшую форму инфинитива *deshet* вместо *deshazer*. Заботы Вальдеса, как видим, устремлены прежде всего на прозу.

Ряд замечаний показывает отрицательное отношение Вальдеса к грамматическим архаизмам и локализмам, в частности арагонизмам. Ему больше нравится причастие *cozido*, чем устаревшее *socho*, он отдает предпочтение кастильскому *querido* перед *quesido*. Локализмами были, по-видимому, и формы претерита *traxon*, *dixon*, *hizon*, *puson*, упомянутые выше; арагонизмы — форма предлога *ad* в сочетании *ad aquel*, а также инфинитивы *leher* и *veher*, против которых он возражает.

Обратимся к синтаксису: замечания в этой области сам Вальдес не отделяет от требований стилистических, которые восходят к классическим принципам эстетики Возрождения: это требования простоты, точности, сжатости, тщательности, благозвучия, изящества. К ним присоединяются очень конкретные указания собственно синтаксического порядка. Вальдес настаивает на точности в выборе предлогов, употребление которых еще не было устойчивым;

на фиксации более современного порядка членов предложения: (объектное местоимение лучше ставить после инфинитива: ponerlos, a ne los poner; de no descubrirlo, a ne de lo no descubrir). Он протестует против манерного подражания латинским конструкциям, вроде постановки глагола в конце предложения, против всего, что порождает двусмысленность: es verdad лучше, чем verdad es, — последнее похоже на pl. verdades. Если Лебриха еще не считал обязательным оформление прямого объекта со значением лица предлогом *a*, то Вальдес настаивает на постановке предлога там, где возможно смешение прямого дополнения и подлежащего. Его замечания о союзах *que* и *e (= y)* в сложных предложениях также вызваны стремлением к ясности и логичности синтаксических конструкций, способных выразить с наибольшей точностью современные ему формы серьезного научного рассуждения.

В грамматических замечаниях Вальдеса прорывается все та же общая направленность трактата — установка на выявление и закрепление «хорошего обычая». Здесь нет попытки описания системы; все внимание сосредоточено на отдельных колебаниях, затрудняющих, в частности, иностранцев при изучении кастильского (напомним, что двое из четырех собеседников диалога — итальянцы).

Рекомендации Вальдеса в области лексики имеют ту же направленность. Если гуманист «первого призыва» Лебриха, составляя двуязычные словари, демонстрирует сопоставимость и равноценность кастильской и латинской лексики, то у Вальдеса иная цель: совершенствование кастильского лексического состава. Для этого необходимо очистить язык от слов, несовместимых с хорошим узусом, но вместе с тем заботиться о его выразительных возможностях, о его обогащении. Вальдес прежде всего предлагает избавиться от слов устаревших, вышедших из обихода просвещенных людей: вместо *al* следует говорить *otra cosa*, вместо *ayuso* — *abaño*, вместо *mañega* — *aunque* и т. п. Иные старые слова еще годятся в поэзии, но неуместны в прозе, например, *ledo (= alegre)*, *atender (= esperar)*. Подчеркнем, что Вальдес сознательно стремится приблизить прозу к хорошей устной речи, хотя и несколько сублимированной. Такую прозу следует избавиться и от слов вульгарных, «плебейских», просторечных и грубых, не принятых в просвещенной и придворной среде, например, *cadira (= silla)*, *cabero (= ultimo)*. Речь должна быть очищена и от ничего не значащих слов-паразитов, «которыми злоупотребляют невежды»: например, *pues* «значит», *y tal* «и все такое». Стремясь поднять язык до уровня новых культурных задач, Вальдес заботится и о том, чтобы не растерять народное лексическое богатство, и берет под защиту немало несправедливо забытых или гонимых слов, не имеющих эквивалентов. При этом он никогда не упускает случая сослаться на народную поговорку или пословицу, как на надежное свидетельство «благородства» того или иного слова, его исконности и жизнеспособности: «para considerar la propiedad de la lengua castellana lo mejor que los refranes tienen es ser nacidos en el vulgo».

Чтобы сделать народный язык точным и тонким выразителем отвлеченных понятий духовной культуры, Вальдес предлагает не сочинять новые слова (напомним, что теоретики Плеяды в этом вопросе стояли на противоположной позиции: «Смело сочиняй слова», — советует Ронсар), а прибегать к необходимым заимствованиям из традиционных языков научной и религиозной мысли, т. е. из латинского и греческого, а также итальянского, вероятно в силу высокого литературного престижа родины гуманизма. Подчеркнем, что в отличие от своих итальянских и французских современников он решительно не склонен обращаться к заимствованиям из диалектов: хотя национальная норма распространялась в Испании медленнее, чем во Франции, отношение к диалектам со стороны поборников кастильской, т. е. национальной нормы, было уже иное, чем у французов той же поры. Исполненные чувства собственного превосходства, кастильцы 30-х гг. XVI в. оберегали чистоту своего «романсе кастеляно» от других диалектов примерно так же ревниво, как парижане XVII в. Напомним, что Вальдес обвиняет Лебриху по существу только в том, что он — андалузец! — позволил себе составить кастильский словарь и грамматику.

Подведем некоторые итоги. Как мы старались показать, Лебриха и Вальдес — ученые разных этапов; различными были и задачи, продиктованные исторической обстановкой. Демонстрируя регулярность народного языка, Лебриха детально и всесторонне сопоставляет его с латынью, классифицирует его категории и единицы на разных уровнях и показывает применимость к вульгарному языку традиционных дефиниций. Вальдес уже не может ограничиться позицией «защиты». Его не привлекает и даже представляется бесполезной абстрактная систематизация живого языка с ее схематичными определениями. Вальдес ставит себе цель, которую еще не ставил и не мог ставить перед собой его предшественник: его усилия направлены на выявление и отбор лучших из конкурирующих вариантов на основе «добрého обычая» просвещенных толеданцев, т. е. переносятся в область речи, письменной и устной. Аспект «защиты» дополняется аспектом «совершенствования», обработки, иными словами — всесторонней нормализации литературного языка, становящегося национальным.

Лебриха для Вальдеса — пройденный этап. Все сделанное Лебрихой не решало тех проблем, перед которыми стал Вальдес почти полвека спустя. Этим и объясняется, по-видимому, его скептическое отношение к основоположнику испанской филологической науки, которое сам Вальдес обосновывает весьма неубедительно.

Вальдес не сумел оценить по достоинству заслуги своего предшественника в исторической перспективе. Но и его собственный труд, в силу неблагоприятной исторической обстановки, долго оставался неизвестным и не мог оказать своевременного влияния на развитие нормы. Однако история литературного языка Испании подтвердила объективную прогрессивность его позиций.

НЕКОТОРЫЕ ПОЛУЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

(Ф. де Соссюр и У. Уитней)

Среди немногочисленных имен лингвистов, упомянутых в «Курсе общей лингвистики» Ф. де Соссюра, названо имя американского ученого У. Уитнея, давшего первый толчок к осознанию того, что же представляет собой языковая действительность¹. Если современный читатель захочет узнать об этом американском языковеде и откроет том какой-либо из энциклопедий, то получит следующие скудные сведения: Уильям Уитней (William Dwight Whitney, 1827—1894) был филологом-индоевропейцем, санскритологом, написавшим, кроме того, книги по общему языкознанию: «Язык и изучение языка» и «Жизнь и развитие языка»². Б. Террачини³ упоминает первым имя Уитнея, излагая становление общего языкознания как дисциплины, отличной от сравнительной грамматики. Некоторые же ученые относят Уитнея к школе младограмматиков, хотя такое утверждение ошибочно⁴. Основываясь на его трудах, можно утверждать, что подход американского лингвиста к языку был прямо противоположен младограмматическому направлению, не говоря уже о том, что его концепция сформировалась намного раньше.

Точно так же абсолютно неправомерно говорить, что и автор «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюр вышел из младограмматической школы, хотя такую неточность допускает даже А. Сэше⁵. Это недоразумение коренится во внешнем сходстве событий: во-первых, в том, что Соссюр учился в Лейпциге и там защищал свою докторскую диссертацию, а во-вторых, в том, что тематика «Исследования о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках» совпала с главным направлением интересов немецких ученых и, прежде всего, К. Бругманна. В сущности же концепция Соссюра с самого начала расходилась с устоями младограм-

¹ Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики. М., Соцэкгиз, 1933, стр. 37.

² W. D. Whitney. Language and the study of language. N. Y., 1867 (первое издание; в дальнейшем ссылки на издание 1872 г.); его же. Life and growth of language. N. Y., 1875 (первое издание; в дальнейшем ссылки на издание 1878 г.); авторизованный перевод: La vie du langage. Paris, 1875 (в дальнейшем ссылки на издание 1892 г.).

³ В. Terracini. Guida allo studio della linguistica storica. Roma, 1949.

⁴ См. предисловие С. Д. Кацнельсона к кн.: Г. Пауль. Принципы истории языка. М., ИЛ, 1960, стр. 6 (а также БСЭ, изд. 2, т. 44, стр. 56).

⁵ А. Сэше. Три сосюрские лингвистики. В кн.: В. А. Звегинцев. История языкознания XIX—XX вв. в очерках и извлечениях, ч. II. М., «Просвещение», 1965, стр. 60.

матиков. На формирование таких взглядов Соссюра оказали влияние прежде всего идеи американского ученого У. Уитнея. Как же формировались эти взгляды?

В рукописных заметках Ф. де Соссюра, которые лишь в 1958 г. поступили в распоряжение Библиотеки Женевского университета, содержится его воспоминания о детстве и годах учения. В них раскрывается, что он заинтересовался проблемой индоевропейских корней чрезвычайно рано, в возрасте четырнадцати лет, под влиянием книги А. Пикте «Происхождение индоевропейцев» (1872 г.). А. Пикте был соседом семьи Соссюров и поощрял занятия пытливого мальчика. А этот последний, самостоятельно работая над текстом Геродота, обратил внимание на своеобразие чередований в греческих корнях звуков *п* и *а*, т. е. согласных и гласных. Соссюр вспоминал, что, занимаясь в Женевском университете в 1875—1876 гг. и слушая курсы греческой и латинской грамматики, он пришел к окончательному выводу, что носовые сонанты заслуживают самого пристального внимания⁶. В это время у Соссюра зарождается идея системного характера языка не без косвенного воздействия «Сравнительной грамматики» Ф. Боппа, которая в ту пору стала его единственным учебником по индоевропеистике.

Новые документы проливают свет на обстоятельства приезда де Соссюра в Лейпциг и разрушают привычное впечатление, что он сознательно выбрал местом для занятий этот центр тогдашней индоевропеистики. В действительности он попал туда случайно, просто потому, что в этот город ехали учиться более взрослые молодые люди из Женевы, под присмотром которых должен был находиться восемнадцатилетний юноша. Соссюр записал, что когда он в октябре 1876 г. приехал в Лейпциг, то не имел представления ни об одном из германских языков, даже готском, и ни об одном индоевропейском языке в целом, кроме санскрита, который выучил самостоятельно по Боппу, и классических языков. Соссюр с сожалением отметил, что, будучи чересчур молодым студентом-иностранцем, да к тому же говорящим по-французски, он не имел возможности ни бывать в среде докторов, ни посещать те кружки, где собирались молодые представители лейпцигской лингвистической школы. Он был связан лишь с группой женевских студентов, отнюдь не языковедов, и был лично знаком только с Бругманном. С ним его связывали соображения о судьбе сонантов и общий интерес к характеру аблаута (длгое *а* — краткое *а*)⁷.

Соссюр высоко ценил деятельность немецких ученых только в индоевропеистике. Даже его «Исследование о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках» по сути своей противоположно атомизму младограмматиков, так как исходит из системного характера языка, что подчеркнуто в названии этого знаменитого труда. В одной из собственных заметок Соссюра прямо ска-

⁶ F. de Saussure. Documents. CFS, vol. 17. Genève, 1960, p. 20.

⁷ Ibid.

зано: «Все предполагают, что одним из плодов этого направления было «Исследование», т. к. я в то время учился в Лейпциге... Но то, что это представление далеко от истины, видно при внимательном чтении «Исследования». Однако, мысль об исправлении этой ошибки не приходила мне в голову. Такого рода личные дела не имеют ничего общего с наукой»⁸. В других местах вновь опубликованных материалов содержатся более резкие суждения вообще о немецкой лингвистике. О ней сказано, что эта наука, родившаяся в Германии и там развивавшаяся в течение 50 лет, не смогла приобрести ту легкость, которая позволила бы ей подняться до необходимой степени абстракции, понять, что и как надо делать, поэтому она так и не заняла своего места в кругу других наук⁹.

Идея языка как системы, в которой все взаимообусловлено (*ou tout se tient*), явилась первым камнем, заложенным в фундамент построения общей теории языка. Эту идею восприняли все ученики Соссюра первого периода его педагогической деятельности, когда он читал в Париже курсы по индоевропейским языкам.

Соссюр оставался верен этой идее до конца своих дней. Р. А. Будагов совершенно справедливо отмечает, что «между Соссюром восьмидесятых годов прошлого столетия и Соссюром — лектором-теоретиком десятых годов нашего столетия есть и преемственность в разработке понятия системы языка»¹⁰.

По всем данным Соссюр потому уехал из Лейпцига, что его не удовлетворяли основные постулаты младограмматиков. Вся его теория может быть охарактеризована как антитеза лейпцигской школе: атомизму была противопоставлена идея системности, индивидуализму — социальность, историзму — синхроническая лингвистика, наконец, изучению абсолютных свойств единиц языка — теория ценности, т. е. реляционных свойств членов системы языка. Вместе с тем следует отметить, что многие из соссюрских положений связывают его концепцию с предшествовавшими ему воззрениями. Однако объединение всех этих положений в пределах одной теории вокруг идеи ценности составляет неоспоримую заслугу швейцарского языковеда¹¹.

Лишь после определения языка как системы Соссюр придал ей характер социального учреждения, что было сделано под несомненным воздействием идей американского филолога, который создал свою теорию, полемизируя прежде всего с натурализмом М. Мюллера. На связь теории Соссюра с воззрениями У. Уитнея

⁸ В Лейпцигском университете Соссюр аккуратно посещал курсы славянского и литовского языков Лескина, старо-персидского Гюбшмана и частично курс кельтского Виндиша, а также посетил некоторые лекции Бругманна и Острога (Ук. соч., стр. 20—21).

⁹ F. de Saussure. Notes inédites. CFS, 1954, vol. 12, p. 59. Genève.

¹⁰ Р. А. Будагов. Соссюр и современное языкознание. «Русск. яз. в шк.», 1966, № 3, стр. 7.

¹¹ Подробнее об этом сказано в ст.: Н. А. Слюсарева. Главное в лингвистической концепции Ф. де Соссюра. «Иностр. яз. в шк.», 1968, № 4.

раньше многие обращали внимание (А. Соммерфельт, О. Есперсен, А. Сэше, Э. Пишон, Г. О. Винокур, Р. О. Шор). Горячий пропагандист и один из издателей «Курса общей лингвистики», А. Сэше в рецензии на эту только что вышедшую книгу высказал мысль о том, что Соссюр в бытность свою в Лейпциге не разделял энтузиазма сформировавшейся там младограмматической школы и даже отнесся к ней несколько скептически, так как на него без сомнения повлияла книга Уитнея «Жизнь языка» и определила его путь в другом направлении¹². Как показали новые документы, Соссюр еще в 1891 г. сопоставил идеи Уитнея и представителей казанской школы. К известной фразе о том, что «Бодуэн де Куртене и Крушевский подошли ближе всех к теоретическому рассмотрению языка, не выходя за пределы чисто лингвистических соображений, однако эти ученые остались неизвестны для большинства западноевропейских языковедов», Соссюр добавляет: «Американец Уитней, к которому я отношусь с глубоким почтением и который ни разу не сказал ни единого неверного слова, тем не менее, как и все остальные, даже не помышлял о том, что язык нуждается в какой-либо систематизации»¹³.

Соссюр высоко ценил работы американского языковеда. Когда в 1894 г. Американская филологическая ассоциация прислала приглашение принять участие в заседании 1-го Конгресса американских лингвистов, посвященном памяти У. Уитнея, Соссюр с жаром принялся за работу и набросал более семидесяти страниц текста, который, однако, так и не вышел в свет. Как полагает Р. Гodel, это объясняется тем, что наброски Соссюра разошлись по теме с предложениями организаторов. Устроители конгресса хотели от Соссюра лишь характеристики Уитнея как специалиста в области сравнительной грамматики. Соссюр же давал американскому лингвисту оценку, прежде всего, как теоретика языкознания¹⁴. Кроме того, Соссюр не мог не высказать попутно свои собственные соображения, которые он всегда считал недостаточно законченными и не готовыми для опубликования. Для нас эти заметки оказались весьма ценными, ибо позволили судить о первых этапах формирования общелингвистической концепции самого Соссюра.

В «Заметках» Соссюр противопоставлял Уитнея другим известным лингвистам, так как его определение языка как человеческо-

¹² A. Sechehaye. Les problèmes de la langue à la lumière d'une théorie nouvelle. «Revue philosophique», 1917, vol. 42, n° 7. Paris. Показательно, что сам Уитней, отметив заслуги лингвистов Германии в развитии сравнительной филологии, замечает, что «ученые этой страны менее отличились в том, что мы называем наукой о языке. Между ними существует такая несогласованность по наиболее важным пунктам, такая неточность доктрины, такое безразличие по отношению к ней и такая непоследовательность, что можно сказать, что наука о языке еще и не родилась у них» (W. D. Whitney. Life and growth of language. N. Y., 1878, p. 318).

¹³ Цит. по кн.: R. Godel. Les sources manuscrites du Cours de Linguistique générale de F. de Saussure. Genève, 1957, p. 51.

¹⁴ Ibid., p. 51.

го учреждения «изменило ось лингвистики»¹⁵. Соссюр отмечал, что у Уитнея весьма четко выделены две основные проблемы: 1) язык как социальное учреждение и 2) двойственность лингвистики. Первая связывалась Соссюром с теорией знака. Он писал: «Уитней уничтожил фантастические конструкции в определении языка, но еще многое остается сказать в этой области»¹⁶.

В каноническом тексте «Курса общей лингвистики» содержатся возражения Уитнею против слишком категорического отнесения языка к социальным учреждениям, поскольку «язык не есть социальный институт, во всех отношениях подобный прочим... Уитней заходит слишком далеко, утверждая, будто наш выбор лишь случайно остановился на так называемых органах речи: ведь он до некоторой степени был нам навязан природой»¹⁷.

Книги У. Уитнея могли привлечь Соссюра, тяготевшего к широким научным обобщениям, так как они охватывают главные вопросы общего языкознания: определение языка, проблема индивидуального и социального в языке, язык и общество, язык и мысль, проблема материи и формы в языке, происхождение и развитие языка, причина языковых изменений, задачи науки о языке и ее отношение к другим гуманитарным наукам. Эта тематика позволяет сказать, что работы Уитнея, где мы находим высокую оценку идеям В. Гумбольдта¹⁸, послужили тем соединительным звеном, которое нельзя выбрасывать при сопоставлении идей таких крупнейших ученых, как В. Гумбольдт и Ф. де Соссюр, чьи труды повлияли на развитие лингвистики в течение соответствующих веков. Правда, можно согласиться с Б. Террачини, что Уитней был ближе к Соссюру.

Одной из наиболее общих тем в теориях Уитнея и Соссюра является рассмотрение знаковой природы языка. На первых страницах «Жизни языка» мы находим следующее определение: «Язык в собственном смысле слова (*langage*) — это набор знаков, при помощи которых человек сознательно и намеренно выражает свою мысль для другого человека: это выражение, которое предназначено для передачи мысли»¹⁹. К знакам такого рода Уитней относит жесты, пантомимы, артикулируемые звуки и буквы, при этом он сразу же подчеркивает условный характер звуков и букв, а также и то, что буквы, как и жесты, подчинены звуковому языку. Ниже сказано: «Язык (*langage*) в каждом из своих элементов и в целом есть прежде всего знак идеи (мысли), знак, сопровождающий идею; делать что-либо другое центральной точкой зрения — значит вносить путаницу и разрушать естественные пропорции каждой части»²⁰.

¹⁵ F. de Saussure. Notes inédites. CFS, 1954, t. 12, p. 60. Genève.

¹⁶ Ibid., p. 64.

¹⁷ Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики, стр. 35.

¹⁸ См. W. D. Whitney, Language and the study of language, p. 5.

¹⁹ W. D. Whitney. La vie du langage, p. 1.

²⁰ Ibid., p. 13.

Объясняя процесс овладения языком у ребенка, Уитней определяет две особенности знака: «В очень точном и строгом смысле можно сказать, что каждое сказанное (употребляемое) слово есть произвольный и условный знак (*une signe arbitraire et conventionnelle*): произвольный, потому что из массы слов, которые человек использует, и миллионов, которые он мог бы использовать, любое другое слово могло быть применено к данной идее, условный, потому что причиной использования этого слова, а не другого, является то, что его уже использует общество, к которому принадлежит ребенок»²¹. Эти особенности знака объясняют, по мнению Уитней, причину языковых изменений как в области формы, так и в области смысла. Ниже, подчеркивая разницу средств коммуникации у человека и у животных, он объясняет ее тем, что у человека знаки полностью произвольны и условны, а у животных — инстинктивны. Даже там, где у человека выявляется элемент имитации, т. е. в ономастике, «между именем и вещью нет связи по необходимости, а есть лишь связь условности (*lien de convention*)»²², так как в разных языках ономастические слова отличаются по составу звуков. При сравнении этих высказываний с идеями Соссюра поражает то, что последний объединяет обе особенности в пределах одного принципа — произвольности, хотя разница между ними весьма четко выражена в словах Уитней.

Рассматривая знак в качестве средства выражения мысли, Уитней еще в своей первой книге высказывается весьма категорически: «Язык это не мысль, а мысль не язык...»²³. Вслед за Гумбольдтом Уитней трактует язык как форму, т. е. своеобразную изложницу (*parole*), заготовленную обществом, в которую послушно отливается мысль индивида. Однако Уитней особо говорит и об обратном воздействии языка на абстрагирующую работу сознания.

Начав свою книгу с определения языка как инструмента для выражения мысли, Уитней подходит к тому, что язык существует «прежде всего, как средство общения между людьми, все же прочие случаи его использования являются вторичными»²⁴. Уитней указывает, что язык, который ни для кого непонятен, кроме одного лица, не имеет права называться языком, и для того, чтобы артикулируемые звуки могли иметь это название, необходимо, чтобы они были приняты обществом, как бы мало оно ни было.

Вместе с тем особо подчеркивается индивидуальная деятельность в области языка, так как именно индивид продолжает традиции и вводит инновации: «Каждая частичка добавления или изменения имеет свое происхождение в инициативе индивида, но она утверждается и принимается обществом»²⁵. Б. Террачини писал, что Уитней стремился установить соотношение между языком и

²¹ Ibid., p. 15.

²² Ibid., p. 233.

²³ W. D. Whitney. *Language and the study of language*, p. 405.

²⁴ W. D. Whitney. *La vie du langage*, p. 124.

²⁵ Ibid., p. 127.

культурой, определив язык как форму культуры, он провозгласил антиномию между тенденцией индивида к нововведениям и централизаторской властью языкового коллектива. Уитней особо выделяет то, что именно общество является той силой, которая сохраняет единство языка: «Необходимость общения противостоит изменениям, но в то же время привычное общение обобщает принятые изменения, и свойство единства языка поддерживается в обществе»²⁶. На протяжении всей книги в многочисленных примерах Уитней демонстрирует социальный характер языка.

Несомненно, что свойство социальности языка было определено Соссюром под воздействием книги Уитнея, которая пользовалась весьма большой популярностью в Европе в конце XIX в. Почти через двадцать лет после выхода ее в свет распространились идеи французских социологов Э. Дюргейма и Г. Тарда; последний выступил с возражениями против теории первого. Спор между ними привлек внимание всего французского общества, в том числе и Соссюра, с интересом следившего за контрверзой социологов²⁷. Можно согласиться с В. Дорошевским, высказавшим еще в 30-е годы предположение, что Соссюр пытался примирить обе концепции в своем противопоставлении языка и речи²⁸, поскольку строгость понятия языка идет от Дюргейма, а уступка, сделанная в пользу речи, тяготеет к идеям Тарда. В. Дорошевский возвращается к этой мысли и позже: «Доктрину де Соссюра можно даже понять как двойную уступку: перед Дюргеймом — в области *langue* и перед Тардом — в области *parole*»²⁹.

Вслед за Дюргеймом Соссюр придавал языку характер существования вне общества и принудительности по отношению к отдельным членам этого общества, которые в свою очередь пассивны по отношению к языку. Однако для индивида Соссюр отвел область речи, в чем несомненно сказалось влияние Тарда. Если бы Соссюр шел лишь за Дюргеймом, то он остановился бы на признаках языка и не подчеркнул бы, что «у речевой деятельности есть и индивидуальная и социальная стороны, причем нельзя понять одну без другой»³⁰. Дюргейм резко противопоставлял индивидуальные и социальные явления, полагая, что «они различны по своей природе и между ними нет никакой связи»³¹.

²⁶ Ibid., 130. По мнению Б. Террачини, идея социальности языка сложилась у У. Уитнея под воздействием работ А. Смита (В. Terracini. Op. cit., p. 91).

²⁷ Об этом свидетельствует В. Дорошевский со слов одного из учеников Соссюра. W. Doroszewski. Le structuralisme linguistique. «Proceedings of the 8-th International Congress of linguists». Oslo, 1958, p. 543, fn. 3.

²⁸ W. Doroszewski. Quelques remarques sur les rapports de la sociologie et de la linguistique: Durkheim et Saussure «Psychologie du langage». Paris, 1933, p. 91.

²⁹ W. Doroszewski. Studia i szkice językoznawcze. Warszawa, 1962, p. 54.

³⁰ Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики, стр. 34.

³¹ Э. Дюргейм. Метод социологии. Киев, 1899, стр. 88 и сл.

Тард же учил, что ничего нет в обществе, чего не было бы в индивидуе, и что психическая жизнь индивида продолжается, развивается и расширяется в социальной жизни, поскольку между ними существует непрерывность, а социальная жизнь представлялась ему существующей на основе законов изобретения и подражания. Добавим, что Тард хорошо знал языковедческую литературу своего времени и постоянно ссыался на работы Уитнея, Бреаля, Дармстетера, так как «взгляд на социологию с особенной легкостью применяется к объяснению языка, его образования, его превращений»³². В противоположность Дюргейму, у которого проблемы языка по существу не затрагиваются, Тард уделяет много места рассуждениям об особенностях языка. Вслед за Тардом Соссюр указывал, что все изменения зарождаются в индивидуе в речи, однако сам он успел заняться лишь лингвистикой языка как наименее разработанной из выделенных им областей.

В виде заключения укажем, что мысль о социальном характере языка бесспорно сложилась у Соссюра под влиянием идей У. Уитнея, а теории французских социологов сыграли роль своеобразных катализаторов, которые не только ускорили, но и, так сказать, видоизменили «реакцию». Соссюр пошел дальше Уитнея и разобщил язык и речь как две стороны речевой деятельности, назвав это противопоставление первым перекрестком на исследовательском пути лингвиста, где надо выбирать, ибо следовать одновременно обеими путями не представляется возможным.

Идея системности языка, начавшая стихийно формироваться с самых первых шагов научной деятельности Ф. де Соссюра, его склонность мыслить дедуктивно в направлении, совпадающем в общих линиях с рационализмом XVII в., стремление сделать лингвистику математически точной наукой нашли поддержку при знакомстве с трудами представителей казанской школы. Не без воздействия учения И. А. Бодуэна де Куртене о статике и динамике сложилось противопоставление синхронической и диахронической лингвистик, которое Соссюр назвал вторым перекрестком на исследовательском пути лингвиста. Не затрагивая прочих идей «Курса общей лингвистики», отметим, что объединение основных принципиальных положений в пределах сравнительно небольшой книги, точнее — небольшого курса лекций, составляет неоспоримую заслугу самого Соссюра, который, помимо этого, впервые в истории лингвистики ввел рассмотрение реляционных свойств единиц языка в качестве их неотъемлемой характеристики.

Об этом писал к полувековой годовщине выхода в свет соссюрской книги Р. А. Будагов: «Новое понимание категории отношения и ее частной разновидности — «категории различия» — является важнейшим достижением лингвистики XX века. Это достижение действительно связано с именем Соссюра»³³.

³² Т. Тард. Социальная логика. СПб., 1901, стр. 249; см. также «Законы подражания». СПб., 1892.

³³ Р. А. Будагов. Соссюр и современное языкознание, стр. 7.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЯЗЫКИ И СТИЛИ

М. П. Алексеев

ЗАМЕТКИ О РУССКИХ СЛОВАХ У ФРАНЦУЗСКИХ ЛИТЕРАТОРОВ XIX В.

Историки французского языка лишь недавно начали изучать процессы проникновения русских слов во французскую литературу и обиходную речь. Наблюдения, обнародованные по этому поводу, однако, не только еще далеки от полноты, но и очень однообразны. Помимо того, они чаще всего основаны на тех данных, какие мог представить французский язык за последние десятилетия своего развития, т. е. в то время, когда число заимствований в нем из русского заметно возросло¹. Дальнейший подбор относящихся сюда сведений не только желателен, но и необходим для того, чтобы мы могли представить себе всю картину этого процесса в его исторической перспективе.

Возможная датировка лексических заимствований из русского языка представляет, конечно, острый интерес для историка языка, тем более что хронологические вопросы в лексикологии являются зачастую спорными и трудными для окончательного решения. Нижеследующие заметки ставят целью обратить внимание на несколько случаев проникновения русских слов во французские литературные тексты XIX в. Функции этих заимствований из русской речи были достаточно своеобразны.

В первые десятилетия XIX в. русский язык был еще мало известен во Франции, за исключением нескольких русских слов, ранее проникших книжным путем во французскую обиходную речь

¹ F. Brunot. Histoire de la langue française, t. VIII. Paris, 1934, p. 491; М. В. Сергиевский. История французского языка, изд. 2. М., 1947, стр. 252—254; Е. П. Мартынова. Об отражении русско-французских культурных связей во французском языке и литературе XIX в. Харьков, 1960; ее же. Об изучении русского языка во Франции в послеоктябрьский период. «Вопросы теории и истории языка». «Тр. филол. ф-та Харьковск. гос. ун-та», 1960, т. X, стр. 145—163 и др.

(например, *степь*² или *казак*). О русском языке даже литераторы во Франции не имели ни малейшего представления. Свидетельство этому находим в рассказе М. Н. Загоскина «Путешественник» (1820). В произведении изображен петербургский житель, совершающий поездку по Западной Европе. В одном из парижских театров он смотрит комедию, в которой выводится на сцену русский офицер: Вот русский офицер! — сказал мне сосед; — стойте, он сейчас заговорит, слушайте!

«Нгема, глебонишь попоиска рюскоф». «Какой странный язык!... Скажите, что это значит по-французски?» — «Это я думаю ни на каком языке ничего не значит», — отвечает ему путешественник. — «Мне кажется, сочинитель смеется над вами: он выдумал свой собственный язык и хочет вас уверить, что говорит по-русски». «Да, сударь, по-русски, сказал маленький человечек в круглом парике, сидевший позади меня. Я знаком с сочинителем комедии. Он делал последнюю кампанию, был в Москве и говорит сам очень хорошо по-русски». «О чем тут спорить? Это точно по-русски, — подхватил мой сосед: попоиска глебонишь настоящие русские слова; я сам тысячу раз слышал их от казаков, когда русские были в Париже»³. Этот рассказ сбивается на карикатуру. Между тем он исторически правдоподобен; ему нетрудно подыскать параллели и во французской литературе. Так, в драматическом эскизе Фонжрэ (Дитмера и Каве) «Союзники, или нашествие» («Les Alliés ou l'invasion») на сцене появляется французский генерал по фамилии Vlagoff; обращаясь к казакам, он говорит якобы на русском языке: Brik neu roll dinks afskir! И казаки делают вид, что его поняли, и немедленно уходят со сцены⁴. Таким образом, еще в 20-е годы функцию русского языка могла выполнять на французской сцене безвкусная тарабарщина.

Между тем г-жа де Сталь, побывав в России, писала в своей книге «Десять лет изгнания»: «Приятность и звучность их языка бросаются в глаза даже тем, кто не понимает его; он, вероятно, очень пригоден для музыки и поэзии»... «Я сказала бы, что в нем есть что-то металлическое: слышатся словно удары по меди, когда

² Б. В. Томашевский в кн. «Стилистика и стихосложение» (Л., 1959, стр. 111) о слове *степь* замечает, что оно известно во французском языке с 1752 г. в форме «*стерре*». Еще В. Г. Белинский в своей рецензии 1845 г., помещенной в «Отечественных записках» на «Словарь иностранных слов» петрашевцев, писал: «Все народы меняются словами и занимают их друг у друга. В Западной Европе по ее географическому положению нет предмета, который дал бы понятие о степи, а оттого во французский язык вошло русское слово «*стерре*».

³ М. Н. Загоскин. Полное собрание сочинений, т. 10. СПб., 1898, стр. 381—382. Первоначально очерк «Путешественник» напечатан в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения», 1820, № 6, стр. 269—289. Все цитируемое письмо почти без изменений вошло в позднейший роман Загоскина «Тоска по родине» (1839).

⁴ М. de Fongerey. Les soirées de Neuilly. Esquisses dramatiques et historiques. Paris, 1827, p. 54.

русские произносят некоторые слова своего языка»⁵, а Ипполит Оже, попавший в Россию юношей (вывезенный, кстати сказать, из Франции русскими войсками в 1815 г.), изучив русский язык, всячески расхваливал его качества⁶.

Неудивительно, что французские поэты-романтики с присущим им влечением к экзотическому колориту заинтересовались русским языком и усвоили ряд слов и речений по книгам или из общения с русскими путешественниками. Знал их А. Ламартин. В своей прозаической и поздней «Истории России» он объясняет французским читателям, что по-русски «*Bonjour mes enfants*» — звучит «*sdrastvoustië rebeti*», а «*fourashka*» означает «*la casquette militaire*»⁷.

Немало подобных примеров можно привести из книг французских писателей. На первом месте стоят здесь, конечно, произведения таких писателей, которые побывали в России и смогли окунуться в стихию звучащей русской речи. Конечно, восприятие иностранной речи — процесс очень индивидуальный, но все же стоит отметить, что по отношению к русскому языку французские поэты оказались более восприимчивыми. Бальзак, например, хотя и довольно долго пробыл в нашей стране, но русский (или украинский) язык так и не усвоил; он всецело остался в пределах сугубо житейской практики, запомнив лишь несколько ходовых слов (*бриска, кибитка, подорожная, карета, мужик, кнут*)⁸. Художественные особенности русской речи не привлекли к себе его внимание. А. Дюма приводит много русских слов и выражений, но все они расставлены на страницах его друзьями и в этом отношении походят на так называемые «переводы» его с русского языка.

Иначе отнесся к русскому языку Теофиль Готье. В двух романах его «Путешествия в Россию» попадает множество русских слов и фраз, свидетельствующих, что они являлись предметами его эстетического анализа; интересен, например, целый небольшой трактат Готье о звуковых впечатлениях и эффектах, которые производят на французское ухо произнесенное вслух наименование «Нижний Новгород», — города, в котором ему удалось побывать⁹. Одно из стихотворений Т. Готье, написанное им в России в 1859 г., было ему внушено акварелями художника Бланшара, которые он видел в царскосельском дворце. Одна из этих акварелей изображала деревенскую девушку среди розовых кустов; в посвященное ей стихотворение Готье включил обиход-

⁵ «Литературное наследство», 1939, № 33—34, стр. 271.

⁶ *Mémoires d'Auger (1810—1859)*. «Publ. pour la première fois par Paul Cottin». Paris, 1891, p. 74 («Les leçons de Russe que je prenais m'initiaient à la grâce et à l'énergie de cette langue qui, si l'on en venait à l'adaption d'une langue universelle, serait peut-être la seule qu'en dût choisir, tant son mécanisme est simple et tant elle est riche d'expressions»).

⁷ A. Lamartine. *Histoire de la Russie*, t. II. Paris, 1855, pp. 287, 349.

⁸ Л. Гроссман. Бальзак в России. «Литературное наследство», 1937, № 31—32, стр. 319.

⁹ Th. Gautier. *Voyage en Russie*. Paris, 1867, t. II, p. 209. В тексте этой книги мы находим много редких для иностранца русских слов наряду с такими,

ную русскую фразу. Зритель этой понравившейся ему акварели, взглянув на изображение девушки —

... la pomme Maïa;

Timide, elle sourit sur un thrône exposée

Et chacun en passant lui dit: Doucha maïa,

что, по словам поэта, означает: «Аме де мон аме, ен руссе»¹⁰.

Приведем еще один пример употребления русского слова *телега*, которое стоит в заглавии стихотворения Поля Жюльвекура в его сборнике стихотворений «Зимние цветы». В этом стихотворении — «песенке русского кучера» Жюльвекур, воспевая русскую телегу и быструю езду, почему-то превратил ее в предмет мужского рода:

Le Teleg:

Chansonnette de cocher russe

Заглавие пояснено в ссылке: «Charrette russe à quatre roues. — Equipage ordinaire de courrier». Вот начало этого стихотворения:

Ah! quel beau temps pour le voyage! J'ai trois chevaux dont le pied vole
Dans mon teleg qui veut courir? Et qui n'ont pas pour de lutin;
Prenez, prince, mon équipage, Ne connaissant que ma parole
Si vite on va, qu'on croit mourir. Et la clochette tin, tin, etc.¹¹.

Слово *телега*, но уже в женском роде и в различных вариантах транслитерации было известно и другим французским писателям, например, тому же Т. Готье¹². Любопытно, что его знал и им пользовался Г. Флобер, упомянувший une télègue в одном из своих писем к И. С. Тургеневу («...vos scènes de la vie russe me donnent envie d'être secoué en télègue au milieu des champs couverts de neige...») ¹³. Позднее Поль Дерулед, автор «Chants du soldat», сочинил стихотворение под заглавием «Nitchévo», в котором постарался придать особое национально-философское значение этому модному в конце XIX в. русскому слову; как известно, оно распространилось на всем Западе ¹⁴.

Приведенные примеры показывают, что дальнейшее изучение русской лексики во французской поэзии может дать интересные выводы для истории распространения русского языка за рубежом.

какие были общеизвестны: «les padiezdes» (подъезды), «berigiss» (берегись), «gosprouski» (сани-ропуски), наряду с moujik, caret, dvornik, cafetan и т. д. Есть, однако, у Т. Готье и ошибки: «troïka» — это не «сани», как он полагал, увидев Россию только зимой, на что в свое время обратил внимание Jules Legras в «Au pays russe» (Paris, 1895, p. 38).

¹⁰ Spoelberch de Lovenjoul. Histoire des oeuvres de T. Gautier. Paris, 1882, p. 551. Статья Т. Готье «Les Aquarelles de Blanchard» была напечатана в «Journal de St.-Petersbourg», 1859. Несколько замечаний о них вошли во второй выпуск его «Trésors d'art de la Russie».

¹¹ P. de Julvecourt. Fleurs d'Hiver. Poésies, 1842, pp. 165—169. О Жюльвекуре см. «Остафьевский архив кн. Вяземских», т. III, стр. 680—699; «Русский архив», 1897, кн. II, стр. 551—552; кн. III, стр. 526; 1900, т. III, стр. 305—306.

¹² Th. Gautier. Voyage en Russie, t. I, p. 155 («les télègas»).

¹³ G. Flaubert. Lettres inédites à Tourguénéff. Monaco, 1946, p. 3.

¹⁴ «Звенья», кн. III—IV. М., 1934, стр. 899—900.

О СИНТАКСИЧЕСКИХ ТИПАХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ

В любом синтаксическом исследовании, будь то исследование грамматическое или стилистическое по своей направленности, представляется полезным различать более последовательно, чем это иногда приходится наблюдать, два аспекта построения речи: синтагматику, т. е. законы сочетаемости слов, и учение о высказывании, т. е. законы актуализации слов или образуемых словами синтагматических цепочек.

Чтобы показать практический смысл этого положения, обратимся к синтаксической эмфазе, т. е. тем синтаксическим построениям, которые относятся к сфере грамматических структур и в то же время прямо подводят к области стиля, давая ключ к его синтаксической типологии. Способы, которыми пользуются языки для выделения элементов предложения, создают впечатление большого разнообразия. Однако при более пристальном рассмотрении выясняется, что они опираются в основном на два принципа. Одна группа эмфатических конструкций базируется на синтагматическом принципе выделения. Смысл эмфазы состоит в инвертировании иерархических отношений между членами словосочетания. Эмфатическому выделению может подвергаться только синтагматически зависимый элемент. Эмфаза определений осуществляется путем их субстантивации и переключения в главную, синтаксически управляющую позицию по отношению к определяемому. Ср. русск. *синее небо* и *синева неба*, *бледная земля* и *бледность земли*. Ср. у А. Платонова: Солнце, как слепота, находилось равнодушно над низовой *бледностью земли*.

В романских языках имеются специальные эмфатические конструкции, пользующиеся средствами синтагматической инверсии. Ср. исп. *esa alocada Luisa* и *esa alocada de Luisa*, *mi angustiosa situación* и *lo angustioso de mi situación*, фр. *ce valet fripon* и *ce fripon de valet*. В этих примерах эмфаза заключается в изменении направления подчинительной связи внутри словосочетания и затрагивает иерархическую организацию синтагматического ряда.

Другая, не менее обширная, группа усилительных конструкций опирается на совсем иной принцип, относящийся не к области синтагматической иерархии, а к актуализованности высказывания как коммуникативной единицы языка. Если в синтагматической эмфазе подчеркивалась степень важности того или другого элемента сообщения, то в этом последнем случае акцентируется действительность события. Простейший способ эмфазы этого типа создают модальные слова со значением «действительно, в самом деле». Ср. русск. *Она и в самом деле хороша собой. Но я действительно так думаю*. Модальные слова этого значения широко применяются в английском языке. Ср. *He really did*

so. I. *actually* believe it. Этот же принцип эмфазы (усиление актуализованности высказывания) реализуется и при помощи эквивалента предложения «да», укрепляющего актуализирующую силу сказуемого (ср. исп. *Pedro sí que lo sabe*) и при помощи вспомогательного глагола, выполняющего аналогичную функцию (ср. англ. *He did come. I do like it*, порт. *Eu quero é trabalhar*). Эмфаза актуализации, осложненная перемещением выделяемого элемента в позицию сказуемого (или во всяком случае ремы), может быть направлена также на выделение именных членов предложения, получающих отдельную актуализацию. Во всех романских языках имеются конструкции, построенные на базе лексически опустошенного глагола «быть». Ср. фр. *C'est vous que j'aime*; ит. *Sei tu che hai parlato*; исп. *El que tiene que hablar eres tú*; порт *Fui eu que arranjei a coisa*. Эмфаза актуализации часто распространяется и на все предложение в целом, рассматриваемое как нерасчлененная коммуникативная единица. Предложение получает в этом случае двойную актуализацию, становясь ремой надстроенного над ним вторичного предложения. Ср. фр. *Ce n'est pas que j'aie l'intention de vous blesser*; исп. *Es que no lo sabe*. Такой же добавочной актуализации могут подвергаться и придаточные предложения. Ср. исп. *Si quieres saber por qué abrí la puerta fue porque creí que eras tú*. Ср. также введение определительных предложений, единственной функцией которых является выражение актуализованности слова. Ср. фр. *Imbécil que tu es*; исп. *Golosazo, comilón que tú eres*.

Разобранные примеры эмфазы преимущественно связаны с использованием грамматических средств актуализации — глагола в личной форме и его эквивалентов. Не менее важным способом образования высказывания как коммуникативной единицы языка является интонация. Вследствие этой функциональной нагрузки интонация может служить эмфатическим целям без существенных изменений синтагматических отношений в речевой цепи. При интонационной эмфазе происходит расчленение синтагматически связанного ряда. Ср. русск. *Он вошел. Бледный. Без шапки. С опущенной головой*; исп. *Es un hombre de estatura regular. De facciones regulares. Agradable en conjunto. Viste modestamente. Casi con descuido*. Иерархически организованная цепочка распадается на сегменты, обладающие законченной интонацией, которая превращает каждый из них в самостоятельное и как бы равноправное высказывание. Синтагматическая подчиненность выделяемого элемента нейтрализуется его интонационной независимостью. Происходит дезинтеграция предложения.

Эмфатические средства синтаксиса (наши наблюдения велись над романским синтаксисом с привлечением материала русского и английского языков) достаточно четко распределяются между синтагматикой и способами отнесения высказывания к действительности, показывая тем самым, сколь важно различать эти два аспекта синтаксиса в грамматическом исследовании.

Обращение к эмфазе, раскрытие тех принципов, на которые она опирается, может послужить мостиком, который позволит перейти в более обширную область синтаксиса художественной прозы, составляющую сейчас наш основной предмет.

Анализ эмфатических конструкций приближает к пониманию одной из сторон синтаксической типологии прозы. И это естественно, поскольку расстановка акцентов образует неотъемлемую часть ткани художественного произведения. Основываясь на замечании Л. Толстого о Пушкине, Ю. Тынянов писал: «Каждое художественное произведение ставит в иерархический ряд равные предметы, а разные предметы заключает в равный ряд. Каждая конструкция перегруппировывает мир»¹. Постоянная реорганизация элементов сообщения формирует синтаксическую специфику прозы. Даже ограничив наблюдения эмфазой, можно вывести элементарные модели трех синтаксических типов прозы. Для первого типа прозы, который условно назовем «классической» или «иерархической» прозой, характерна синтагматическая эмфаза. Так, например, необходимость выделения эпитета имени существительного побуждает перевести его в синтагматически управляющую позицию относительно определяемого. Предложение *Его ослепил белый снег* преобразуется в *Его ослепила белизна снега*. Второй тип прозы предпочитает использовать для усиления элементов сообщения добавочную актуализацию, вводя дополнительное сказуемое. Предложение *Его ослепил белый снег* превращается в два грамматически и интонационно самостоятельных предложения: *Его ослепил снег. Он был белый*. Каждый элемент информации становится материалом для создания отдельного предложения. Наконец, третьему типу прозы свойственно выделение членов предложения путем расчленения синтагматически связанного ряда и интонационного обособления каждого отрезка. Предложение *Его ослепил белый снег* преобразуется в два интонационно оформленных высказывания: *Его ослепил снег. Белый*. Здесь намечается попытка выхода за жесткие пределы стандартного синтаксиса письменной речи. При этом типе эмфазы как бы ставятся в равный ряд разные предметы.

Приведенные образчики прозы крайне примитивны, но они отражают существенную черту определенных синтаксических разновидностей текста и в некотором роде дают ключ к пониманию целой системы синтаксических средств, связанных с художественной значимостью прозы. В каждом образце внимание направлено на конструктивный для данного типа прозы фактор — *д о м и н а н т у*, подчиняющую себе прочие синтаксические черты. Выделение конструктивного фактора в стиле художественного произведения представляется существенным потому, что иначе невозможно

¹ Ю. Тынянов. Архаисты и новаторы. Л., 1929, стр. 569.

понять, какими средствами создается динамика его формы. «Динамика формы, — писал Ю. Тынянов, — есть непрерывное нарушение автоматизма, непрерывное выдвигание конструктивного фактора и деформация факторов подчиненных»².

Неслучайность выбранных моделей может быть косвенным образом подтверждена тем, что именно указанные черты оказались конструктивными и для таких «интуитивных типологов», какими можно считать авторов литературных пародий. Так, шаржируя стиль писателей, строящих свой художественный метод на иерархической стороне прозы, А. Архангельский прибегал к сочетаниям: *волосатая звериность бороды, дубовость стола, чернота глаз, губная сухость*³. Желая показать пристрастие некоторых современных авторов к самостоятельному предиктированию каждого элемента сообщения (второй тип прозы), Архангельский следующим образом переработал пушкинские фразы *Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. Все покрыто было снегом*: «Вокруг меня были пустыни. Они простирались. Они были печальны. Они были пересечены холмами. Они были пересечены оврагами. Они были покрыты снегом. Это был добротный снег. Он скрипел. Он похрустывал. Он сверкал. Он сипел. Он не таял. Он лежал»⁴. Наконец, стиль третьего типа пародируется Архангельским следующей переделкой другого предложения из «Капитанской дочки»: *Я приближался. К месту моего назначения. Это было в конце декабря. Позапрошлого года. В девять утра по московскому времени*⁵.

Отмеченными признаками (т. е. склонностью к определенному способу эмфазы), разумеется, не ограничивается типологическая характеристика каждого из выделенных прозаических стилей. Ведь определить специфику каждого стиля значит не только выявить конструктивный для ее синтаксиса фактор, но и показать способы его взаимодействия с факторами подчиненными. «Изменение соотношения между конструктивным фактором и остальными — одно из непререкаемых требований динамической формы»⁶, — писал Ю. Тынянов.

Теперь рассмотрим основные черты наиболее резко противопоставленных друг другу первого и второго-третьего синтаксических разновидностей прозы. В этой очень неполной характеристике второй и третий синтаксические типы объединены и потому, что оба они отличаются от «классической» прозы разрушением синтагматической иерархии, и потому, что в конкретных произведениях они нередко получают совместную реализацию.

² Ю. Тынянов. Проблема стихотворного языка. Л., 1924, стр. 27.

³ А. Архангельский. Избранное. М., 1946, стр. 89.

⁴ Там же, стр. 104.

⁵ Там же.

⁶ Ю. Тынянов. Проблема стихотворного языка, стр. 27 (разрядка Ю. Тынянова).

Интересующие нас типы прозы представлены многочисленными разновидностями, от индивидуальных свойств которых здесь придется отвлечься, поскольку мы стремимся к некоторому обобщению наиболее характерных черт, определяющих синтаксическую типологию прозы.

Итак, первый тип прозы развивает и совершенствует по преимуществу технику синтагматического аспекта синтаксиса, являющегося для него доминантой. Создается чрезвычайно разветвленная и тонко нюансированная система синтагматических средств связи, разрабатываются способы иерархического соотнесения элементов предложения, формируется длинный синтагматический период, включающий в себя несколько грамматических центров актуализации высказывания — глаголов в личной форме. Отдельные предложения интегрируются в один сложный синтагматический цикл. Например: *Вслед за доктором приехала Долли. Она знала, что в этот день должен быть консилиум и, несмотря на то, что недавно поднялась от родов (она родила девочку в конце зимы), несмотря на то, что у нее было много своего горя и забот, она, оставив ребенка и заболевшую девочку, захала узнать об участии Кити, которая решалась нынче* (Л. Толстой. Анна Каренина, т. 1, ч. 2, 2).

Мостики логических связей перекидываются и между отдельными предложениями. Для этого используются такие вводные слова, как *поэтому, вот почему, оттого, итак, следовательно, вопреки этому, все же* и т. д. Логические, временные и локальные связи пронизывают целые периоды текста, проникая и в чисто описательную прозу. Элементы опыта, передаваемые в сообщении, получают точную и эксплицитную иерархическую соотнесенность. Автор как бы стремится создать целостную картину мира.

Потребность в выражении связей настолько велика, что знаки зависимостей ставятся даже тогда, когда содержание зависимости практически отсутствует. Используются неотчетливые по значению обороты *между тем, вместе с тем, при этом*. Появляются условные и целевые предложения, в которых не выражается ни цель, ни условие. Любопытно отметить, что употребление целевых союзов для выражения простой временной последовательности действий, получающее иногда поэтическое звучание, удержалось в некоторых прозаических текстах, в которых уже наметился отход от прозы «классического» типа. Ср. *И ложился на землю тот шепот и — шелестящий осинный багрец, чтобы виться и гнаться у ног...* (А. Б е л ы й. Петербург. М., 1935, стр. 73); *Все змеи разрезались на алмазные струнки; путались в серебряную канитель, чтоб в поверхности водной качнуться звездами* (Там же, стр. 188).

Та или другая соотнесенность элементов сообщения зависит от точки зрения на события, от воззрений говорящего. На связь иерархической организации прозы с личностью автора обратил внимание Тынянов, который отметил, что уже простое снятие иерархических отношений делает стиль нейтральным, «убирает»

рассказчика⁷. Этим можно отчасти объяснить наблюдаемую в «классической» прозе тенденцию к разделению модуса и диктума (по терминологии Ш. Балли).

Не случайно, по-видимому, толстовские фразы, отличающиеся сложной иерархической организацией, так часто начинаются словами *он не понял, он знал, он верил, он видел* и т. п. Ср. *Пьер знал; что он не виноват, потому что ему нельзя было приехать раньше; знал, что этот взрыв с ее стороны непримечен, и знал, что через две минуты это пройдет; он знал, главное, что ему самому было весело и радостно* (Л. Толстой. Война и мир, т. IV, ч. 4, XI). Разделенность модуса и диктума, при которой модус помещен в синтаксически ключевую позицию главного предложения, стоит подчеркнуть потому, что во многих последующих направлениях и стилях художественной прозы модус нарочито маскируется. Формой повествования становится несобственно-прямая речь, в которой иногда синтезируется ряд «модусов» или точек зрения, как бы дающих одновременный показ явлений в разных ракурсах⁸.

В синтагматической прозе все элементы точно между собой соотносены и пропорциональны, причем эта задача выполнена средствами грамматической модели языка. Иерархия элементов сообщения предстает перед читателем через призму налагаемых на нее синтагматических связей. Функциональная перспектива предложения раскрывается через его грамматическое строение.

Если попытаться суммарно охарактеризовать синтаксис «классической» прозы, то в нем можно было бы выделить следующие черты: 1) развитие, уточнение и отделка синтагматических средств связи, 2) синтагматическая разветвленность предложения, 3) развитость межпредложенческих средств связи, 4) разделенность модуса и диктума, 5) соответствие функциональной, коммуникативной нагрузки предложения его грамматической структуре, 6) совпадение границ синтагматической цепочки с границами высказывания, т. е. совмещенность грамматических и интонационных единиц, 7) актуализация высказывания (его отнесенность к действительности) при помощи грамматических средств языка, т. е. через глагол в личной форме, 8) слабая функциональная нагруженность интонации. Перечисленные черты, разумеется, не составляют единственных и исключительных характеристик этого типа прозы, но они формируют его профилирующие особенности в области синтаксиса. Художественный эффект в этой сфере достигается известными «фигурами речи», такими, как синтаксический параллелизм, разновидности гипербатона, анаколуп и т. п. Все они относятся к синтагматическому аспекту синтаксиса и часто состоят в смещении формальных и логических связей между элементами коммуникации. Разработка основной техники «художест-

⁷ Ю. Тынянов. Архаисты и новаторы, стр. 287.

⁸ Ряд тонких суждений о видах и функциях несобственно-прямой речи содержится в книге: В. Н. Волошинов. Марксизм и философия языка. Л., 1929, стр. 158—165.

венного слова» идет в другом направлении и касается лексико-семантического аспекта речи. Поэтому неслучайно изучение стиля произведений художественной литературы, написанных «классической» прозой, шире охватывает его лексическую сторону, нежели синтаксическое построение.

Развитие прозы синтагматической и «молчащей», читаемой скорее глазом, чем голосом (с голосом связывается в ней в большей степени эмоциональная, чем функциональная значимость), перспективной и логически упорядоченной, во многих отношениях совпадает с совершенствованием синтаксиса литературного языка (точнее, *Schriftsprache*). Для последнего характерны такие процессы, как интенсивная разработка системы подчинения, переход лексических единиц в категорию синтагматических средств связи (ср. *несмотря на, благодаря, в связи с, по линии, вследствие* и т. п.), усиление грамматических средств актуализации предложения в ущерб интонации, функциональная роль которой идет на убыль. Говоря обобщенно, можно было бы утверждать, что синтаксическая структура «классической» прозы имеет черты сходства с языком научного текста, поскольку оба эти стиля выросли и сформировались на основе письменного литературного языка.

Иерархической прозе может быть противопоставлена иная синтаксическая разновидность текста, которая условно и за отсутствием лучшего термина будет ниже называться «актуализирующей» (или поэтической). Если в «классическом» периоде основная ставка делается на разработку синтагматических отношений, зависимостей и связей, то в этом втором типе прозы ведущим оказывается синтаксис актуализации. Конструктивным фактором становится способ отнесения высказывания к действительности, подчиняющий себе другие аспекты предложения, в том числе и его синтагматическую иерархию. Последняя проявляет тенденцию к распадению, вследствие чего такую прозу иногда называют «рубленой». Каждый тип прозы развивает по преимуществу один из аспектов синтаксиса, о которых говорилось в начале статьи.

Если искать аналог структуры двух типов прозы в лексико-семантической сфере, то можно было бы уподобить первую ее разновидность сравнению, в котором эксплицируется отношение между некоторыми денотатами (А таким-то признаком напоминает Б), второй же тип прозы можно было бы сопоставить с метафорой, дающей непосредственную актуализацию образа, совмещающей в одной плоскости два понятия, отношение между которыми остается имплицитным.

В актуализирующей прозе средствам синтагматической связи, в особенности подчинительным отношениям, отведена очень скромная роль. Покажем это на примере следующего фрагмента, взятого из повести Ю. Олеши «Зависть»:

Меня выпустила уборщица. Бабичева уже нет. Традиционное молоко выпито. На столе мутный стакан. Рядом тарелка с пеньем, похожим на еврейские буквы.

Жизнь человека ничтожна. Грозно движение миров. Когда я поселился здесь, солнечный заяц в два часа дня сидел на косяке двери. Прошло тридцать шесть дней. Заяц перепрыгнул в другую комнату. Земля прошла очередную часть пути. Солнечный зайчик, детская игрушка, напоминает нам о вечности (Ю. Олеша. Зависть, ч. I, XII).

В этом отрывке (его можно было бы продолжить) фигурирует только один подчинительный союз (*когда*), выражающий временное (а не логическое) соотношение действий. Нет ни одного элемента, который бы устанавливал логическую связь между отдельными предложениями. Не использовано относительное подчинение.

Сходная синтаксическая организация текста характерна и для многих произведений публицистики. Она проникает и в некоторые научные тексты (ср., например, стиль исследований по теории литературы В. Шкловского). Для прозы этого типа характерно свертывание синтаксической структуры предложения. Остов, скрепляющий между собой части текста, тщательно скрыт от читателя. В такой прозе, как отмечал В. Шкловский, наблюдается преобладание «вещи» над «отношением»⁹.

Точной и эксплицитной иерархии элементов «классического» предложения противостоит в актуализирующей прозе тенденция к созданию эффекта коммуникативной равнозначности звеньев синтагматической цепочки, которая с этой целью дробится и из частей которой образуются отдельные высказывания. Ср. *Выходит великий гонщик. Без шапки. И еще какие-то люди с ним. То же рыжие* (Ю. Олеша. Цепь); *Нет той квартиры. Той постели. Тех книг и статей* (В. Шкловский. Сергей Эйзенштейн); *Нет, ему нужен был именно этот — чужой. Мечтанный. Невозможный. Немошный* (М. Цветаева. Мой Пушкин).

Проза подобного типа стремится создать у читателя прежде всего непосредственные, «актуальные» ощущения, вызвать «эффект присутствия», оказать эмоциональное воздействие. К отрезкам сегментированного предложения может быть применен термин «словесный жест», которым точно передается подчеркнутая актуализованность, дейкτικότητα каждого сегмента. Различие в стилистической функции синтагматического и актуализирующего механизмов синтаксиса можно продемонстрировать, сравнив связный лозунг «Свобода, равенство и братство!» с его расчлененной формой «Свобода! Равенство! Братство!»¹⁰.

Фактор актуализации (отнесения к действительности) элементов сообщения подчиняет себе и деформирует синтагматическую организацию высказывания, разрушает ее внутреннюю иерархию. Характерно, что в актуализирующем тексте возможны случаи

⁹ В. Шкловский. Жили-были. М., «Советский писатель», 1966, стр. 484.

¹⁰ Об использовании парцеллирования в современной русской художественной литературе см. подробно: Е. А. Иванчикова. Парцелляция, ее коммуникативно-экспрессивные и синтаксические функции. В кн.: «Морфология и синтаксис современного русского литературного языка». М., «Наука», 1968, стр. 277—301.

полного устранения иерархической вершины предложения. Приведем в пример начало стихотворения М. Цветаевой «Петр и Пушкин»: *Не флотом, не потом, не задом/В заплатах, не шведом у ног/Не ростом — из всякого ряду,/Не сносом — всего чему срок/Не лотом, не ботом, не пивом/Немецким — сквозь кнастеров дым/И даже и не Петро-дивом/Своим (Петро-делом своим!).* Из приведенного текста удалена синтагматически организующая его вершина — субъектно-предикативная пара: *Петр прославился*. Аналогично построено и другое стихотворение М. Цветаевой «По холмам — круглым и смуглым», в котором каждая строфа состоит из четырех функционально различных обстоятельств: *по холмам (пескам, волнам) ... под лучом... сапожком... за плащом* (ср. *По холмам — круглым и смуглым,/Под лучом — сильным и пыльным, сапожком — робким и кротким — /За плащом — рдяным и рваным*), причем синтагматически подчиняющее их себе сказуемое отсутствует. Нам хотелось бы подчеркнуть, что в любом тексте, прозаическом или стихотворном, коль скоро в качестве доминирующего фактора выдвигается в нем фактор актуализации, происходит нарушение целостности иерархической пирамиды, столь характерной для «классического» периода.

Особо следует сказать о распределении в «поэтической» прозе динамических центров повествования. Если естественным динамическим центром предложения служит глагол в личной форме, то в прозе интересующего нас типа очень часто происходит смещение динамического центра в сторону имени, в котором сосредоточивается главный заряд повествования. Когда основная энергия мысли концентрируется в глаголе-сказуемом, т. е. элементе, динамичном по своей грамматической природе, то она обретает естественный выход. Когда же динамический центр зажат в именах, то он не получает разрядки. Такие предложения подобны сжатой пружине. Приведем несколько примеров, взятых из мемуарной прозы А. Белого, для которой названное явление исключительно характерно: *Пока же ход жизни его нами виделся в звывом к зениту грохочущей фазтоновой колесницы* (А. Белый. Между двух революций. Л., 1934, 338); *Он был — дикий рыв во все стороны* (Там же, 346); *На университетском дворе — беготня и таск ящиков... окрик паролей и куда-то откуда-то спешный проход десятков* (Там же, стр. 43), *фырк, дерг, вскид руки, вновь зажим на коленях их с недоумением* (А. Белый. Начало века. М., 1933, стр. 164); *Рядом — брык, коловорот, перепрыги: Рачинский и Эллис* (Там же, стр. 362); *Вместо раздвоенных вздохов из задержки — крепкий порыв* (Там же, стр. 306). Подобные предложения, которыми особенно изобилует проза Белого, как бы застыли в динамической позиции. Они взметнулись, но не разрядили свой порыв в действие.

Продолжая характеристику динамического аспекта «поэтической» прозы, можно указать на причудливость смещения актуального членения предложения сравнительно с его синтаксической

расчлененностью. Расчлененность, выражающая динамику предикативных отношений (отношений темы и ремы), свободно и произвольно режет высказывание, разобщая тесно между собой связанные звенья синтагматической цепи. И в этом случае фактор синтагматической иерархии оказывается подчиненным и в известном смысле деформированным. Когда актуальное членение предложения совпадает с его грамматическим членением, то раздельность подлежащего и сказуемого подчеркивается усилением паузы, увеличением интонационного «зазора», иногда отмечаемого на письме при помощи тире. Ср. *Он — нас не одобрял* (А. Белый. Начало века, стр. 422); *Мы ехали выговориться. А Блоки — молчали* (А. Белый. Между двух революций, стр. 22); *Кричите — вы; кричим — мы; вы — по пустякам; мы — о деле* (Там же, стр. 34), *Мы — познакомились; я посетил его* (там же, стр. 149).

Уже из предшествующего изложения явствует, что в «поэтической» прозе функциональная роль интонации чрезвычайно велика. Интонация может передавать подчинительные отношения внутри предложения, она нередко служит единственным средством актуализации высказывания. Такова ее роль в многочисленных безглагольных предложениях, которыми изобилует этот тип прозы. Интонация перекраивает синтагматические цепочки, члени их на отдельные высказывания. Она свободно передвигает актуальное членение по синтагматической шкале. Роль интонации, кстати, хорошо понимали и некоторые авторы, склонные к прозе этого типа. А. Белый прямо говорил о себе: «Я пишу не для чтения глазами, а для читателя, внутренне произносящего мой текст (...) Я сознательно навязываю свой голос: звуком слов и расстановкой частей фразы»¹¹. И далее: «Считаю все это нужным сказать, чтобы читатель читал меня, став в слуховой фокус; если он ему чужд, пусть закроет книгу; очки — для глаз, а не для носа; табак для носа, а не для глаз. Всякое намерение имеет свои средства»¹².

Резюмируем сказанное об актуализирующей прозе. В ней обращают на себя внимание следующие черты, относящиеся к ее синтаксической организации: 1) разрушение синтагматической иерархии, 2) поиски иных, несобственно синтагматических, средств создания связности текста, 3) тенденция к самостоятельному предикативанию каждого элемента информации, 4) дробление синтагматической цепочки на ряд интонационно законченных высказываний, дезинтеграция предложения, 5) тенденция формировать высказывание как коммуникативную единицу интонационными, а не собственно грамматическими средствами, следствием чего является рост количества безглагольных предложений, в том числе и экзистенциального типа, 6) заметный и частый сдвиг функциональной перспективы предложения относительно его грамматического членения, 7) тенденция к перемещению динамического центра предложения в сферу имен, 8) нерасчлененность

¹¹ А. Белый. Маски. Вместо предисловия. М., 1932, стр. 9—10.

¹² Там же, стр. 12.

модуса и диктума. Небольшой размер статьи не позволяет раскрыть более подробно перечисленные черты.

Те внешние приемы, которые были отмечены как характерные для разных типологических разновидностей прозы, сами по себе не новы. Развитость иерархических и логических отношений сближает художественную прозу с научным текстом. Сегментация предложений в актуализирующей прозе отчасти повторяет присоединительные конструкции разговорной речи. С устной речью сближает прозу этого типа и функциональная роль интонации. Разрушение синтагматических зависимостей и кажущаяся бессвязность текста (так называемый «рубленный» синтаксис), свойственная некоторым авторам, вызывает в памяти газетную хронику или репортаж. Сжатая эллиптичность прозы заставляет говорить о телеграфном стиле. Безглагольность напоминает о языке плаката и рекламы. Все эти аналогии известны. В них отмечается проникновение в художественную прозу элементов разных функциональных стилей речи. Нам хотелось бы здесь, однако, подчеркнуть не столько эти аналогии, сколько глубокое функциональное различие названных приемов внутри разных систем. Так, например функция сегментации в художественном тексте не имеет ничего общего с ее ролью в устном разговоре. Поэтому к сегментации прибегают и те авторы, которым органически чужды интонации разговорной речи. Элементы разных стилей, «попадая в художественный стиль, продолжают жить там не самостоятельно, а в системе совершенно новых отношений. Именно поэтому не существует, например, разговорного художественного стиля или научного художественного стиля, но могут бытовать самые различные элементы самых различных стилей в системе художественного стиля, которому они подчиняются как низшее высшему»¹³.

В заключение отметим, что изменение художественного метода, наблюдаемое в прозе, аналогично процессам, давно обратившим на себя внимание в других видах искусств (ср. утрату перспективы и целостности модели в живописи, несовпадение ритмических и семантико-синтаксических групп в поэзии, крупный план в кино, актуализирующий образ вне его связи с окружением и т. п.). Это побуждает искать общий смысл названных явлений. Выше была предложена чисто лингвистическая (собственно, грамматическая) интерпретация двух типологических разновидностей прозы. Однако извлекаемая из нее общая формула — изменение соотношения между техникой связи, устанавливающей иерархическую соподчиненность частей, и техникой актуализации образа, выдвинувшее понятие монтажа на место «синтагматических» средств связи, — возможно, имеет более широкое применение.

¹³ Р. А. Будагов. Литературные языки и языковые стили. М., «Высшая школа», 1967, стр. 154. В цитированной книге убедительно показана переработка художественной прозой разнообразного языкового материала, в частности сложное взаимодействие художественного стиля современной и старой литературы с формами разговорной речи (см. Ук. соч., стр. 152—164).

ФОРМАЛЬНО-ОБУСЛОВЛЕННЫЙ ПЕРЕВОД
КАЛАМБУРОВ-СОЗВУЧИЙ

Если о сущности каламбуров высказывались, хотя, порою, фрагментарно, многие отечественные лингвисты¹, то о способах перевода каламбуров мы находим лишь краткие заметки в работах, буквально, двух-трех теоретиков перевода². Отсутствие конкретного анализа в этой области побудило нас обратиться к столь специальной проблеме, которая, однако, представляет принципиальный интерес «в практической плоскости по особой трудности задачи, а в плоскости теоретической по чрезвычайной яркости соотношения между формальной категорией (омонимическое тождество или близость слова) и ее смысловым, в конечном счете, образным использованием в контексте»³. Кроме того, анализ примеров из отечественной переводческой практики позволяет показать рост мастерства современной советской школы перевода, успешно справляющейся с тем материалом, который еще не так давно считался непереводаемым.

Известно, что каламбуры создаются благодаря умелому использованию в целях достижения комического эффекта различных созвучий, полных и частичных омонимов, паронимов и таких языковых феноменов, как полисемия и видоизменение устойчивых лексических оборотов. В настоящей статье будут рассматриваться особенности перевода только каламбуров-созвучий, в которых встречаются имена собственные⁴.

Каламбуры, возникающие на основе созвучий, обычно состоят из двух компонентов, каждый из которых может быть словом или словосочетанием.

¹ Наиболее подробная характеристика каламбуров дана в брошюре А. А. Щербины «Сущность и искусство словесной остроты (каламбура)» (Киев, 1958, 66 стр.), написанной на материале советской драматургии. См. также главу 10 в книге E. Riesel. *Abriss der deutschen Stilistik*. Moskau, 1954, SS. 218—241. Отдельные замечания по теме можно найти в следующих работах: И. Р. Гальперин. *Очерки по стилистике английского языка*. М., Изд-во литры на ин. яз., 1958, стр. 153—157; А. Н. Гвоздев. *Очерки по стилистике русского языка*. М., Учпедгиз, 1955, стр. 69—73; Р. А. Будагов. *Введение в науку о языке*. М., «Просвещение», 1958, стр. 104—105; А. И. Ефимов. *Язык сатиры Салтыкова-Щедрина*. Изд-во МГУ, 1953, стр. 451—452; А. А. Реформатский. *Введение в языкознание*. М., «Просвещение», 1967, стр. 89 и др.

² А. В. Федоров. *Основы общей теории перевода*. М., «Высшая школа», 1968, стр. 323—326; М. М. Морозов. *Избранные статьи и переводы*. М., Гослитиздат, 1954, стр. 101—103 и 255—256; Л. Н. Соболев. *О переводе образом*. В сб.: «Вопросы художественного перевода». М., «Советский писатель», 1955, стр. 285—287.

³ А. В. Федоров. *Основы общей теории перевода*, стр. 326.

⁴ В немецкой стилистике имеется даже специальное название для этого вида каламбуров: *Namenwitz*.

Первый компонент такого двучленного образования является своеобразным лексическим основанием каламбура, опорным элементом, стимулятором начинающейся игры слов, ведущей иногда к индивидуальному словотворчеству. Опорный компонент (стимулятор, основание) можно также рассматривать в качестве лексического эталона «игровой конструкции», который всегда соответствует существующим орфографическим, орфоэпическим и словоупотребительным нормам языка.

Второй член конструкции — слово (или словосочетание) — «перевертыш», результирующий компонент, или результата, представляющая собой как бы вершину каламбура. Именно после реализации в речи второго компонента и мысленного соотнесения его со словом-эталонном возникает комический эффект, игра слов. Результанта может быть взята из лексических пластов, как составляющих литературную норму языка, так и находящихся за ее пределами, или относиться к фактам индивидуальной речи.

Следует особо подчеркнуть, что опорный компонент (стимулятор) каламбура необязательно находится в непосредственной близости от результирующего компонента. Он может наличествовать в более широком контексте, занимать постпозицию по отношению к результанте или подразумеваться, но в любом случае он должен быть в какой-то степени известен персонажу литературного произведения, который в зависимости от правильности восприятия и понимания этой лексической единицы и, конечно, в связи с функционально-стилистическими намерениями автора перевирает, искажает или видоизменяет ее.

Когда основанием каламбура является имя собственное, называющее одного из действующих лиц переводимого произведения, историческую личность, мифологический или литературный персонаж, географическое название и т. п., у переводчика, передающего такой каламбур, возникает зависимость не только от функционально-смыслового содержания игры слов, но и от формы, от звучания опорного компонента, который уже задан и который в большинстве случаев изменить нельзя. В русском каламбуре место стимулятора оказывается заранее замещенным именем собственным иностранного происхождения или транслитерированным именем, очень часто появляющимся в русском написании впервые именно в данном переводимом произведении. Второй компонент игровой конструкции перевода, естественно, оказывается в парадоксальной зависимости от чужеродной, иноязычной формы, что, конечно, делает решение переводческой задачи особенно трудным. Формальную обусловленность перевода подобной игры слов и следует понимать как зависимость именно от иноязычной формы опорного компонента, а не от формы опорного компонента вообще.

И, наконец, последнее предварительное замечание: так как рассматриваемый вид каламбуров начинается с имени собственного, то и результата часто (но, конечно, не всегда) бывает со-

звучным ему именем собственным, которое найдено или придумано автором с таким расчетом, чтобы внутренняя форма этого слова содержала какой-либо комический намек на сущность, облик, положение или поступок названного опорным компонентом персонажа.

Обратимся теперь к конкретным примерам⁵.

Одна из героинь романа Сервантеса говорит, вспоминая имя Дон Кихота: «... si mal no me acuerdo, don Azote o don Gigote» (стр. 370)⁶. Санчо Панса тут же поправляет ее, называя истинное имя странствующего рыцаря. В оригинале слово Quijote задает тему для звуковой вариации, реализуемой в значимых именах Azote (*плеть, кнут, бичь*) и Gigote (*рубленое мясо, жаркое, баранья нога*). Переводчик оказывается в прямой формальной зависимости от звучания имени знаменитого идадьго, но может и должен в подобных случаях обрести свободу семантического выбора, т. е. отказаться от точной передачи смыслового содержания результирующих компонентов испанского каламбура и подобрать лексические единицы, рифмующиеся со словом «Кихот» и создающие комический эффект благодаря скрытому в них намеку на любые достойные осмеяния черты характера и личности рыцаря печального образа.

Итак, простейший переводческий прием сводится к подыскиванию простого или сложного нарицательного слова, отвечающего указанным выше требованиям, на роль значимого имени собственного (так называемой «смысловой» фамилии). Конечно, желательно, чтобы найденное слово не походило на русское имя или фамилию. Обычно это достигается без особого труда, так как опорный компонент, с которым рифмуется результатанта, является иностранным словом. Но вернемся к нашему примеру. Переводчик «Дон Кихота» исключительно удачно подыскал в русском лексическом фонде соответствующие по форме, смыслу и функции слова-«первертыши»: «... (а зовут его), если память мне не изменяет, не то Дон Колоброд, не то Дон Сумасброд» (I, XXX, 315)⁷.

Однако независимо от трудолюбия и находчивости переводчика поиски нужного слова не всегда могут увенчаться успехом.

⁵ В статье используются примеры из двух переводов, выполненных известными мастерами художественного слова. Речь идет о «Дон Кихоте» Сервантеса в переводе Н. Любимова (цитируется по изданию. М., Гослитиздат, 1963; первая римская цифра указывает часть романа, вторая — главу, арабскими цифрами обозначены страницы) и о книге «Максимы и мысли. Характеры и анекдоты» знаменитого французского моралиста и остролова конца XVIII в. Шамфора в переводе Ю. Б. Корнеева и Э. Л. Линецкой (М. — Л., «Наука», 1966).

⁶ Здесь и далее цитирую по книге: M. de Cervantes. El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha. Cuba, 1960.

⁷ Интересно сравнить этот вариант с переводом под редакцией Б. А. Кржевского и А. А. Смирнова (Мигель де Сервантес Сааведра. Хитроумный идадьго дон Кихот Ламанчский, ч. I. Л., 1949, стр. 317): «...а звать его будут, если только я хорошо помню, дон Асот или дон Хигот». Конечно, в таком переводе весьма сомнительный каламбур, основанный на бессмысленном созвучии. Но, ведь, Azote и Gigote — слова значимые.

В таких случаях приходится прибегать к более сложному, хотя и весьма распространенному приему: к словотворчеству, созданию переводческого неологизма⁸.

Когда избитый до полусмерти дон Кихот попросил у односельчан позвать к нему вместо лекаря мудрую волшебницу Урганду (Urganda) (I, V, 60—61), столь часто появляющуюся на страницах рыцарских романов, безграмотная ключница славного рыцаря, никогда не слышавшая об этой даме, искажает ее имя, осмысляя его по правилам народной этимологии на свой лад. Urganда превращается в hurgada, что в переводе значило бы «бойкая, назойливая, рыжая баба».

Воспроизводя каламбур, переводчик опять-таки вынужден опираться на транскрибированное им же иностранное имя собственное, но созвучные с «Урганда» русские слова *гланда*, *шаланда*, *баланда*, *банда*, *лаванда* и т. п. не могут стать результирующим компонентом каламбура по разным причинам и прежде всего потому, что их семантика слишком далека от испанского hurgada. Поэтому переводчик решает творческую задачу уже по-иному. Подыскивается не целое слово, а какой-либо русский корень (или основа, тема). Он может быть созвучен стимулятору или же нет, но семантическое значение этого корня обязательно должно ясно осознаваться, ибо оно составит содержание (смысл) внутренней формы создаваемого переводчиком слова. Затем придумывается конечный формант (суффикс и окончание), рифмующийся с опорным компонентом. Функции частей нового слова разграничены: основа — прежде всего для смысловой игры, а конечный элемент — для каламбурного созвучия.

Н. Любимов так и поступил: он придумал слово *Поганда*. Корень (*поган-*) созданной речевой единицы созвучен опорному слову каламбура и обладает приемлемым для данной игры слов смыслом (ср. *поганый*, *поганец*, *погань* и т. п.). Формант *-да* завершает каламбурную рифму и, кроме того, оформляет потенциальное слово как единицу русского языка, которая, однако, по своему происхождению кажется (в данном случае это важно) взятой из иностранного источника (ср. *контрабанда*, *пропаганда*, *лаванда*). Подобный же прием Н. Любимов использует при переводе каламбура, связанного с именем другой героини рыцарских романов, королевы Мадасимы (Madàsima) (I, XXV, 241), которое Санчо Панса превращает в Magimasa (нечто вроде «Колдунье тесто», «Колдовское месиво») (стр. 268). Переводчик создает потенциальное слово «Мордасима». И вновь конечный формант *-сима* замыкает каламбурную рифму и придает новой лексической единице формальное сходство с русскими словами иноязычного происхождения типа *прима*, *пантомима*, *схима*. Излишняя русифи-

⁸ Подобные слова, не воспроизводимые, а создаваемые в процессе речи, А. И. Смирницкий предлагал называть потенциальными словами. Подробнее см. его «Лексикологию английского языка». М., Изд-во лит-ры на ин. яз., 1956, стр. 17—18.

кация потенциальных слов в каламбурах рассмотренного вида вряд ли уместна, ибо она не способствует сохранению национального своеобразия переводимого произведения.

С завидной находчивостью и остроумием Н. Любимов перевел каламбур в главе XXIX (часть I, стр. 310): «И если ветер будет попутный ... лет через девять вы очутитесь в виду великого озера Писпийского, то бишь Меотийского...». В оригинале игра слов: ...a vista de la gran laguna Meona, digo, Meótides (стр. 362)⁹. Meótides — Меотийское озеро, древнее название Азовского моря. Meón, -а «страдающий (-ая) недержанием мочи». В качестве значимой основы переводческого топонима использовано междометие, а конечный формант включает в себя характерный для названий некоторых озер, морей и других географических объектов суффикс *-ийск*¹⁰ (ср. *Каспийское озеро, Балтийское море, Аравийская пустыня* и т. п.).

Потенциальные слова в роли результаты каламбура могут создаваться не только по модели: значимая (смысловая) основа + формант, рифмующийся с опорным компонентом, — но и по другим схемам. Можно, например, брать лишь основу какого-либо слова и использовать ее в качестве результаты.

Известный в рыцарских романах великан Фьерабрас (Fierabras), обладатель чудодейственного бальзама, становится в устах добродушного оруженосца Feo Blas -ом (стр. 142), то есть «Уродливым Бласом». Санчо воспринимает имя гиганта как состоящее из двух слов. Адекватной заменой этому словосочетанию явилось у Н. Любимова потенциальное слово *Безобраз* (I, XV, 134), основа от *безобразный, безобразие, безобразить, безобразина* и т. д. Языковую состоятельность новой лексической единицы поддерживают такие сходные «по образу и подобию» общеупотребительные слова, как *дикобраз, водолаз, верхолаз, богомаз* и т. п.

Наконец, еще одним источником подобного словообразования являются сочетания слов (устойчивые и переменные), которые превращаются переводчиком в сложные имена собственные.

Знаменитый шлем Мамбрин Санчо называет El yelmo de Malino (стр. 578). Malino — слово просторечное, синоним *maligno* — злой, вредный. У Н. Любимова использовано бранное устойчивое словосочетание «сукин сын», которое он превращает в результирующее слово каламбура — «... шлем этого ... Сукинсына» (I, XLIV, 482). В подобных случаях для переводчика важно и то, в каком падеже употребляется слово-«перевертыш». Ведь в именительном падеже *Сукинсын* не было бы созвучно *Мамбрино*.

⁹ Каламбуры, построенные на сходстве звучания каких-либо слов и действительных или вымышленных географических названий, именуют «географическими каламбурами». См. А. Г. Назарян. Почему так говорят по-французски. М., «Наука», 1968, стр. 329.

¹⁰ Интересно, что прилагательные с этим суффиксом обычно образуются от основ имен существительных, а сам тип словообразования считается малопродуктивным («Грамматика русского языка». М., Изд-во АН СССР, 1953, стр. 343).

Фразеологизм *ни складу, ни ладу* стал основой результатов другого переводческого каламбура. Доротея рассказывает Дон Кихоту о свирепом и упрямом великане Pandafilando, властелине большого острова. Санчо тут же превращает этого правителя в сеньора Pandahilado (стр. 372), что в переводе означает нечто вроде «в плутовстве замешанный» или «с обманом связанный» (от жаргонного *pandar* — плутовать в игре и от *hilag* — прясть, нанизывать, влечь за собой). В переводе оруженосец называет неговорчивого властителя «господином Нискладуниладу» (I, XXX, 316).

Во всех приведенных выше примерах опорный компонент (стимулятор) находился в непосредственной близости от слова-«перевертыша». Но как поступить, если комично искажается опущенное в контексте имя, которое подразумевается и хорошо известно носителям языка (или по крайней мере было известно им в эпоху создания подлинника), но совершенно не знакомо русскому читателю. Испанец по достоинству оценивает каламбур, ибо он мысленно воспроизводит опорное слово. А как же русский любитель чтения? Как он догадается об игре слов? Национальное своеобразие подлинника, эпоха создания оригинального произведения вынуждают в таких случаях прибегать к объяснительным (эксplikативным) амплификациям. В контекст (обычно, рядом со словом-«перевертышем») включается подразумеваемое в оригинале имя.

Племянница Дон Кихота, не помнившая точно имени какого-то волшебника из обожаемых дядюшкой романов, называет его Esquife (*челн, шлюпка*): ...era una preciosísima bebida que la había traído el sabio Esquife (стр. 58). Читателю современнику Сервантеса каламбур был понятен, так как Алкифа (Alquif) — мужа мудрой Урганды — хорошо знали любители рыцарских романов. Переводчик вынужден восстанавливать опорный компонент, отыскивая для него подходящее место в контексте. У Н. Любимова это выглядит так: «... это, дескать, драгоценный напиток, который ему принес мудрый — как бишь его? — не то Алкиф, не то Паф-Пиф...» (I, V, 60).

В контекст включены не только отсутствующее в оригинале слово Алкиф, но и вводная фраза *как бишь его*, появление которой не вызвано закономерной необходимостью, а связано со сферой индивидуальных особенностей переводчика. Стремясь сделать речь персонажей непринужденно-разговорной, естественной, Н. Любимов часто прибегает к помощи таких слов и выражений, как *дескать, как бишь его, то бишь* и т. п.

В следующем примере тоже появится полюбившееся переводчику прислобие. Как-то в разговоре Санчо вспоминает ту пору, когда, по его мнению, животные говорили, и было это во времени Гисопета (en tiempo de Guisopete, стр. 267). Guisopete — искаженная уменьшительная форма (правильная: Isopete) от имени греческого баснописца Эзопа (Esopo). Видимо, это имя напоминает Санчо название распространенного на юге Испании полукустар-

ника Иссоп (*guisopo* или *hisopo*) или другого растения *guisopillo* (*hisopillo*). У Н. Любимова читаем: «...во времена, как бишь его, Укропа, или Эзопа...» (I, XXV, 241).

В русском тексте необходима объяснительная амплификация. Переводчик восстанавливает опущенный в оригинале опорный компонент каламбура и помещает его, в данном случае, после результирующего слова¹¹.

Уже говорилось, что в каламбурах, опирающихся на имя собственное, результирующей может быть не только новое собственное, но и нарицательное. Однако и в этом случае перед переводчиком обычно открывается два пути: искать отвечающее функционально-стилистическим задачам созвучное опорному компоненту слово или же изобретать его.

Очень любопытное решение подобной творческой задачи встречается в переводе Ю. Б. Корнеева и Э. Л. Линецкой. Герцог Бургундский Карл Смелый в делах войны взял себе за образец Ганнибала, чье имя поминал на каждом шагу. После сражения при Муртене, где Карл был наголову разбит, придворный шут, удирая вместе со своим государем с поля боя, то и дело твердил на бегу: *Nous voilà bien annibalés*¹² (стр. 282). В переводе эта фраза звучит так: «Эк нас отганнибалили!» (стр. 232).

В обоих языках каламбур достигается с помощью авторского неологизма. Но в оригинале коммический эффект создается не только за счет мысленного сравнения неологизма с именем грозного Карфагенского полководца, но и благодаря звуковому сходству потенциального слова *annibaler* с существующим в языке глаголом *annihiler* (*уничтожать, истреблять*). Это пример усложненного каламбура, в модели которого появляется еще один член, усиливающий художественную выразительность игры слов с помощью дополнительной ассоциации. Возникает новая схема создания и восприятия каламбура: опорный (исходный) компонент (*Annibal*) — результирующий компонент (*annibalés*) — дополнительный ассоциативный компонент (*annihiler*). У переводчиков роль своеобразного ассоциативного компонента (не столь четкого, как в подлиннике) выполняет грамматическая аналогия с рядом русских глаголов, выражающих близкий к *annihiler* смысл, — *отлупить, отколошматить, отколотить* и т. д.

Приведенные примеры, число которых можно значительно увеличить, свидетельствуют о том, что переводчики, воссоздавая каламбуры рассматриваемого типа, обычно сохраняют имена соб-

¹¹ Видимо, стремясь компенсировать какие-то стилистические утраты, Н. Любимов обыгрывает сходным образом имя инфанты доньи Урраки; хотя у Сервантеса подобной игры нет. Ср... *como se quiso ir la infanta doña Urraca...* (стр. 733) «...скитаться по белу свету наподобие инфанты не то доньи Собаки, не то доньи Урраки,— я уж позабыл, как ее звали, ...» (I.V.49).

¹² Здесь и далее цитирую по изданию *Chamfort. Maximes et Pensées. Caractères et Anecdotes. Présentation par Claude Roy, Union générale d'éditions. Paris, 1963.*

ственные, являющиеся в оригинале основанием для игры слов, и саму форму игры, связанную с фонетическими созвучиями. Лишь в особо трудных случаях наблюдаются исключения из этого правила. Суть этих исключений состоит либо в замене исходного компонента другим именем собственным, либо в изменении формы каламбура (например, дается игра, основанная не на созвучии, а на полисемии), либо — хотя это и случается крайне редко — в отказе от «игры с именем».

Манипуляция с заменой опорного компонента другим именем собственным производится, пожалуй, только в том случае, если у персонажа литературного произведения есть какое-либо другое имя или если речь идет о героях и богах греческой или римской мифологии, у которых, как известно, бывает по нескольку синонимичных имен (ср. *Геракл, Геркулес, Алкид; Венера, Афродита; Диана, Артемида* и т. п.).

Весьма изобретательными в этом смысле оказались Ю. Б. Корнеев и Э. Л. Линецкая, переводя следующий абзац из Шамфора: *M. de Chaulnes avait fait peindre sa femme en Hébé; il ne savait comment se faire peindre pour faire pendant. Mlle Quinult, à qui il disait son embarras, lui dit: «Faites — vous peindre en hébété»* (стр. 204). «Господин де Шон, заказав портрет своей жены в образе Венеры, никак не мог решить, в каком же виде ему самому позировать для парного портрета. Он поверил свои сомнения мадмуазель Кино, и та посоветовала: «Велите изобразить себя Вулканом» (стр. 161).

По-французски здесь дело в созвучии слов *Hébé* (Геба, богиня молодости и красоты у древних) и глагола *hébéter* (делать глупым, отуплять). По-русски словарную точность, видимо, не сохранить. Переводчики отыскивали другой мифологический образ, передающий комическую пару: красавица-жена и глупец-муж. Что подходит для этой цели лучше, чем хромой рогоносец Вулкан рядом с красавицей Венерой? В русском каламбуре по сравнению с оригинальным изменилась и форма. Нет игры, основанной на созвучии; комическое заключается в намеке на внешность этой мифологической четы и щекотливые подробности их семейной жизни.

В романе «Дон Кихот» происходит такой диалог между пастухом Педро и рыцарем печального образа:

— ... *no habréis oído semejante cosa en todos los días de vuestra vida, aunque viváis más años que sarna.*

— *Decid Sarra* — *replicó don Quijote, no pudiendo sufrir el trocar de los vocablos del cabrero.*

— *Harto vive la sarna* — *respondió Pedro...* (стр. 113).

Пастух путает чесотку (*sarna*) с Саррой (*Sarra*), женой библейского Авраама, известной своим долголетием. Видимо, не найдя способа сохранить в каламбуре имя Сарры, Н. Любимов жертвует им, тем более что эта мифологическая должительница никакой роли в романе не играет и ее имя используется только

лишь в приведенном контексте. Он строит игру слов на созвучии прилагательных «древесный» и «древний» и ошибке в понимании слов «древесный» и употреблении его в качестве определения к существительному «старик». К сожалению, избранный Н. Любимовым ход привел к значительным амплификациям. Особенно это заметно в ответной реплике Педро, которая в оригинале предельно лаконична. Однако в целом изобретенный Н. Любимовым каламбур является адекватной заменой, компенсирующей значительное отступление от буквального смыслового соответствия оригиналу. Читатель сам может убедиться в этом:

«— ... вы за всю свою жизнь ничего подобного не услышите, даже если сойдете в могилу древесным старцем.

— Не древесным, а *древним*, — поправил его Дон Кихот: он не мог слышать, как пастух коверкает слова.

— Я потому сказал *древесный*, что иное дерево любого старика переживет, — пояснил Педро...» (I, XII, 108)¹³.

И вот, наконец, печальные примеры, еще раз подтверждающие, сколь трудно переводить каламбуры с именами собственными, особенно если это имя или созвучие с ним непременно должно быть сохранено в тексте. Даже такие виртуозные переводчики, как Ю. Б. Корнеев и Э. Л. Линецкая в двух местах складывают оружие и прибегают к одиозной формуле «непереводимая игра слов»: Un prédicateur de la Ligue avait pris pour texte de son sermon «Eripe nos, Domine, a luto foecis», qu'il traduisait ainsi: «Seigneur, déboubronnez-nous» (стр. 158). «Некий священник лигер избрал темой своей проповеди слова: «Eripe nos, Domine, a luto foecis», которые он перевел следующим образом: «Господи, избави нас от Бурбонов» (стр. 119 и прим. 85 на стр. 271).

В подлиннике действительно сложная игра слов, построенная на созвучии имени королевской династии Bourbons авторского неологизма déboubronner (избавить от Бурбонов) и глагола déboubrer (вытащить из грязи). Сходный пример встречается на стр. 238 в анекдоте о господине де Мэмэ (фр. ориг., стр. 288).

Однако эти немногочисленные исключения только подтверждают правило: «непереводимое» может быть переведено, если переводческая «точность подчинена не букве, а «духу» языка и приведена в соответствие с богатством и национальным своеобразием родного языка»¹⁴.

¹³ Для сравнения привожу перевод этого отрывка, выполненный под редакцией Б. А. Кржевского и А. А. Смирнова (Ук. соч., стр. 103—104):

—...вы не услышите ничего подобного во всю свою жизнь, даже если проживете дольше, чем Сарна.

— Не Сарна, а Сарра,— прервал его дон Кихот, который не мог стерпеть, что пастух так калечил слова.

— Да, но ведь Сарна еще живучей,— возразил пастух...

¹⁴ Р. А. Будагов. Академик А. Н. Веселовский как переводчик Боккаччо (К проблеме художественного перевода). «Изв. АН СССР», ОЛЯ, 1958, т. XVII, вып. 4, стр. 352.

К ИСТОРИИ РУМЫНСКОГО ПЯТИСТОПНОГО ЯМБА

Как известно, у румынских поэтов преромантизма и романтизма пятистопный ямб как позднее отражение французского *décasyllabe* и итальянского *endecasillabo* встречается довольно редко; от Хельяде до Александри александрийский стих итальянского типа (с обязательной женской цезурой после 7-го слога) играл, несомненно, более важную роль¹.

Есть, однако, исключения. Одним из первых поэтов, которые заботились о введении в поэтический обиход такого метра, как общеизвестный европейский пятистопный ямб, был сын Молдавии Дьорде Асаки (1788—1869), питомец римской школы живописи и основоположник румынского неоклассицизма².

Асаки кроме своих собственных сочинений перевел на румынский язык некоторые сонеты Петрарки³; в связи с его творчеством можно наблюдать все подробности проникновения пятистопного ямба в румынскую поэзию.

Ввиду того что трактаты о русском стихе резюмируют довольно кратко особенности пятистопного ямба⁴, мы исходим из факта, что румынский *endecasilab*, как и итальянский, имеет два основных варианта: стихи «а *minoghe*» (4,7; 5,6) и «а *maioghe*» — (6,5; 7,4).

Полустишия первого варианта могут быть обозначены буквами а и Б, а полустишия второго варианта буквами А и б; к каждой букве добавляются индексы, показывающие разные ритмические реализации данного метра. Вот таблица ритмических реализаций, которые резюмируют главные разновидности возможностей пятистопного ямба:

Стихи «а *minoghe*»

а¹ 0 / 0 /
а² 0 0 0 /
а³ 0 / 0 0

Б¹ 0 / 0 / 0 /
Б² 0 0 0 / 0 /
Б³ 0 / 0 0 0 /

¹ Как известно, Хельяде перевел многое из Ламартина; его переводы известны даже в двух вариантах (например, *L'isolement* в вариантах 1826 и 1846 гг. см.: *Curs intregu de poesie generale*, t. I. București, 1868, стр. 2—0). О первоначальном варианте румынского александрийского стиха, имеющего еще обязательную мужскую цезуру, см.: L. Galdi. *Esquisse d'une histoire de la versification roumaine*. Budapest, 1964, p. 93.

² Об Асаки см. Валериу Чобану в новой «*Istoria literaturii române*», т. II. București, 1968, pp. 354—372.

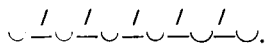
³ В издании Н. А. Урсу находим сонеты «*Stiamo Amor*» и «*Licti fiori...*» (*Scrieri literare*, t. I, б. д. (1956) стр. 77—78).

⁴ В. Unbegaun. *Russian Versification*, 2-ed. Oxford, 1963, pp. 23—24; Г. Ш. Шенгели. *Техника стиха*. М., 1960, стр. 116—126.

Асаки

Să stăm Amor, să ni mirăm dodată	a ¹ Б ⁷
De minuni mouă ◡ ale naltei nature!	a ¹ Б ⁷
Vezi pre pământ ce mîndră zîină-arată;	a ⁴ Б ⁴
Vezi cît har ploauă din a ei făptură!	a ⁹ Б ¹⁴
De cite perle ș-aur e vărgată	A ⁷ Б ⁹
Alease mantă, nevăzută! — I aiure,	a ⁵ Б ¹⁴
Cum pasul ei ș-ochirea amarată	a ¹ Б ⁶
Poartă prin astă ◡ a muntelui pădure	a ⁴ Б ⁶
Mii și mii flori cu iarba din cîmpie	a ^{4a} Б ⁶
Unde stejarul cel umbros domnează,	a ⁷ Б ¹⁴
Să le atingă umbra ei o-ombie.	a ⁶ Б ¹³
Ceriul de-a ei frumuseți se-nviază	a ⁴ Б ⁷
Și-mpregiur sună dulce armonie,	a ⁹ Б ¹⁵
nseninînd de-a ochilor ei rază.	a ² Б ⁶

С точки зрения метрики и особенно ритмических вариантов есть большое различие между итальянским подлинником и его первым румынским переводом. В итальянском тексте превалируют стихи «а таіоге» (9 : 5), а в румынском — стихи «а тіпоге» (13 : 11). В этом отношении текст Асаки похож на стихи поэта Янку Вэкэреску, написанные в «цезурных» пятистопных ямбах (по терминологии Шенгели), т. е. имеющие зафиксированную мужскую цезуру после 4-го слога⁶. Несмотря на редкость стихов «а таіоге», полустишия румынского поэта сохранили их внутреннюю подвижность: полустишие а — А представляет 7 вариантов, а полустишие б — Б не меньше 10! Иными словами, с эпохи Асаки в румынской лирике существовала специфическая техника пятистопного ямба: вследствие влияния подобного немецкого размера — как известно, Асаки учился не только в Риме, но и в Вене, вступил в брак с пианисткой австрийского происхождения и т. д.⁷ — метрика Петрарки подверглась «перинтерпретировке» на немецкий лад. Так объясняется и гораздо более точное чередование ударных и неударных слогов по требованиям метрической схемы



Та же самая метрическая схема «пульсировала» и в ритмической структуре того немецкого сонета, на основании которого Эминеску после переходных фаз, представленных приблизительно

⁶ См. Г. Ш. Шенгели. Ук. соч., стр. 117—118.

⁷ Istoria literaturii române, t. II, pp. 355—356.

30 «имитациями»⁸, написал один из своих шедевров — сонет о Венеции. И в этом случае мы должны прибегать к сопоставительному методу, цитируя не только опубликованный текст Эминеску⁹, но и его исходный пункт — сонет австрийского поэта Гаetano Черри (Venedig)¹⁰:

So oft ich seh' inddüster Mondeshelle,	a ¹ B ^{4a}
Wie, folgend einem innren dukten Zwange, ⁷	a ⁵ B ¹³
Das Meer sich schmiegt in nie gestilltem Drange	a ¹ B ⁴
Wild an Venedigs bleiche Marmorschwelle.	a ⁷ B ^{15a}
Ist's mir als wäre diese dunkle Welle	a ⁵ B ¹³
Ein düst'rer Knabe, der, verstört und bange,	a ⁵ B ¹⁴
Auf der Geliebten bleicher Todtenwange	a ⁵ B ^{13a}
Getäuscht von Neuem sucht des Lebens Quelle.	a ⁵ B ¹³
Und tönt dann durch die öde Kirhhofsstille	A ⁹ 6 ^{7a}
Vom Markursturm die zwölfte Stunde, schaurig,	a ¹ B ⁴
Wie das Gestöhne einer Schmerzsbille;	a ⁶ B ^{14a}
So ist's, als wenn aus einem dumpfen Grabe	a ³ B ⁵
Das Wort ertönte, wehmutsvoll und traurig:	a ⁵ B ^{13a}
«Lass ab! die Todten stehn nicht auf, o Knabe!	a ⁵ B ¹³

Из этого текста почти совсем исчез пятистопный ямб «а таіоге» даже в 9-м стихе, по синтаксическим причинам, цезура является столь слабой, что именно в таких случаях было бы лучше говорить о нецезурном пятистопном ямбе¹¹. Цезура кажется сомнительной и в других стихах, см. 2, 12, 14. Последний стих, несмотря на предвиденное место цезуры, имеет синтаксически четыре сегмента: 2—3—3—3. Несомненно, что такие приемы приводили бы к распаду пятистопного ямба, если бы не господствовал другой фактор: устойчивость ритма. Именно почти всегда регулярное чередование ударных и неударных слогов позволяет поэстро-мантическому поэту прошлого века значительно ослабить цезуру. Во всяком случае пропорция стихов «а таіоге» и «а таіоге» совершенно идентична у Асаки и у Черри, что, конечно, не может быть просто случайным совпадением.

Вот как представляется последний вариант сонета «Veneția» у Эминеску:

S-a stins viața falnicei Veneții,	a ⁵ B ¹⁵
N-auzi cîntări, nu vezi lumini de baluri,	a ¹ B ⁴
Pe scări de marmură, prin vechi portaluri	A ⁴ 6 ⁴
Pătrunde luna înalbind păreții.	a ⁵ B ¹⁴

⁸ См. изд. Перпессичиус, т. III, стр. 146—163.

⁹ Изд. Перпессичиус, т. I, стр. 202.

¹⁰ Изд. Перпессичиус, т. III, стр. 149. О развитии текста разных вариантов см. L. Galdi. Stilul poetic at lui Mihai Eminescu. București, 1964, pp. 331—340.

¹¹ Г. Ш. Шенгели. Ук. соч., стр. 118—120.

Okeanos se plînge pe canaluri	a ³ Б ⁶
El numa-n veci e-n floarea tinereții,	a ¹ Б ⁶
Miresei dulci i-ar da suflarea vieții,	a ¹ Б ⁴ или
	A ¹ Б ⁴
Izbeste-n ziduri vechi, sunînd din valuri.	A ¹ Б ⁴
Ca-n tințirim tăcere e-n cetate.}	a ² Б ⁶
Preot zămas din a vechimei zile,	a ⁴ Б ⁶
San-Marc, sinistru miezul nopții bate.	a ⁵ Б ¹³
Cu glas adînc, cu graiul de Sibile,	a ¹ Б ⁶
Rostește lin în clipe, cadențate:	a ¹ Б ⁶
«Nu-nvie morții — e-nzadar, copile!»	a ⁵ Б ¹⁴

У Эминеску наблюдается скрещение двух стремлений: с одной стороны, сохраняется строгий бинарный ритм немецких пятистопных ямбов, но, с другой стороны, умножаются опять стихи «а maiore», что свидетельствует, так сказать, о «рентальянизации» пятистопных ямбов немецкого типа. Есть такой сонет — «Afară-i toamnă», в котором находим даже 4 стиха такого типа, а именно:

5: «Pierzîndu-ți timpul tîn | cu dulci nimicuri»; 8: «Să stai visînd la foc, | de somn să picuri»; 10: «Visez la basmul vechi | al zînei Dochii»; 14: «iar mîni subțiri si reci | mi-acoper ochii».

С этой точки зрения Эминеску идет даже дальше по линии «петраркизации», чем Асаки, его предшественник: у Асаки из 70 стихов 5 сонета вариант А появляется только в 5 случаях, а у Эминеску в подобном количестве стихов чистый вариант А встречается в 10 случаях (и вариант А¹|Б⁴ в 7 случаях).

Самое важное значение в технике пятистопного ямба у этих двух поэтов связано, однако, с экспрессивностью некоторых ритмических вариантов. У Асаки выразительные стихи еще довольно редки; из оригинального сонета Cătră planeta mea можем процитировать два стиха «а maiore» —

— «De la țărîmul fatal | vasul purcede» (u u l u l | l u l); «A ta rază
la Port | mă va încrede» (u u l u l | u u l),

в которых прекрасно чувствуется, почти независимо от строгой бинарности ямбического размера, свободное движение вторичных ритмических фигур. Эминеску, благодаря своему выдающемуся таланту, шел гораздо больше по пути экспрессивности: в его стихотворческой технике и многочисленные приемы фонетического ха-

рактера присоединяются к почти инстинктивному применению самых выразительных ритмических фигур:

◡	/	◡	/	◡	/	◡	/	◡	/	◡
Un	moa	le	pas,	a	bia	a	tins	de	scin	duri
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(a¹ | Б⁴)¹²

- 1) 2, 4, 6: m..., p..., b...
- 2) 4, 8, 10: s..., s..., s...
- 3) 2, 4, 5: a..., a..., a...

◡	/	◡	/	◡ i	/	◡	◡	◡	/	◡
Ra	sai	din	um	bra	vre	mi	lor	în	coa	ce/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(a⁵ | Б¹⁵ |

◡	◡	◡	/	◡	/	◡	/	◡	/	◡
Ca	să	te	văd	ve	nind	ca-n	vis,	a	şa	vii
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

— A² | Б⁴)¹³

- 1) 5, 6: br..., vr...
- 2) 6, 15, 16, 19, 22: v..., v..., etc.
- 3) 17, 19, 22: i..., i..., i... .

¹² См. сонет Aifără-i toamnă, стр. 13.

¹³ См. сонет Cînd însuși glasul gîndurilor tace, стр. 7—8.

Иногда исчезает и цезура, но исключительно вследствие постоянного искания новых ритмических возможностей:

Iar timpul crește-n urma mea — | ma-ntunec¹⁴.
 U / / / / / / /
 — — — — — — —

В этом примере, полученном из комбинации а⁵Б¹⁵, наблюдается, конечно, и смутный, туманный эффект последнего ударного гласного.

Эминеску написал в пятистопных ямбах приблизительно 26 сонетов¹⁵; кроме того, он значительно расширил круг употребления этого нового размера, пользуясь пятистопным ямбом не только в сонетах, но и во многих строфических комбинациях, о которых писалось относительно мало¹⁶. Поэтому мы хотели бы закончить нашу статью двумя примерами. Один — октава на тему Лучафэра (из поэмы «Fata-n grădina de aur») ¹⁷.

A fost odat-un Împărat — el fu-ncă	a ¹ Б ⁵
În vremi de aur, ce nu pot să-ntorn,	a ⁵ Б ²
Cînd în păduri, în lacuri, lanuri, luncă.	a ² Б ⁴
Vorbeai cu zeii, de sunai din corn.	a ⁵ Б ²
Avea o fată dulce, mîndră, pruncă	a ⁵ Б ¹³
Cu care basme vremile s-adorn,	a ⁵ Б ¹⁴
Cînd trece ea frumoase flori se pleacă-n	a ¹ Б ⁴
Ușorii pași, în valea, c-un mesteacăn.	a ¹ Б ⁵

Кто не заметил бы, несмотря на очевидную незаконченность этого черновика, виртуозности рифм и важности переноса, который придает поэтическим периодам гибкость, похожую на мелодичность самых красивых октав таких мастеров стиха, как Ариосто и Тассо? Одновременно в первом стихе появляется опять сегментация 8, 3, которую мы уже иллюстрировали последним стихом сонета «Trecut-au anii» (см. выше, 4).

Второй пример — газель посмертного издания, которая может считаться и иллюстрацией гласного î (ы), этого специфического румынского звука (хотя бы в перспективе других романских языков):

¹⁴ См. сонет Trecut-au anii, стр. 14.

¹⁵ В своей работе Stilul poetic ...я говорил в 26 сонетах (стр. 323). В изд. «Opere. Ed. critică îngrijita de Perpessicius», t. VI. București, 1958, p. 679 находятся еще один: «Vorbește — nceet, urmează înainte».

¹⁶ См. L. Galdi. Les variétés expressives de l'hendécasyllabe dans la poésie de M. Eminescu. «Acta Linguistica», т. XII. Budapest, pp. 137—165.

¹⁷ Изд. Перпессичиус, т. VI.

Прелюдия

În liră-mi geme și suspin-un cînt (1876)¹⁸:

În liră-mi geme și suspin-un <i>cînt</i>	a ⁵ Б ¹¹
Căci eu îmi vărs acum veninu-n <i>vînt</i> ,	A ¹ Б ¹
Prin minte-un stol de negre <i>gînduri</i> trec:	a ¹ Б ¹
Spre casa cea din patru <i>scînduri</i> plec,	a ¹ Б ¹
<i>Gemînd, plîngînd</i> eu fruntea pun pe <i>mîni</i> ,	a ¹ Б ¹
Se rumpe suflet, mi se rumpe <i>sîn</i> .	a ⁵ Б ¹¹
Scăpare caut în zadar de chin...	a ⁵ Б ¹¹
Să stingi un dor ce-n <i>sînu</i> -mi vin'!	a ¹ Б ¹

(Газель с редифом)

<i>Cînd</i> te doiesc eu <i>cînt încet-încet</i> :	a ¹ Б ¹
Plec capul la <i>pămînt</i> <i>încet-încet</i>	A ³ Б ¹
Și glasul meu <i>rasună</i> <i>înguios</i>	a ¹ Б ³
Ca tristul glas de <i>vînt</i> <i>încet-încet</i>	A ¹ Б ¹
Și orice vis, orice dorinț-a mea	a ¹ Б ³
Eu singur le-am <i>înfrînt</i> <i>încet-încet</i> .	A ¹ Б ¹
Săgeata doar a crudului amor	a ¹ Б ³
În suflet mi-o <i>împlînt</i> <i>încet-încet</i>	A Б ¹
Și simt veninul <i>pătrunzînd vdînc</i>	a ⁵ Б ¹¹
Cu singele-l <i>frămînt</i> <i>încet-încet</i>	A ³ Б ¹
Și nu-mi <i>rămîne</i> <i>decît</i> să pornesc	a ⁵ Б ³
Spre al meu trist <i>mormînt</i> <i>încet-încet</i> .	A Б ¹

«Toute technique est une métaphysique», — сказал Ж.-П. Сартр; добавим к этому высказыванию замечания Дж. Холлендера об «эмблематическом» характере употребления размера со стороны поэта¹⁹. Вышеупомянутая газель свидетельствует не только об ассимиляции техники пятистопного ямба, но и о том факте, что именно с помощью этого метра Эминеску сумел дать один из самых трагических примеров той «армонии», о которой так убедительно писал не раз Тудор Вяну, редактор первого словаря поэтического языка Михая Эминеску²⁰.

¹⁸ Изд. Перлессичиус, т. IV, стр. 253.

¹⁹ J. Hollander. The Metrical Emblem. В сб.: «Style in Language». N. Y.—L., 1960, p. 191.

²⁰ Poesia lui Eminescu. București, 1930, pp. 139—155.

ЯЗЫК ТРАКТАТА ЧЕЗАРЕ БЕККАРИА «О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И НАКАЗАНИЯХ»

Эпоха Просвещения создала много шедевров человеческой мысли. Среди них достойное место принадлежит книге Чезаре Беккариа «О преступлениях и наказаниях» — «*Dei delitti e delle pene*». Этот трактат, содержащий блестящее обличение феодального правопорядка, явился одним из высших достижений буржуазной философской мысли в области права. Влияние его распространилось далеко за пределы Италии и той эпохи, когда он был создан и впервые увидел свет.

Издательская история трактата, все еще недостаточно изученная, очень сложна и интересна. Более двухсот лет назад, в 1764 г., в Ливорно в типографии Марко Кольтеллини без указания имени автора и места издания была напечатана небольшая по объему книга под заглавием «*Dei delitti e delle pene*», на титульном листе которой была помещена латинская цитата из «Искренних речей» — «*Sermones fideles*» Френсиса Бэкона. В том же году там же вышло второе тайное издание трактата (один из экземпляров его имеется в личной библиотеке Вольтера — в Государственной публичной библиотеке в Ленинграде). Затем начинается триумфальное шествие книги по разным итальянским государствам и другим странам мира¹.

Обсуждение всей системы традиционного феодального права, провозглашение человеческого, договорного происхождения права, утверждение принципа равенства всех перед законом — независимо от имущественного положения, требование отмены пыток и смертной казни, искоренения судебного произвола, положение о необходимости предупреждения преступлений, идея соразмерности наказаний преступлениям — таково, говоря очень кратко, главное содержание трактата Беккариа. Вышедшая из миланского кружка просветителей, книга эта сразу оказалась в фокусе острой идеологической борьбы. Конфликты вокруг идейного наследия Ч. Беккариа характеризуют и многие последующие этапы истории книги в Италии и вне ее.

Предметом данной краткой статьи являются некоторые особенности языковой формы знаменитого трактата.

Остановимся прежде всего на том факте, что Ч. Беккариа для создания своего труда избрал не латынь, а итальянский язык. Выбор этот может показаться само собой разумеющимся — ведь речь идет о второй половине XVIII в., когда обращение к итальян-

¹ Из обширной отечественной литературы о Ч. Беккариа (1738—1794) назовем следующие работы: М. М. Исаев. Историко-биографический очерк. В кн.: Ч. Беккариа. О преступлениях и наказаниях (перев. с ит.). М., 1939, стр. 5—176; П. Н. Берков. Книга Чезаре Беккариа «О преступлениях и наказаниях» в России. В сб.: «Россия и Италия. Из истории русско-итальянских культурных и общественных отношений». М., «Наука», 1968, стр. 57—76.

скому языку, а не к латыни представляется вполне естественным, исторически подготовленным и созревшим.

Если анализировать спектр основных языковых проблем Италии в разные столетия, то, конечно, линия спектра, соответствующая проблеме «латынь или *volgare*», будет в XVIII в. гораздо менее яркой, чем в XIV или XVI в. — и все-таки эта линия, эта проблема в исторически иной форме еще присутствует². В сфере права и особенно теории права (как и в некоторых других отраслях науки) позиции латыни остаются достаточно сильными. Господствующее положение римского и канонического права объясняет продолжающуюся устойчивость латыни в этой сфере общественной жизни.

Обращение Ч. Беккариа к итальянскому языку имело программное значение и соответствовало общей идее его книги. В ней осуждается не только существо средневековых законов, но и их форма, их языковая форма. «Если толкование законов зло, то злом, очевидно, является и темнота их, заставляющая прибегать к толкованию, — пишет Беккариа. — Это зло достигнет крайних пределов, если законы написаны на чуждом народу языке (*il male «saga grandissimo, se le leggi sieno scritte in una lingua straniera al popolo»*), превращающем книгу законов из общего и публичного в частное и домашнее достояние и ставящем народ, лишенный возможности судить о границах его свободы и свободы отдельных граждан, в зависимость от немногих лиц»³. Естественно, что, выступая с критикой старого законодательства, Ч. Беккариа избрал для изложения своих идей не латынь, а итальянский язык.

Критика средневековой темноты законов, неясности их языковой формы и в Италии, и в других странах имеет большую историю. Еще Т. Кампанелла, характеризуя идеальный общественный порядок жителей «Города Солнца», писал: «Законы их немногочисленны, кратки и ясны», определение вещей дано в «чрезвычайно сжатом стиле»⁴.

Порокам средневекового законодательства специальный труд посвятил Л. Муратори; в качестве первого недостатка законов, по которым жила Италия в XVIII в., Л. Муратори называет темноту их языка⁵.

² Напомним, что как раз в том году, когда вышел в свет трактат Ч. Беккариа, другой видный итальянский просветитель Антонио Дженовези, преодолевая многовековую традицию, впервые стал читать университетские лекции не по-латыни, а по-итальянски; см. А. Ромпреати. *Storia della letteratura italiana*, III, terza rist. Torino, 1962, p. 354.

³ См. С. Веccариа. *Dei delitti e delle pene*, a cura di P. Calamandrei, Firenze, 1965, pp. 180—181 (здесь интересно также примечание издателя на стр. 181); см. также указанный русский перевод, стр. 213 (в дальнейшем ссылки на эти издания — в тексте).

⁴ Th. Campanella e. *Civitas solis, Idea Reipublicae Philosophicae*. Ultrajecti, 1643, p. 73; см. также Кампанелла. *Город Солнца* (перев. Ф. А. Петровского). М. — Л., 1947, стр. 91.

⁵ L. A. Muratori. *Dei difetti della giurisprudenza*, 2-ed. Venezia, 1743, p. 19.

Ш. Монтескье в одной из глав своей книги «О духе законов» освещает вопросы языковой формы законов. «Слог законов должен быть простым, — говорится здесь. — Прямые выражения всегда доступнее пониманию, чем изысканные»⁶. В качестве объекта критики Монтескье избрал целый ряд древних римских и французских законов. Прогрессивные мысли Муратори, Монтескье и Беккариа о необходимости ясности законов были поддержаны Гегелем в его «Философии права», где он писал: «Повесить законы так высоко, чтобы их ни один гражданин не мог читать, как это делал *тиран Дионисий*, или же похоронить их в пространных... ученых книгах... и еще к тому же — в книгах, написанных на чужом языке, так что знание действующего права оказывается доступным лишь тем, кто занимается учеными изысканиями, — все это является одинаково несправедливым»⁷.

Возвращаясь к трактату Беккариа и особенностям его языка, необходимо подчеркнуть, что он написан в чрезвычайно сжатой, афористической форме и что эта афористичность была нарочитой антитезой той форме, в которой излагались правовые доктрины прошлого. Вот несколько примеров положений Беккариа, облеченных в характерную афористическую форму: «È meglio prevenire i delitti, che punirli» — «Лучше предупреждать преступления, чем наказывать (за них)» (стр. 381, русск. пер. стр. 393); «La vera misura dei delitti (è) il danno della società» — «Истинным мерилом преступлений является вред, наносимый ими обществу» (стр. 303, 226); «Ogni cittadino deve sapere quando sia reo, o quando sia innocente» — «Каждый гражданин должен знать, когда он виновен и когда невинен» (стр. 343, 240); «Felice quella nazione, dove le leggi non fossero una scienza!» — «Счастлива та нация, где знание законов не составляет науки (!)» (стр. 193, 252). Цель человеческого общества Беккариа формулирует так: «La massima felicità divisa nel maggior numero» — «Возможно большее счастье для возможно большего числа людей» (стр. 156, 195, курсив подлинника).

Не без основания Уго Фосколо охарактеризовал стиль трактата Беккариа как «assoluto e sicuro» — «совершенный и уверенный»⁸.

⁶ Ch. de Montesquieu. De l'esprit des lois, nouv. éd. corrigée par l'auteur, seconde partie. Genève, 1749, pp. 253—254; русск. перев. Ш. Монтескье. О духе законов. Избр. произв. М., Политиздат, 1955, стр. 651 (кн. двадцать девятая, гл. XVI).

⁷ См. Гегель. Философия права. Соч., т. VII. М.—Л., 1934, стр. 235—236 (§ 215).

Общая реакционность философии права Гегеля не должна мешать нам видеть рациональные моменты его правовой доктрины и их связь с прогрессивными социологическими учениями предшественников; ср. в этой связи: А. А. Пионтовский. Учение Гегеля о праве и государстве и его уголовно-правовая теория. М., Госюриздат, 1963, стр. 322—324 и др.

⁸ M. Fubini. Riflessi culturali e ideologici nella prosa del secondo Settecento (Cesare Beccaria e Pietro Verri). «Sensibilità e razionalità nel Settecento,

Афоризмы Беккариа часто являются элементами условного диалога, ответами на так называемый риторический вопрос: «Volete prevenire i delitti? Fate che le leggi sian chiare, semplici e che tutta la forza della nazione sia condensata a difenderle, e nessuna parte di essa sia impiegata a distruggerle» — «Хотите предупредить преступления? Сделайте так, чтобы законы были ясными, простыми (снова мотив ясности законов. — А. К.), чтобы вся сила нации была сосредоточена на их защите и чтобы ни одна часть этой силы не направлялась на их уничтожение» (стр. 383, 395). И далее: «Volete prevenire i delitti? Fate che i lumi accompagnino la libertà» — «Хотите предупредить преступления? Сделайте так, чтобы просвещение шло рука об руку со свободой» (стр. 385, 397).

Чтобы полнее оценить творческий подвиг Ч. Беккариа как теоретика права и писателя, девизом которого была ясность, необходимо вновь представить себе состояние языковой формы права в XVIII в. Знаменитый диалог Ренцо и адвоката Аццеккагарбульи (Крючкотвора) в романе А. Мандзони «Обрученные» (гл. III) в художественно-обобщенной форме изображает разрыв между языком народа и языком права. (Можно, конечно, отнести это гротескное противопоставление, как и весь роман, к XVII в., т. е. к более раннему времени. Но столь же верно и то, что в «миланской истории XVII в., обнаруженной и обработанной» А. Мандзони, сложным образом отражена итальянская действительность начала XIX в., т. е. времен, на полстолетия более поздних, чем дебют книги Беккариа).

Осуществить свое стремление к ясности для Ч. Беккариа было тем труднее, что многие свои идеи он не мог выразить открыто. Принцип ясности сталкивался с необходимостью «прикрывать свет облаками» (так Беккариа выразился в письме к А. Морелле)⁹, т. е. говорить иносказательно. Приемы, с помощью которых Ч. Беккариа стремился разрешить это противоречие, также заслуживают внимания. Один из них заключается в том, что определенное место трактата наделяется более высоким художественным потенциалом, который тому или иному формально негативному суждению придает необычайную силу и выразительность, моральную правоту. Приведем в качестве примера монолог разбойника. Речь идет о том, что ужас смертной казни неспособен или не всегда способен удержать от преступления. Далее идет монолог потенциального «преступника», который в действительности звучит как обвинение обществу, основанному на эксплуатации, т. е. феодальному обществу, как приговор тирании: «Quali sono queste leggi ch'io debbo rispettare che lasciano un così grande intervallo tra me e il ricco? Egli mi nega un soldo che gli cerco, e si scusa col co-

a cura di V. Branca («Civiltà europea e civiltà veneziana», 5)», t. I. Venezia, 1967, p. 300.

Высокие языковые достоинства книги Беккариа признал и первый его критик из лагеря реакции А. Факкинеи (см. там же, стр. 292).

⁹ См. М. М. Исаев. Ук. соч., стр. 85, 88, 161, 162.

mandarmi un travaglio che non conosce. Chi a fatte queste leggi? uomini ricchi e potenti che non si sono mai degnati visitare le squallide capanne del povero, che non hanno mai diviso un ammuffito pane fra le innocenti grida degli affamati figliuoli e le lagrime della moglie. Rompiamo questi legami fatali alla maggior parte, ed utili ad alcuni pochi ed indolenti tiranni; attachiamo l'ingiustizia nella sua sorgente. Ritorno nel mio stato d'indipendenza naturale, vivrò libero e felice per qualche tempo co'frutti del mio coraggio e della mia industria; verrà forse il giorno del dolore e del pentimento; ma sarà breve questo tempo, ed avrò un giorno di stento per molti anni di libertà e di piaceri. Re di un picciolo numero, correggerò gli errori della fortuna, e vedrò questi tiranni impallidire e palpitare alla presenza di colui che con un insultante fasto posponevano ai loro cavalli, ai loro cani» — Что это за законы, которые я должен уважать и которые целой пропастью отделяют меня от богатого? Он отказывается подать грош, который я у него прошу, и оправдывает себя тем, что посылает меня на работу, которой сам не знает. Кто создал эти законы? Сильные и богатые, которые никогда не удостоили своим посещением печальную хижину бедняка, которым никогда не приходилось делить кусок заплесневелого хлеба под крик ни в чем неповинных голодных детей и слезы жены. Порвем эти узы, губительные для большинства и выгодные немногим праздным тиранам. Поразим несправедливость в самых ее корнях. Я возвращусь в состояние естественной независимости, буду жить свободным и счастливым, пользуясь плодами своей храбрости и ловкости. Наступит, быть может, день скорби и раскаяния, но это не будет долго продолжаться, и одним днем мучений я расплачусь за многие годы свободы и наслаждения. Став предводителем многих, я исправлю ошибки судьбы, и тираны будут бледнеть и дрожать перед тем, кого они в оскорбительном высокомерии считали ниже своих лошадей, ниже своих собак» (стр. 263—264, 324—325, в подлиннике всюду курсив). Этот монолог, с одной стороны, показывает, или должен показать, неэффективность смертной казни, отмены которой требует Беккариа, и этим оправдано — и могло быть оправдано в глазах цензуры и властей — его присутствие в трактате («так рассуждает преступник!»); но, с другой стороны, он написан так выразительно, с такой силой и страстью, что подлинный, более широкий смысл его выходит за рамки аргументации против смертной казни, и он звучит как инвектива против социальной несправедливости¹⁰.

Афористическая ясность и краткость трактата Ч. Беккариа, отказ автора от риторического орнамента из классических древностей (отсутствие на страницах книги упоминания имени Фемиды и разных ее атрибутов) сделали эту книгу существенным вкладом в развитие итальянской прозы, в общую борьбу против старой ри-

¹⁰ Сходные мотивы мы находим в «Братьях-разбойниках» Пушкина. См. А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. 4. Л., 1937, стр. 146.

торической культуры и риторики в литературном языке, которую вели итальянские просветители.

В поисках истоков той ясности языковой формы, к которой стремился и которой достиг Ч. Беккариа, следует обратиться, по-видимому, не только к французским просветителям XVIII в., философам-энциклопедистам (хотя их влияние на Беккариа несомненно¹¹), но и к некоторым итальянским источникам. Известным литературным образцом для Ч. Беккариа мог явиться, в частности, его старший современник, популярный драматург Пьетро Метастазιο (1698—1782) с его афористическими суждениями, лапидарностью и прозрачностью слога. Некоторые мотто Метастазιο, в творчестве которого темы власти, справедливости, долга, возмездия занимают видное место, созвучны идеям, развитым в философии права Ч. Беккариа: «*Senza pietà diventa/ Crudeltà la giustizia. — E la pietade/Senza giustizia è debolezza*» — «Правосудие без милости становится жестокостью. А милость без правосудия есть слабость»; «*Non si vedrà sublime/Chi l'innocenza opprime*» — «Не будет величественным тот, кто угнетает невинных»¹² (и др.).

Еще одной особенностью книги Ч. Беккариа — особенностью, которая вполне согласуется с другой ее чертой, о которой уже говорилось, — является то, что она насыщена речевыми средствами точных наук, элементами «математического языка»¹³. Вот, например, как Ч. Беккариа говорит о чести: «*Quest' onore dunque è una di quelle idee complesse, che sono un aggregato, non solo d'idee semplici, ma d'idee parimente complicate, che nel vario affacciarsi alla mente ora ammettono ed ora escludono alcuni de' diversi elementi che le compongono; né conservano che alcune poche idee comuni, come più quantità complesse algebriche ammettono un comun divisore*» — «Честь является одной из сложных идей, составленных не только из простых, но и сложных в свою очередь идей. Такого рода идеи, различно представляясь уму, то обнаруживают, то отбрасывают некоторые из своих элементов и сохраняют лишь немного общее, подобно тому как несколько сложных алгебраических величин имеют общий делитель» (стр. 323, 233). Суждение о моральной категории подкреплено сравнением, взятым из области алгебры.

Другие примеры: «*A misura che i supplizii diventano più crudeli, gli animi umani, che come i fluidi si mettono sempre a livello cogli oggetti che li circondano, s'incalliscono*» — «Чем более жестокими становятся наказания, тем более ожесточаются души

¹¹ О влиянии Ж.-Ж. Руссо и других французских философов на Беккариа см. Б. Г. Рейзов. Итальянская литература XVIII века. Изд-во ЛГУ, 1966, стр. 63, 73.

¹² P. Metastasio. Giuseppe riconosciuto. «Opere», t. X. Padova, 1811, p. 136; La contesa de Numi. «Opere», t. XI, p. 191. (Договорному происхождению законов П. Метастазιο посвятил одно из своих произведений — элегию «*L'origine delle leggi*» — «Происхождение законов». «Opere», t. XIII, pp. 413—416).

¹³ Ср. М. М. Исаев. Ук. соч., стр. 171.

людей — всегда, подобно жидкостям, стремящимся стать на один уровень с предметами, их окружающими» (стр. 246, 310). Сравнение взято здесь, как мы видим, из области физики жидкостей, хотя речь идет о проблемах права и морали.

«...Se la probabilità dei delitti è proporzionata al numero dei motivi, l'ampliare la sfera dei delitti è un crescere la probabilità di commetterli» — «Если вероятность преступлений пропорциональна числу побуждений, то расширение круга преступлений (т. е. произвольное отнесение к-л. деяний к преступным. — А. К.) увеличивает вероятность их совершения» (стр. 383, 395). Здесь формула Беккариа использует терминологию математической вероятности.

«...È proprietà dell'errore il sottodiversi all'infinito» — «Заблуждению присуще свойство делимости до бесконечности» (стр. 389, 401) (снова математическая метафора) и т. д.

Широкое использование в трактате метафор и сравнений из области точных наук можно объяснять отчасти биографическими факторами (известно, что Ч. Беккариа увлекался в юношеские годы математикой), отчасти влиянием французских энциклопедистов с их интересом к естественным наукам. В наибольшей степени, однако, оно объясняется, как нам кажется, общим замыслом книги. Указания на это можно найти в самом ее тексте: «Le fissazioni dei limiti sono così necessarie nella politica come nella matematica, tanto nella misura del ben pubblico, quanto nella misura delle grandezze». — «Точное разграничение так же необходимо в политике, как и в математике, столько же при измерении общественного блага, сколько и при измерении величин» (стр. 339, 371). Или в другом месте: «Questi problemi meritano di essere sciolti con quella precisione geometrica a cui la nebbia de'sofismi... non possa resistere» — «Все эти вопросы заслуживали бы геометрически точного решения, перед которым были бы бессильны все туманные софизмы» (стр. 161, 242). И Беккариа, как мы видим, отказывается от «туманных софизмов» и обращается к отчетливым формулам, к языку аксиом и теорем.

Общественные отношения в эпоху Беккариа становятся предметом исследования. Стремление открыть социальные закономерности подсказывало Беккариа именно такое изложение. Беккариа использовал такие языковые средства, которые являлись формой выражения познанных закономерностей.

Чезаре Беккариа как писатель, занимающий определенное место в истории итальянского языка, вполне может быть сопоставлен с Галилеем — при всем несходстве их эпохи, их личностей и наук, которыми они занимались. Галилей и его школа сделали *volgare* средством систематического изложения естественнонаучных теорий¹⁴. Ч. Беккариа, так же как Дж. Вико, А. Дженовези

¹⁴ См. Л. Ольшки. История научной литературы на новых языках, т. III.— Галилей и его время. М.— Л., 1933; см. также А. А. Касаткин. Га-

и другие их современники, сделали итальянский язык средством выражения общественных наук. Галилей, излагая естественно-научные доктрины, широко пользовался эстетическими возможностями языка, языком как художественной формой (достаточно привести в виде примера его «Диалог о двух величайших системах мира», который является не только научным трактатом, но и художественным произведением). Обращаясь к *volgare* и делая его средством научного познания, Галилей использовал опыт художественной литературы. Ч. Беккариа, излагая на итальянском языке социально-правовые теории, также использует экспрессивные средства языка (и в этом смысле он может быть уподоблен Галилею); вместе с тем он использует языковые средства точных наук, т. е. собственный опыт естественнонаучной прозы, опыт Галилея. Публицистическая, социологическая проза XVIII в. опиралась в своем развитии, с одной стороны, на опыт художественного повествования, а с другой стороны, на достижения языка точных наук.

Взаимодействие разных сфер использования литературного языка было исторически плодотворным, оно являлось средством взаимного обогащения художественного и научного стиля языка, арсенала языковых средств разных наук¹⁵. В то же время оно свидетельствовало и о том, что итальянский язык становится универсальным литературным языком. Трактат Ч. Беккариа, навсегда вошедший в историю права, достоин изучения и как выдающийся памятник истории итальянского языка.

Галилео Галилей и проблемы языка. К 400-летию со дня рождения. «Вестн. Ленингр. ун-та», серия истории, языка и литературы, 1964, № 20(4), стр. 110—122.

¹⁵ Ср. Р. А. Будагов. Литературные языки и языковые стили. М., «Высшая школа», 1967 (гл. VII — О научном стиле изложения).

Заметки по молдавской стилистике

1. Прилагательное и его грамматические синонимы

Грамматическое значение прилагательного состоит в выражении признака существительного. Этот признак передается или непосредственно (ср. качественные прилагательные типа *слаб, таре, фрумос*) или опосредствованно — через отношение к другому предмету или действию (ср. относительные прилагательные типа *бэтрынск, металик*). К относительным прилагательным примыкают относительные отглагольные прилагательные, утерявшие оттенок глагольности (*вестит, трекут, юбит*) и употребляющиеся в функции определения.

Выражая признак существительного, прилагательное может находиться в различных синтаксических позициях относительно существительного. Вместе с тем для выражения признака может быть использовано не только прилагательное, но и другие синтаксико-морфологические формы. В результате в языке образуется система синонимических средств выражения признака существительного. В балкано-романских языках эта система включает в себя следующие грамматические синонимы:

1. Употребление прилагательного

а) в постпозиции: *бы ынкэ маре невое ам, ом, бун* (Крянгэ, 87)¹, *луна аржинтие* (Еминеску. Крэяса дин повешть).

б) в препозиции: *бун(ул) ом*.

2. Употребление нечленного существительного с предлогом: *луна де аржинт*.

3. Введение инверсионного оборота со субстантивизацией прилагательного *пэкат де ун аша витяз, бунэтите де ом* (I. Ghica. Scrisori către V. Alexandri. București, 1940, p. 598).

4. Использование придаточного определительного предложения *омул каре ый бун*².

Рассмотрим в отдельности каждый из указанных вариантов:

1. Для большинства прилагательных постпозитивное употребление является наиболее распространенным средством выражения признака предмета. Поэтому эта конструкция является обычно стилистически нейтральной. Постпозитивное прилагательное выступает обычно в своем прямом, конкретном значении. Наоборот,

¹ Лексикологической синонимии (употребление префиксов и суффиксов ср. *небун, бунишор*), а также фонетической вариантности (ср. *бууунэ трябэ!*) мы сознательно здесь не касаемся.

В статье приняты следующие условные сокращения: Александри — В. Александри. Опере алесе. Кишинэу, 1954; Еминеску — М. Еминеску. Поэзий. Кишинэу, 1954; Крянгэ — И. Крянгэ. Опере Алесе. Кишинэу, 1953.

² Само собой ясно, что не всякое молдавское прилагательное имеет указанные синонимы.

попадая в препозицию, прилагательное обрастает различными эмоциональными и оценочно-моральными оттенками.

Ср. *Вэздухул стрэлучеште де арме аскуците, Яр п а л о ш е л е а л б е чокнинду-се н'ловирь Дау фок...* (Александрри. Думбрава рошие), но *Пэря кэ принтре ноурь с'а фост дескис о поартэ, Прин каре трече а л б э режина нопций моартэ* (Еминеску. Меланколие)

или *Пе ун пат алб ка ун линцолю заче лебэда муриндэ Заце палида вержинэ ку лунжь жене, воче блындэ* (Еминеску. Епигоний).

Находясь в постпозиции, прилагательное *алб* указывает на цвет предмета. В препозиции оно принимает дополнительные оценочные значения, семантически сближаясь с прилагательным *палид* и подчеркивая тем самым, что обозначаемые существительным образы несут на себе печать смерти (см. *режина нопций моартэ, муриндэ... вержинэ*).

Следует отметить, что, находясь в постпозиции, прилагательное *алб* взаимодействует с существительными конкретного значения и нейтральной стилистической окраски (*пат, палаш*).

Препозитивные прилагательные *алб* и *палид* связаны с существительными поэтической тональности — *вержинэ, режинэ*.

Ср. в этом плане также: *Ш'апой Хумулешти... ерау... с а т в е к ь рэзэшеск...* (Крянгэ, 229), но *Пе скэрь де марморэ, прин в е к ь порталурь Пэтрунде луна ынэлбинд пэреций* (Еминеску. Венеция). *Суб болта чя ынналтэ а уней в е к ь бисеричь*³ (Еминеску. Стригой, I).

Некоторые прилагательные оценочного значения типа *рэу, тикэлос, плэкут, прост, тымпит, сэрман, грозав* и т. д. ставятся обычно в препозицию — ср. *Сэрмане о мул е! дакэ ну штий боабэ де карте, кум ай сэ мэ ынцэлезь?* (Крянгэ, 238). Употребление такого прилагательного в постпозиции служит средством не конкретизации, но особого подчеркивания и даже эмоционального выделения.

Отдельные прилагательные полностью меняют свое значение в зависимости от того, употреблены ли они в препозиции или постпозиции: *омул сэрак*, но *сэракул ом* (т. е. *ненорочитул*) или *омул маре (де статурэ)*, но *мареле ом (де стат)*.

³ Указанное стилистическое противопоставление постпозиции и препозиции характерно и для существительных, выступающих в роли определения. Ср.:

Перул сэу негру ка ноаптя несте —

— а л м а р м у р е й б р а ц а л б ...

Пе ун му р ынналт ши рэче де

о м а р м у р э к у р а т э ...

Ку де м а р м у р ' а л б э ф а ц э ши ку

мыниле де чарэ...

(Еминеску. Ынжер ши демон);

Пе скэрь де марморэ... пэтрунде луна...

(Еминеску. Венеция)

2. Употребление предложного определения служит более сильным средством конкретизации и «материализации» качества, чем употребление постпозитивного прилагательного. Не случайно, что художники слова широко используют предложные определения для создания зрительных образов.

... натала мя вылчоарэ скэлдата ын кристалул пырэулуй де-аржинт (Еминеску. Дин стрэинэтата);

но Негурь албе, стрэлучите Наште луна аржинтие (Еминеску. Крэяса дин повешть) или Сынгурел вой мерже нумай пе кэрэриле де пятрэ (Еминеску. Кэлин Небунул); но Дин ноу прин глорий калкэ ку фаца ынзеитэ Ку факлеле нестинсе, путерья-йымпетритэ Попорул ымпэрат (Еминеску. Жуний корупць) Че ку флорь пын'ын пэмынт Ун извор врэжит аскунде (Еминеску, Повестя теюлуй), но Унде изворул чел ын вражэ Сунэ дулче ын урекь (Еминеску. Фэт-Фрумос дин тей) ⁴.

3. Субстантивизация прилагательного в инверсивном обороте, придавая качеству устойчивый объемно-пространственный характер, служит средством усиления качества. По существу субстантивизированные прилагательные этого типа являются синонимами абсолютного суперлатива.

Ср. Ши ачаста нумай пынэ с'а дуче дела ной ун тикэло де аргат каре-ла авем, кэ кяр аз и се ымплинеште (Крянгэ, 98), при возможном аргатул фоарте тикэло; ун дрэгуц де фемее (Крянгэ, 90) = фемее фоарте дрэгуц.

Вместо субстантивированного прилагательного может быть употреблено существительное с качественно-оценочным оттенком в своем значении:

Ну путем трэи ын каса ачаста, де н'ом фаче тоате кипуриле сэ скэпэм де хырка де бабэ (Крянгэ, 80) или ун душман де луп (Крянгэ, 34) и т. п.

В состав фразеологии может включаться прилагательное, усиливающее оценочность оборота:

Доамне, ку адевэрат бун суфлет де ом ый ачеста... (Крянгэ, 165).

Эти конструкции, свойственные в основном разговорной речи, строятся на экспрессивной лексике и имеют отчетливо выраженное оценочное значение ⁵.

4. Одним из членов грамматико-синонимической системы выражения признака и качества предмета может выступать и придаточное определительное предложение. В этом случае имеет место логическое выделение данного признака или качества предмета: Ферикат есте омул чел че се афлэ виноват (Coresi Dia so-

⁴ T. Vianu. Epitetul eminescian. «Studii și cercetări lingvistice», 1954, vol. V, pp. 165—195.

⁵ Подробнее см. F. Dimitrescu. Componenta locuțiunilor verbale în limba română. «Studii de gramatică», vol. I. București, 1956, p. 42, n. 2.

п и л. Carte de învățătură (1581). Ed. Soces. București, 1914, p. 53). И так, мы рассмотрели ряд грамматических синонимов, использующихся для обозначения признака предмета. Исходным членом этого ряда является имя прилагательное — грамматическая категория, формирующая и объединяющая слова, которые обозначают признак и качество предмета. Периферийные члены этой системы (предложное определение, инверсивный оборот с субстантивированным прилагательным, придаточное определительное предложение) противостоят ему с точки зрения особо присущих каждому из них дополнительных грамматических значений. Эти дополнительные значения определяют в свою очередь различия в стилистическом использовании указанных оборотов, а следовательно и в их стилистической окраске. Наконец, в определенных художественных контекстах эта стилистическая окраска может получать особую экспрессивную оценочность.

II. Синонимия временных форм

Своеобразие балкано-романской системы времен состоит в том, что здесь (как и в других романских языках) глагольная форма может выражать временное отношение действия к моменту речи не только непосредственно, но и через соотношение действия с другим моментом в прошлом или будущем. В связи с этим молдавские времена делятся на группу абсолютных времен (презент, виитор I (форма 1 и форма 2), перфект симплу, имперфект) и относительных времен (имперфект⁶, виитор II, перфект компус, маймулткаперфект).

Одновременно внутри системы молдавских времен образуется два смысловых хронологических плана — «эпохи»: план настоящего, куда входят времена, обозначающие действия, связанные своим возникновением или результатами с моментом речи (презент, перфект компус, виитор I и II) и план прошедшего, объединяющий времена, которые указывают на действия, не связанные своими результатами с моментом речи (имперфект, перфект симплу, маймулткаперфект). Эти соотношения иллюстрирует следующая таблица⁷:

Таблица показывает, что своеобразие системы молдавских времен определяется сложностью грамматического значения отдельных временных форм. Грамматическое значение этих форм

⁶ По отношению к временам «эпохи» прошлого имперфект является «абсолютным» временем, по отношению к презенту оно выступает как относительное время.

⁷ В таблице показаны лишь те времена, которые достаточно устойчиво употребляются в молдавской литературной норме.

		Инфектные времена		Перфектные времена
«Эпоха» настоящего		виитор I (ф. 1) — <i>вой кынта</i> == виитор I (ф. 2) — <i>ам сэ кынт</i> презент — <i>кынт</i>		виитор II — <i>вой фи кынтат</i> перфект компус — <i>ам кынтат</i>
«Эпоха» прошедшего		время моментное	время длительное	маймулткаперфект — — <i>кынтасем</i>
		перфект симпу — <i>кынтай</i>	имперфект — — <i>кынтам</i>	

включает указание на относительный характер действия, а также на видовые оттенки.

Такая многозначность временных форм позволяет употреблять одно время вместо другого, в связи с этим некоторые временные формы могут даже выступать в качестве грамматических синонимов, различающихся лишь дополнительными экспрессивно-смысловыми оттенками, а иногда и стилистической окраской. Все это создает богатые возможности стилового использования времен в языке художественной литературы.

Поскольку грамматическая стилистика изучает лишь значение грамматических форм и связанные с этим значением экспрессивно-стилистические оттенки, постольку при рассмотрении временных форм глагола мы будем пользоваться не грамматическими принципами их классификации (времена простые и сложные или времена абсолютные и относительные), но будем группировать эти формы, руководствуясь семантической точкой зрения.

В связи с этим, следует распределить временные формы по трем группам:

- 1) временные формы, употребляющиеся для выражения действия в настоящем;
- 2) временные формы, употребляющиеся для выражения действия в будущем;
- 3) временные формы, употребляющиеся для выражения действия в прошлом.

Временные и модальные формы, выражающие настоящее время. Основными средствами выражения действия или состояния, осуществляющегося в момент высказывания, является форма презент.

Однако следует отметить, что презент обладает большей или меньшей эластичностью, захватывая как моменты будущего, так

и моменты прошлого. С одной стороны, она может суживаться до обозначения ограниченного промежутка времени, совпадающего с моментом высказывания (так называемое собственно-настоящее время):

...акум се а шязэ май ын вое... Ел ышь а принде цигара, ур мязэ: — Ышь фак де кап фетеле челе... (М. Ка х а н а. Павел Брагар. «Ниструл», 1957, 8, стр. 14).

С другой стороны, расширяя свои пределы, презент может обозначать длительное или повторяющееся действие или состояние, охватывающее значительный, хотя и ограниченный отрезок времени (так называемое расширенное настоящее):

Азь Дунэря либэрэ, трызэ,

Ну в ря сэ ынгеце де лок

Ши салчия кынтэ, ши валул валсязэ (Буков.

Тимпурь ши Оамень, «Ниструл», 1957, № 9, стр. 7).

Кроме того, презент приобретает абсолютный характер, выражая постоянные свойства, состояния или действия субъекта (вневременное настоящее время):

Кум мынгые дулче, а линэ ушор

Сперанца не тоць муриторий (Е м и н е с к у. Сперанца).

Такая подвижность значения презента дает возможность обозначать факты, относящиеся к прошлому или к будущему, т. е. представлять события как бы совершающимися в момент речи перед глазами читателя или слушателя. Эти разновидности употребления презента, обусловленные контекстом, обладают особой выразительностью.

В качестве грамматического синонима обозначения настоящего времени могут выступать формы имперфекта. В этом случае имперфект получает модальный оттенок, служа средством смягчения категоричности высказывания (так называемый имперфект вежливости).

Ср. разговорное: *Штиць че в ро я м сэ вз рог? сэ-мь ымпру-мутаць ниште бань (вм. вреу сэ-вэ... и т. д.).*

Вместо презента может употребляться также и императив, причем такое употребление служит средством драматизации повествования.

Галбень, ступь, ой, кай, бой... требуя сэ дукэ даскэлий поклон катихетулуй...; ш-апой ласэ-те ын конта сфинцией-сале, сэ те скоате попонец ка дин skutie. (Крянгэ, 275).

Драгу-мь ера сатул ностру... Дразь ымь ерау тата ши мама ... Апой ласэ-ци, бэете, сатул, ку тот фармекул фрумусецилор луй, ши па сэ де те ду ын лок стрэин ши аша допэртат... (Крянгэ, 296—297).

Временные формы, выражающие будущее время. Будущее время передается с помощью следующих форм:

виитор I форма 1

— *мыне вой кынта*

виитор I форма 2

— *мыне ам сэ кынт*

презент

— *мыне кынт.*

С грамматической точки зрения эти формы синонимичны. Тонкие различия в их грамматическом значении и употреблении еще не отстоялись и не оформились окончательно в грамматическую норму.

Они имеют определенные экспрессивно-стилистические функции и сводятся к следующему: винтор I форма 2, указывая на действие в будущем, подчеркивает уверенность говорящего в его совершении. Наоборот, винтор I форма I выражает оттенок неуверенности в реализации предстоящего события.

— *Н'ай грижэ, Петре — зысе думнезеу... Ши сэ везь кум а ре сэ не дее амындоуэ карбоавеле де поманэ, бетул ом!...* (Крянгэ, 164—165) или

— *Д'апой дакэ н'ой шти еу чине алтул а ре сэ шти е?— рэспунсе думнезеу* (там же).

При употреблении формы презент со значением будущего времени действие изображается как бы происходящим на глазах у собеседников.

Таким образом, употребление презент, с одной стороны, придает изложению характер наглядности и живости, а, с другой, — подчеркивает уверенность говорящего в реализации указанных действий. Эти оттенки выступают особенно отчетливо при параллельном употреблении презента со значением будущего и винтора I в форме I:

Аскунде-те Фэт-Фрумос, кэ де те-а гэси змэул аич, ну май трэешть (Крянгэ, 187).

Атунч зына спэймынтатэ, зысе луй Фэт-Фрумос: — Фэ-те, че те-й фаче, кэ те прэпэдеште, змэул! (Крянгэ, 189).

Прошедшие времена, обозначающие действия, предшествующие моменту речи. Действие, предшествующее моменту речи, обозначается формами имперфекта, перфекта, компус, перфекта симплу, презента историк.

Формы маймулткаперфекта обычно служат для выражения значений предпрошедшего (давнопрошедшего) времени, однако в литературном языке обнаруживается немало случаев его употребления для передачи простого прошедшего времени.

Несмотря на то что все указанные формы выражают прошедшее время, их основные грамматические значения не являются синонимичными. Одни формы — в первую очередь перфект компус и перфект симплу — выполняют повествовательную функцию, т. е. служат для передачи ряда законченных, сменяющих друг друга событий. Другие — в первую очередь имперфект — несут описательную функцию, т. е. указывают на длительное, не ограниченное во времени действие. В связи с этим экспрессивно-смысловые оттенки, стилистические нюансы и художественно-стилевые возможности всех указанных временных форм будут рассмотрены с точки зрения двух смысловых типов прошедшего времени — прошедшего повествовательного и прошедшего описательного.

Перфект симплу и перфект компус в повествовательной функции. Стилистическое разграничение указанных времен связано с тем, что перфект симплу встречается, как правило, лишь в языке художественной литературы, а в разговорной речи по существу вообще не употребляется. Здесь повествовательную функцию выполняет обычно перфект компус.

В связи с этим перфект симплу имеет книжное звучание с небольшим архаическим налетом, в то время как перфект компус стилистически нейтрален.

Эти стилистические функции обоих времен отчетливо выявляются при сравнении следующих отрывков. Ср. в нарочито архаизованном языке сказки И. Крянгэ «Фэт-Фрумос, Фиул Епий»:

Дакэ-и аша, ынчеп еу, зи се Стрымбэ-лемне; ши одатэ ынчепу а тэя ла змей, де-й потопя, ши кынд сынжеле а жунсе пынэ ла брыу, Стрымбэ-лемне кэзу жос ши мури. (Крянгэ, 186).

Но в современном романе М. Кахана «Павел Брагар»:

Апрошинду-се, Брагар а нумэрат фемеиле. Кынд с'а дат жос дин бидаркэ, ел-а ынтребат пе Онофрей:

— *Че авець аич? Ун звеноу?*

— *Ши жумэтате, — а рэспунс Брабие ку сфиялэ.*

Павел шь-а ынкрецит; ши а дат дин мынэ ку диспрец («Ниструл», 1957, 9, стр. 24).

Презент историк и его повествовательные возможности. При употреблении презента последовательные события, имевшие место в прошлом, изображаются как бы происходящими на глазах читателя. Историческое настоящее превращает самого читателя в участника событий, заражает читателя настроениями и переживаниями героев.

Ср. Аралд пе ун кал негру збура, ши дялурь, вале Ын журу-й фу г ка висурь ... А жунс-а ел ла поала де-кадру'н мунций векь... Пе-ун жилц тэят ын стынкэ стэ цапэн, палид, дрепт Ку кыржа луй ын мынэ, преотул чел пэгын... Аралд атунч кобоарэ де пе-ал луй кал. К'о мынэ Ел скутурэ дин вису-й мошнягу'нкременит ... Бэтрынул ку-а луй кырнэ сус женеле-шь рыдикэ, Се уйтэ лунг ла дынсул, дар гура'нкис-й таче... (Е минеску. Стригой, II).

Повествовательные возможности имперфекта. Хотя повествовательные возможности имперфекта незначительны, он может использоваться для обозначения одного из сменяющих друг друга событий. Включаясь в ряд передающих последовательность событий перфектов симплу, имперфект выступает как средство выделения отдельных событий. Имперфект задерживает внимание собеседника или читателя на процессе протекания данного события, которое противопоставляется точечному, «мгновенному» изображению других действий, обозначенных посредством форм перфекта компус и перфекта симплу. Ср., например, использование этого приема у Еминеску:

Яр еа ворбинд ку ел ын сомн
 Офтынд дин греу суспинэ:
 «О дулче-ал нопций меле Домн,
 Дече ну вий ту? Винэ!
 Ел аскулта тремурэтор,
 Се априндя май таре,
 Ши с'а рункэ фулжерэтор
 Се ку фунда ын маре
 Ши апа, унде-ау фост кэзут
 Ын черкурь се ротеште... (Луцафэрул).

Поэт посредством употребления имперфектных форм *с'арунка*, *се куфунда* (вм. нормативных *с'а арункат*, *с'арункэ*, *с'а куфундат*, *се куфундэ*) «растягивает» мгновенные события и дает таким образом рельефно-пластичную картину действий взволнованного героя.

Употребление живописно-повествовательного имперфекта имеет литературно-книжную окраску. Однако из литературно-художественной речи это явление может проникать и в некоторые стили устной речи. В частности, употребление «растянутого» имперфекта встречается в языке народной поэзии⁸.

Описательные функции имперфекта и презента. Замена при описании событий прошлого описательного имперфекта на «воображаемый» презент связано с появлением значительной экспрессии. Подобно историческому презенту (см. выше) воображаемое настоящее представляет действия и процессы происходящими на глазах самого читателя, который становится не только живым свидетелем, но и участником повествования.

В этом плане весьма поучительно сравнение двух параллельных отрывков из различных произведений М. Садовяну:

Пэреций де ынтунерик дин журу-мь диспэряу ши ведений популау маржиниле зэрий. Орь о аминтире, ка ун рефлекс дин алтэ вяцэ, се контура ынаинте-мь ку недеслушите форме де вис. Басмеле челе ушор шоптите де бэтрыний мей дражь, каре де мулт ау мурит, ынгынэриле де кынтичу де мулт уйтате, се трезяу ши тремурау ын мине («Imparația apelor». București, 1928, p. 46).

Вводя этот отрывок в свою новеллу «Нада Флорилор», изданную в 1951 г., писатель решил осветить и заострить его экспрессию. Это было достигнуто путем замены имперфекта на презент:

Переций де ынтунерик дин журу-мь диспар ши ведений популязэ маржиниле зэрий; орь о аминтире ка ун рефлекс дин алтэ вяцэ, се контурызэ ынаинте-мь ку форме недеслушите де вис. Басмеле челе блындр шоптите де бэтрыний мей дражь каре де мулт ау мурит, ынгынэриле де кынтиче де мулт уйтате се трезеск ши тремурэ ын фиинца мя (Нада Флорилор).

⁸ Ср. А. Georgescu. Unele probleme ale imperfectului, Studii de gramatică, I. București, 1956, pp. 86—92.

Описательные функции перфекта симплу и имперфекта. Видовой оттенок завершенности, указание на отсутствие соотнесенности действия с моментом речи и отвлеченно-повествовательная окраска, свойственные перфекту симплу, используются писателями для того, чтобы подчеркнуть, что то или иное длительное действие или состояние не имеет никакой связи с настоящим моментом.

Ср. *Пе-ун пат алб ка ун линцолу заче лебэда муриндэ, Заче палида вержинэ ку лунжэ жене, воче блындэ — Вяца-й фу о примэварэ, моартя — о пэреге де рэу* (Е м и н е с к у. Епигоний). Нормативное употребление имперфекта (*Вяца-й ера о примэварэ..*) ослабило бы художественную силу образа умирающей девушки, которую уже ничто не связывает с жизнью (*Вяца-й фу...*).

Итак, рассмотренные нами глагольные синонимические ряды характеризуются как оттеночно-смысловыми, так и функционально-стилистическими, а также экспрессивно-оценочными различиями своих компонентов. С точки зрения художественного использования особое место занимает категория времени. Это и понятно: категория времени в большей степени, чем другие категории глагола (залог и наклонение), выполняет конструктивную функцию не только в предложении, но и вообще в повествовании. Поэтому писатели охотно используют близкие по своему основному значению грамматические временные формы для усиления своих художественных образов, разграничения композиционных планов и т. п.

О СТИЛИСТИЧЕСКОМ ХАРАКТЕРЕ ФРАНЦУЗСКИХ И АНГЛИЙСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПИСЬМАХ МАРКСА К ЭНГЕЛЬСУ

Письма Маркса и Энгельса представляют исключительную ценность по своему политическому и научному содержанию. Как известно, они очень богаты иноязычными выражениями, их много и в переписке Маркса с некоторыми его друзьями, например с Кугельманом. В письмах Энгельса иноязычных слов и выражений меньше, хотя и его письма богаты ими.

В «Словаре иноязычных слов и выражений, употребляемых без перевода в русском языке» А. М. Бабкина и В. В. Шендцова приведены иноязычные выражения, которые встречаются как в произведениях Маркса и Энгельса, так и в их переписке¹.

Эти выражения представлены в первом полном собрании сочинений Маркса и Энгельса, изданном у нас в 30-х годах. В предисловии к 27-му тому второго издания Полного собрания сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса (том издан в 1962 г) редакция отмечает: «В отличие от первого издания, где разноязычные вставки (отметим, что самое слово «вставки» удачно формулирует связь иностранных выражений с русским контекстом. — А. С.) в письмах воспроизводились на языке оригинала, в данном издании они переводятся на русский язык»².

Изъятие основной массы французских и английских выражений из второго издания сочинений Маркса и Энгельса весьма правомерно, так как невозможно согласовать все вставки, имеющиеся в немецком тексте, с русским текстом ввиду различия грамматического строя и семантики обоих языков³. Кроме того,

¹ В своей рецензии на этот словарь («Изв. АН СССР», ОЛЯ, 1967, т. 26, вып. 1) Р. А. Будагов, подчеркивая полезность этого труда, отмечает, однако, что словарь не отделяет в массе приводимые им типичные слова и словосочетания, действительно, вошедшие в русский язык, от выражений индивидуально-речевого порядка. Здесь же Р. А. Будагов поднимает немаловажный вопрос об употреблении таких выражений в разных жанрах — роман, повесть, мемуарная литература, дневники, письма. По нашим наблюдениям, дружеские письма имеют и свой особый репертуар иноязычных выражений.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Полн. собр. соч., изд. 2, т. 27, стр. XI. Примеры не переведенных выражений во 2-м полном собрании сочинений в письмах Маркса к Энгельсу:

Латинские выражения: *bona fide* (от 18 марта 1857 г.), *in puncto* (от 9 апр. 1857 г.), *mutatis mutandis* (от 18 марта 1857 г.), *tabula rasa* (от 17 сент. 1856 г.), *casus belli* (от 8 окт. 1853 г.), *ad vocem* (от 23 февр. 1853 г.), *lapsus peninae* (от 12 апр. 1859 г.).

Французские выражения: *hommes d'esprit* (от 4 февр. 1852 г.), *bête noire* (от 14 июня 1853 г.), *сграудс* (от 24 сент. 1852 г.) (филистеры, французские обыватели), *Le bonhomme!* (от 24 марта 1870 г.).

³ Во всех немецких изданиях переписки Маркса и Энгельса, включая и издания 60-х годов Berlin, Dietz, иноязычные вставки, сопровождаемые немецким переводом, представлены в самом тексте писем.

многочисленные сноски с русским переводом затрудняют быстроту усвоения важного политического содержания писем. Тем не менее, на наш взгляд, частотные иноязычные выражения у Маркса и Энгельса могут представить двоякий интерес: 1) иноязычные вставки образуют своеобразное стилевое диалектическое единство с контекстом родного языка; 2) привлекают читателя прекрасным знанием авторами как французского, так и английского языка. Действительно, вставки дают представление об исключительно тонком знании Марксом и Энгельсом французского и английского языков, большом умении применять их à propos (любимое выражение Маркса в германизованном виде: argoros⁴).

Дружеская переписка Маркса и Энгельса публикуется в полном виде и представляет собой прекраснейший образец этого своеобразного жанра. В ней содержится много данных, далеко выходящих за рамки интимных сообщений, имеющих особую историческую и культурную ценность.

К своеобразию жанра интимной переписки относится проявленная иногда абсолютная свобода в характере сообщений, а поэтому и в подборе выражений. В. П. Якубинский отмечал как характерную черту диалогической (разговорной) речи ее необдуманность по сравнению с письменным монологом. Ш. Балли отмечал непосредственность, спонтанность, фамильярность живого разговора. В данном случае устная беседа между близкими друзьями заменена перепиской, отражающей многие важные (хотя далеко не все) черты разговора друзей, который слышат только они⁵.

В переписке Маркса с Энгельсом можно выделить следующие языковые и речевые стили, данные в тех или иных отрезках графического обозначения.

1. Повествовательно-нейтральный стиль: разного рода сообщения политического, делового, домашне-обиходного порядка.

2. Ученый стиль. Целый ряд вопросов в связи с рождением и разработкой ученых трудов Маркса и Энгельса ими обсуждается с богатым применением научной (особенно общественно-политической, экономико-исторической) терминологии.

3. Письма богаты проявлением публицистического стиля, который, с одной стороны, соприкасается с ученым изложением,

⁴ В русском тексте Соч. 1-го изд. дается французское à propos, что создает несогласованность с немецким текстом.

⁵ В предисловии к переписке М. и Э. во 2-м изд., стр. 6, т. 27 Сочинений Маркса — Энгельса редакция отмечает, что Маркс и Энгельс давали в письмах более острые политические характеристики разных лиц и событий, ибо не были связаны цензурой и другими условиями, хотя случаи вскрытия писем Маркса и Энгельса были. С другой стороны, в интимных строках, предназначенных только для взора Энгельса, Маркс проявляет большую свободу в выборе выражений в критике действий лиц, с которыми был связан идейной и общей дружбой. Так, Вильгельм Либкнехт (как и другие лица) нередко получает эпитет Esel, употребляются и другие фамильярно-ругательные обозначения.

с другой стороны, отражает как художественно-литературную, так и разговорно-речевую экспрессию.

4. Экспрессивно-разговорный стиль со своей тематикой, иногда лично-домашней, разного рода сообщения в этом стиле и характеристики лиц, более или менее близких к Марксу. В нем проявлены импровизационная необдуманность (Якубинский) и спонтанность (Ш. Балли), которые свойственны устному разговору.

Образуют ли иноязычные вставки какой-либо новый по характеру делений стиль, или, напротив, стирают ли они стилевые различия?

По нашему мнению, это как бы иноязычная копия стилевых различий на родном языке, но, поскольку это другие языки, какой-то новый пласт наслаивается на основной немецкий текст.

В томах переписки можно найти немало иностранных текстов — цитаты ученых-историков, публицистов, политиков и краткое изложение точек зрения тех или иных научных и политических взглядов на родном языке самих деятелей.

Нас интересуют только самостоятельные высказывания Маркса и Энгельса, выраженные не на их родном языке. Обращение к тому или иному иноязычному выражению имеет нередко социальную мотивировку, особенно это касается французских и латинских вставок. Французский язык в эпоху Маркса — международный язык интеллигенции мира, его применение облегчало взаимопонимание между образованными людьми разных наций; на латинском же языке издревле изъяснялись все ученые мира, он был вековым достоянием образованной интеллигенции.

В употреблении английского языка надо особо подчеркнуть роль разговорной среды. Маркс и Энгельс годами жили в Англии, дети Маркса с колыбели усваивали английскую речь, поэтому Маркс непроизвольно⁶ обращался к английскому языку.

Так как иноязычные слова и словосочетания вставлялись в немецкий текст, то мотивировка предпочтения была нередко объективно-языковой, тем самым и социальной. Нередко иноязычное выражение в силу наличия живой внутренней формы было семантически более насыщенным, более ярким и экспрессивным, чем соответствующее немецкое выражение. Такую роль брали на себя идиоматически-фразеологические сращения и единства, не имеющие лингвистически точных эквивалентов в немецком языке.

Внедрение иноязычных слов и выражений в немецкий текст не может полностью обойти самый текст, не может слишком резко с ним контрастировать со стороны структурно-языковой. Выбор иноязычных выражений испытывает на себе влияние немецкого окружения, особенно в вопросах связи субъекта и предиката, как и грамматической связи между частями сложного предложения.

⁶ Словом «непроизвольно» подтверждаем следующее: «...В письмах к Энгельсу, в дневниковых записях, в записных книжках, Маркс непроизвольно переходит с немецкого на английский» («Великое наследие». М., Политиздат, 1968, стр. 173).

Приведем примеры (все примеры даются нами по первому изданию).

«*Вот уже две недели как я very sickly*» (от 2/IV 1858 г.); немецкий текст: Ich bin seit zwei Wochen wieder very sickly. «...у него (Жюля Фавра) supporter Кавеньяка Conscience конечно не clean». В немецком тексте это конец сложной фразы: Jule Favre... hat natürlich die Conscience nicht clean vom Courier Français (12/XI 1867 г.). Второе издание сочинений Маркса и Энгельса дает вполне ясную фразу: «У него, сподвижника Кавеньяка в июньские дни, совесть, конечно, не чиста». Сравним еще две фразы: «Мы делаем trips по lake» (т. 24, стр. 576) и «Wir hatten trips auf dem Lake», хотя в подлинном тексте есть некоторая вольность в обращении с предлогом, поскольку в маленькую фразу внедрено целых два английских слова, все же auf dem фонетически-грамматически удовлетворительнее согласовано с Lake, чем соединение русского предлога по с английским существительным lake. Также делаем trips — значительно контрастнее, чем hatten trips.

Иноязычные вставки занимают и синтаксически разную позицию в немецком тексте писем Маркса. Маркс начинает фразу по-английски или по-французски и заканчивает ее по-немецки, или, наоборот — иноязычная вставка внедрена в середину фразы. Причем синтаксически интереснее именно не вставки отдельных слов, а целых словосочетаний, они-то и зависят от окружения в родном языке. Примеры: «Я надеюсь зато, что этим я окончательно уплатил ту my debt to nature» (т. 23, стр. 304); «Опасения Лупуса в отношении прусской полиции quite out of place». (т. 23, стр. 19). По нашему наблюдению, чаще попадаются конструкции с иноязычным ф и н а л о м, чем с иноязычным началом, особенно часты английские финалы. Примеры срединных вставок часты: «Мне кажется, что твой аспект a little to much определен военным взглядом на вещи» (т. 23, стр. 108). «Es ist schade, qu'il n'y a pas moyen, sie (статью Энгельса) drucken zu lassen» (от 24/XI 1851 г.). (В русском тексте сталкиваемся с очевидным неблагозвучием: «жаль qu'il n'y a pas moyen») (т. 21, стр. 296).

* * *

*

Международный по своему значению в XIX в. французский язык представлен в письмах Маркса в многообразии своих лингвистических свойств, и очень многие употребляемые в письмах слова и словосочетания отражены в словаре А. М. Бабкина в точном, или слегка видоизмененном виде, по данным текстов русских писателей. Они безусловно носят типовой характер.

1. Есть ряд коротких стандартизированных, автоматизированных выражений, весьма частотных в письмах Маркса. Мы уже указывали на argoros (германизированное). Весьма частотное d'abord — прежде всего. Немецкий эквивалент этого слова — erstens — во-первых, придает тексту «рассуждающий» характер,

обязательно требуя после себя *zweitens* — во-вторых. Маркс сообщает кое-что *d'abord*, а потом свободно, без соответствующего наречия, переходит к дальнейшему изложению. Очень частотны: *Qu'en penses-tu?* (*Qu'en pensez-vous.*); *Qu'en dis-tu?* (*Qu'en dites-vous?*) (*vous* в этих вопросах указывает на их приближение к фразеологическому единству); *Que faire?* (обычно слегка окрашенное эмоционально); *pous vergons*; реже попадаетея *qui vivra verga*. Если *argoros, d'abord* вводят в текст, то *Que faire?* *Qu'en penses-tu?* завершают текст.

Выделим показательную группу французских слов, словосочетаний и идиом, не имеющих структурно-лингвистических эквивалентов в немецком языке. Огромное большинство их отражено как конструкции-вставки в русских текстах в словаре А. М. Бабкина (иногда с небольшим видоизменением).

В письме от 13/VI 1854 г. (т. 22, стр. 39). Маркс, говоря о «мелодемократической лжи» филистеров, апеллирующей к сердцу обывателя, заключает: *C'est dégoûtant!* — это отвратительно! (параллельно см. *C'est dégoûtant!* Ленина в словаре Бабкина в связи с оценкой действий Grimma, прикрывающего Швейцарских социал-демократов). *C'est dégoûtant!* — см. также в письме Маркса от 2.XII. 1856 г. (т. 22, стр. 126). *Abscheulich, scheusslich* — отвратительно — не имеют такой выразительной, экспрессивно окрашенной внутренней формы.

В письме от 22/IV 1858 г. Энгельс пишет: «*James hat übrigens schwach und décousu gesprochen*» (т. 22, стр. 336). Немецкое *zusammenlos* абстрактно, не имеет внутренней формы *décousu*.

В письме от 13. VII 1852 г. (т. 21, стр. 374). Маркс употребляет выражение *cercle vicieux*: «*Эти подлецы (виги. — А. С.) находятся в cercle vicieux, из которого им не выбраться*». Латинское *circulus vitiosus* стилистически подошло бы к тексту Маркса, ср. немецкое *fehlerhafter Kreis*. Из трех приведенных выше выражений *décousu* не отражено в словаре А. М. Бабкина.

Целый ряд словосочетаний⁷ в виде идиоматических фразеологических единств (или приближающихся к ним): *à quoi bon*, (22, 428), *à l'imprévu* (22, 41), *à tout prix* (23, 346), *au sérieux*, *au fond* (21, 293, 183; 22, 105), *à tort et à travers* (24, 310), *au fur et à mesure* (24, 305), *bon gré, mal gré, coûte que coûte* (21, 183; 23, 388), *de bonne foie* (24, 178) (*bona fide*), (*double emploi* (22, 191), *entre nous* (21, 506; 23, 198), *la belle France* (21, 319), *coup de main* (23, 82), *en attendant* (22, 43), *en vogue*, *en passant* (23,9), *l'homme d'action* (23, 164); *pas trop de zèle* (22, 397), *point, d'honneur, raison d'être, sain et sauf* (21, 355, 498), *tant bien que mal* (21, 453), *un petit tour* (22, 141) — и многие другие отражены в словаре А. М. Бабкина и не имеют лингвистически точных эквивалентов в немецком языке. Ряд выражений взят из писем дружеского характера.

⁷ Рядом с выражениями проставлены том и страница 1-го издания полного собрания сочинений.

Приведем примеры словосочетаний, не отраженных в словаре. Процент их не велик.

Au bout de son latin (из письма Энгельса, 16/VIII 1865 г.; т. 23, стр. 302), *capables de tout* (21, 279), *sans gêne* (22, 147), *sans sou* (22, 441) (последнее частотно у Маркса), *vielle souche* (фигурально, 23, 201). Отдельные слова: *gaminerie* (24, 203), *follies* (24, 227).

Что касается маленьких самостоятельных предложений, иногда близких к фразеологическим единствам, иногда более свободных, то небольшой процент их представлен в словаре.

Примеры: *c'est drôle* (242, 572), *voilà tout!* (21, 434; 22, 393). отражены в словаре. То обстоятельство, что маленькие предложения обычно предполагают момент свободы в отношении между субъектом и предикатом, легко видоизменяются и дополняются, ограничивает возможность их отражения в словаре А. М. Бабкина. Так, *c'est trop fort* есть в словаре А. М. Бабкина, Марксова *c'est un peu fort* (21, 524) там нет, обе конструкции лингвистически близки друг к другу. *C'est drôle* легко видоизменяется в *c'est vraiment drolo* (24, 372), *c'est par trop drôle* (21, 208), *ce qu'il y a de drôle* (21, 193), *drôle de position* (24, 310) и другие маленькие фразы, встречающиеся у Маркса. Примеры с *voilà*: *voilà la situation* (23, 389), *voilà enfin* (22, 195), *voilà la solution, en voilà assez!* (21, 327).

Примеры самостоятельных присоединительных фраз «субъект + предикат + дополнения», не отраженных в словаре А. М. Бабкина: *C'est dur* (22, 52), *c'est égal* (22, 174), *c'est une chose brûlante* (23, 426), *je l'ai échappé belle* (24, 419), *tout d'abord* (23, 232), *c'est Mayer tout pur* (23, 483), *ça marche* (21, 322) и др. *Je l'ai échappé belle* — галлицизм; *tout pur* в данном примере — фигуральное фразеологическое единство; но большинство подобных примеров предполагает заменимость одного члена предложения другим. Отметим, что предложения, начинающиеся с *c'est*, занимают 9 страниц в словаре А. М. Бабкина и свыше 30 взяты из писем; в самом французском языке их неограниченное количество.

Встречаются в письмах Маркса восклицательные фразы типа: *à tous les diables!* (24, 309). *L'imbécile!* (23, 341). *Les imbéciles! Horreur!* (24, 175) — их можно найти в словаре А. М. Бабкина. *Quel malheur* (24, 398), *Quelle impudence!* (24, 481). *Le malheureux!* — этих последних восклицательных фраз в словаре нет.

Собственно фамильярные выражения довольно редки. Например: *C'est à crever de rire* (22, 104); *Style à pouffer de rire* (21, 334) (выражения не отражены в словаре А. М. Бабкина).

Маркс склонен к моральным оценкам понятийного характера на французском языке⁸: *amour-propre* (отражено в словаре Бабкина), *vanité*, *vaniteux* (*Eitelkeit* точно соответствует *vanité*), *acte de courage*, *un peu indiscret*, *tempérament*, *fugueux*, *d'une manière distinguée*, *mesquin* (*mesquinerie*), *gloire*, *liberté*, *indiscrétion*.

⁸ В письме от 30/XI 1873 г. речь идет о французской (с особым оттенком) *vanité* Шатобрна.

Мы увидим, что английские вставки покажут близость к оценкам личных состояний. Французское «*petites misères de la vie domestique*» соответствует большой массе английских выражений в этом духе.

Маркс склонен употреблять время от времени французские наречия, оканчивающиеся на *ment*: *positivement*, *sériusement*, *évidemment*, *définitivement*, *généralement*, *horriblement*, *immédiatement*, *franchement*, *furieusement*, *passablement*, *fatalement*.

В противоположность английским вставкам (о которых речь будет ниже) сама языковая среда не проявляет себя непосредственно в тексте писем.

Однако в письмах от весны 1882 г. из Алжира встречаются французские слова, навеянные непосредственной средой: *Tempête—c'est ici l'expression sacramentale — продолжается с 26 февраля...* (письмо от 3/III 1882 г.); *После déjeuner собирался немного поспать* (от 8/III 1882 г.); *Traitement* — лечение — употреблено в письме от 30/V. 1882 г. из Монте-Карло. В письмах Энгельсу, когда он жил в Англии, Маркс пишет, что он находится *under medical treatment* (от 18/I 1861 г.).

В заключение о французских вставках отметим, что словарь А. М. Бабкина отражает многие идиоматические словосочетания, иногда и маленькие фразы, как и отдельные слова, встречающиеся в письмах Маркса. Эти выражения носят типовой характер. Но Маркс склонен широко использовать богатства французского языка, и все без исключения французские вставки носят тот отпечаток точности, элегантности, благозвучности, синтаксической легкости строения, которые вообще свойственны французскому языку, столь любимому Марксом и столь хорошо ему знакомому.

* *
*

В 22-м и 23-м томе 1-го полного собрания сочинений Маркса и Энгельса английских иноязычных слов, словосочетаний, целых фраз в письмах Маркса к Энгельсу значительно больше, чем французских выражений. Очень небольшой процент английских выражений отражен в словаре А. М. Бабкина и В. И. Шендецова, см.: *at home*, *ready*, *that is the question*, *never mind*, *by the by*, *pressure from without* и некоторые другие. Мы приведем лишь несколько примеров лингвистически разнотипных английских конструкций.

Формы обращения, формы благодарности всякого рода, приветствия обычно даются в письмах Маркса к Энгельсу на английском языке: см. обращение *Dear Fred*, формы *thank you*, *best thanks for...*, или *my compliments to...* Очень частотны служебно-связывающие слова, наречия с модальным оттенком типа *of course*, *as to*, *after all*, *at least*, *all in all* и многие другие: сильно автоматизировано в употреблении *about*, наряду с *d'abord*,

аргос, que faire, оно очень часто у Маркса. Временные точки особенно часто в 22-м и 23-м томах сочинений даны в письмах Маркса к Энгельсу по-английски: on tuesday, yesterday, at once, for another day и т. д. и т. д. Окружающая Маркса английская среда ярко отразилась во вставках лексического порядка:

а) в наименовании обиходных вещей и всякого рода пространственных точек. Примеры: medecin bottle, stamps (марки, как правило, именуется по-английски), letter cash (денежная мелочь), sleeping room, refresching room и многие другие обозначения подобного характера⁹.

По-французски употреблено antichambre¹⁰; выражение имеет не только вещественный, но и социальный оттенок значения;

б) примеры обозначений разного рода коллективов и профессий; особенно дорогой для Маркса коллектив — его личная семья — почти всегда обозначена английским family. Примеры профессий: broker (судебный пристав) в русском тексте 2-го собрания сочинений передано как брокер, butcher, greengrocer, postman, surgeon (Haussergeon), governess (но: dame de compagnie).

Если французские моральные оценки выступают по линии в основном понятийной, то по-английски особо часто представлены оценки личного порядка; слово troubles имеет не только эпитет public, но часто Маркс указывает на private troubles, domestic troubles. Встречаются: bad news, financial distress, misgivings.

В тексте писем Маркса к Энгельсу нередко восклицательно-экспрессивные английские обороты, иногда в виде самостоятельных фраз: No carbuncles whatever! (от 10/V 1866 г.) (Маркс радуется, что освободился от мучающих его карбункулов); Very amusing, one too (в скобках о статье для «Tribune» (от 7/VI 1858 г.).

Примеров на тенденцию выражать по-английски то, что Маркса лично приятно или неприятно затрагивает, можно приводить очень много: «Я получил особый New Years gift, a именно dignity of grandfather» (т. 24, стр. 151). «Сердечный привет Тусичке, Ленхен and not to forget my grandson» (т. 24, стр. 508); «Твоя статья splendid по style and manner» (от 14/I 1858 г., № 489, т. 22, стр. 290).

В знаменитом коротеньком письме к Энгельсу от 16/VIII 1867 г. в связи с окончанием корректуры I тома «Капитала» (пись-

⁹ Влияние среды может сказаться в выражениях авторов писем. В. И. Ленин пишет матери из Мюнхена от 27 января 1904 г.: «...у меня прошлый месяц вышло на Holz и Kohle целых 5 рублей». Иноязычные выражения в письмах к родным у Ленина не часты. Однако влияние среды не является общезакономерным фактом эпистолярно-стилевого порядка. Живя годами в Англии, А. И. Герцен больше употреблял в своих письмах немецкие и французские (иногда итальянские) выражения, чем английские. Письма А. И. Герцена включают в себя не длинные, но интересные иноязычные обороты, в том числе и из разговорно-эпистолярного жанра. Эти выражения отражены в словаре А. М. Бабкина. Что касается Маркса, то иноязычные вставки в его письмах — чуткий резонатор словесной окружающей его среды.

¹⁰ См. в письме Маркса от 28/V 1859 г.: «Bruno brach ab, weil Budberg ihn nicht «respectvoll» behandelte und in der antichambre chambrieren liess».

мо имеет и знаменательную «поддату» — 2 часа ночи) Маркс, горячо благодаря друга за его самоотверженную помощь, восклицает по-английски: I embrace you full of thanks! (т. 23, стр. 429).

В положениях политического характера английские выражения очень нередки. Обратим внимание на то, что знаменитое (благодаря Ленину), всем нам из истории партии хорошо знакомое положение: *«The whole thing in Germany будет зависеть от того, можно ли будет to back the Proletarian revolution by some second edition of the Peasant war»* — сформулировано Марксом с привлечением английского языка (от 16/IV 1856 г., т. 22, стр. 139).

* *

*

Важный раздел иноязычных выражений как французских, так и английских, в области общественно-политической и экономико-исторической терминологии не может изучаться вне своих исторических корней и вне соотношения к немецким терминам и терминологическим калькам на немецком языке¹¹. Такие термины на французском языке, как *coup d'état*, *droit de travail*, *suffrage universel*, связаны с определенными историческими событиями в определенную эпоху.

Здесь мы подчеркнем лишь одно явление логико-языкового порядка из области терминологии. Как известно, родовые понятия и подчиненные им видовые понятия — важная составная часть языка науки. По нашим наблюдениям, употребление родового понятия на английском языке в письмах Маркса к Энгельсу как бы «притягивает» к себе — в рамках одного контекста употребление видового понятия на том же языке, а не на немецком, и то же применимо в отношении видовых понятий друг к другу. Так, *working class* — *english working class*, а не *englische Arbeiterklasse*. Ср. такие параллели, как: *floating capital*, *fixed capital* (т. 22, стр. 316); *trade in Italy*, *state of french trade* (от 2/III 1858 г.; т. 22, стр. 311). Пример из области астрономических понятий: *Ты знаешь теорию Лапласа об образовании celestial systems и как он объясняет движение различных bodies вокруг своей оси...* (от 19/VIII 1865 г.). Общее понятие *Sternhimmel* потребовало бы *Köper*.

* *

*

В заключение отметим, что Институт марксизма-ленинизма предпринял академическое полное собрание сочинений Маркса и Энгельса на языке оригинала¹², и читатель по нему сможет ознакомиться со всеми иноязычными вставками в немецком тексте переписки Маркса и Энгельса.

¹¹ Статья А. С. Барамидзе «У истоков политической терминологии марксизма» («Вестн. Моск. ун-та», серия филология, 1967, № 2; 1968, № 3) посвящена немецким калькам по материалам «Новой рейнской газеты».

¹² См. об этом «Великое наследие». М., Политиздат, 1968, стр. 284, заключение.

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О «ВОСПИТАНИИ ЧУВСТВА»¹

В романе Г. Флобера «L'Education sentimentale» иногда видят высшую степень настоящего художества. Я этого мнения не разделяю. Однако в нем скрывается нечто верное. Я думаю, что действительно самое ценное в романе Флобера заключено в тонкой культуре языка, в многовековых традициях французской литературы.

До совершенства доведенная простота в стиле этого романа находится в удивительном сочетании с тонким артистизмом в лепке деталей, сцен, портретов и ситуаций. Такой реализм, что жизнь дается порой из минуты в минуту, крайний реализм, пересеченный романтическими образами-вспышками: перед нами что-то вроде мистических видений, вроде Прекрасной дамы в поэзии Блока. Ничтожество и величие событий — в постоянном смешении между собою. Вульгарность и бессмыслица слов и поступков сочетаются с удивительной глубиной чувства и незабываемым сиянием:

«На следующий день, когда он спешил к Делорье, на перекрестке улицы Вивьен и бульвара, мадам Арну вдруг оказалась перед ним ...

Солнце светило на нее прямо; продолговатое лицо, длинные ресницы, черное кружево ее шали, плотно облегающей плечи, сизое шелковое платье, букетик фиалок на краю ее шляпы, все показалось ему необычайным. Что-то бесконечно пленительное изливалось из прекрасных ее глаз. Бормоча наудачу первые подернувшиеся слова:

«Как поживает Арну? — сказал Фредерик.

— Благодарю вас.

— А дети?

— Прекрасно.

— О, какая чудесная погода, не правда ли?

— Превосходная.

— Вы прогуливаетесь?

— Да.

И медленно наклоняя голову:

«Прощайте».

Она не протянула ему руки, не сказала ни одного приветливого слова, даже не пригласила к себе, все равно! он бы не променял эту встречу на самое восхитительное приключение; продолжая свой путь, он все смаковал сладость пережитого».

Эту сцену обрамляют фальшивые чувства, происшествия мелочные и безмерно банальные. И в самой этой сцене — столько пустяков, ничего не значащих слов; поэтический итог ее не без сарказма: *il en ruminait la douceur* — буквально — «он пережевыв-

¹ Все переводы текстов сделаны автором статьи.

вал сладость...» И тут же — «продолжая свой путь», он спешит к Делорье, чтобы сейчас же отречься от своей великой любви, предать ее растерянно и малодушно. Но в сердце Фредерика никогда не угасает глубоко скрытый огонь этого чувства. В сумрачном романе это единственная светлая нить.

Несомненно, задача этого романа показать Францию в целом, какую она была в конце сороковых годов, до государственного переворота 2 декабря 1851 г. и в первые годы Второй империи: провинция и особенно Париж, аристократы, превратившиеся в буржуа, финансовые деятели, преуспевающие и прогорающие, плебеи разного вида и сорта, пролетариат, сыгравший решающую роль в февральской революции и растоптанный в июньские дни. А второго декабря:

«Как! Разве не будут драться?» — обратился Фредерик к одному из рабочих.

Человек, одетый в блузу, ему ответил:

«Нашли дураков — погубить ради буржуев! Пусть устраняются сами». Многие в политической жизни своего времени Флобер зорко видел и точно отображал. 10 августа 1868 г., сообщая Жорж Санд о своем почти законченном романе, он ни слова не говорит о той или другой ситуации, о том или другом характере. Его занимает общая картина нравов: «Я ограничиваюсь тем, чтобы изобразить все таким, каким оно мне представляется, выразить мое понимание истинного положения вещей. Каковы бы ни были последствия, богачи и бедняки, победители и побежденные, мне все равно. Я не допускаю ни любви, ни ненависти, ни жалости, ни гнева. Ну, симпатия — другое дело: чем больше ее, тем лучше. Впрочем, реакционеров я еще меньше щажу, чем кого бы то ни было, они, я думаю, наиболее преступны. Не пора ли совершать правосудие средствами искусства? Беспристрастное изображение достигло бы тогда могущества закона и было бы точным, как наука».

Значит, непристрастие ведет к социальному приговору, и непоколебимому и суровому. Чего стоит один только господин Дамбрес, «подобный барометру», всегда выражающий в готовых и потрепанных фразах сегодняшнее состояние буржуазных мнений!

Колорит романа всюду тот же. Вот еще итог истории этих лет, подведенный немного позже, после катастрофы 1870-го года: «В течение нескольких лет Франция жила в умственном состоянии необычайном ... Это было безумие, следствие глупости, избытка болтовни, изолгались до идиотизма. Было утрачено всякое представление о добре и зле, об уродливом и прекрасном ... Все фальшиво, фальшивый реализм, фальшивая армия, кредит и то — фальшивый, даже проститутки — фальшивые». И общий тон всего письма: «Мне представляется, что мы вступаем во мрак» (*Il me semble que nous entrons dans le noir*). Это обобщение, эти безличные формы действительно поражающе черны. «Воспитание чувств» — не сатирический роман, в нем ничего гиперболического нет.

Колорит каждой сцены, в среде фабрикантов, в среде демократической интеллигенции, где разговоры идут о политике, о философии, об искусстве, неизменно никчемные и пустые, колорит этих сцен не черный, а серый. Сгущенность серого порождает черноту произведения в целом.

Даже в пейзаже.

Уже в начале романа изображение природы вносит что-то разрушительное в чувства людей: «Деревня была безлюдна. Мелкие белые облачка застыли посреди неба; и всюду распространившаяся скука, казалось, замедляла движение судна и делала еще более ничтожными лица людей». И тут же такие детали: «окурки, кожа груш, объедки колбасы», всё, замеченное Фредериком на палубе.

Порою довольно сухо говорится о том, что «Сена выше Ноже-на, распадаясь на два рукава», пересекает «плоскую, как зеркало» равнину. Но вот мы попадаем в область прекрасного. Розанетта и Фредерик покинули Париж. Они в глубине лесов, среди «огромных шероховатых дубов... с их обнаженными ветвями, которые с отчаянием взывают о помощи... Сосредоточенность леса овладела и ими». Не надолго и не глубоко. «Легонькие шлепки», расточаемые Розанеттой, «ее тоненький носик», болтовня о горничной и парикмахере... От этого возрастало удовольствие, и становились приятнее иллюзии». И природа «розанеттизируется» понемногу. Ничего прекрасного не остается и посреди леса.

«Иногда они слышали вдали грохот барабана. Это был сигнал тревоги: жителей деревень призывали на защиту Парижа. — А-а, скажите пожалуйста! Восстание, — говорил Фредерик с жалостливым пренебрежением ко всей этой суете, которая ему казалась ничтожной рядом с их любовью посреди этой вечно прекрасной природы».

Но «любовь» эта — фальшивая. Это даже не иллюзия, это искусственно взятая роль, лишь бы самого себя обманывать. И «вечно прекрасная природа», которая в сознании Фредерика оказалась рядом с его «любовью», этим сближением отравлена.

Ничтожество характера, жизненных целей, идей Фредерика, все это создает не только психологический тип, нет. Это центр всего романа, в этом образе — состояние Франции в ту эпоху, каким оно представляется автору. Постоянный скрытый припев: «...мы вступаем во мрак».

Этим определяется стиль Флобера с его совершенной отчетливостью, с его артистической простотой, сочетанием насыщенного подробностями реализма и тревожного лиризма, с его приглушенными тонами. Насколько он беднее бальзаковского стиля! Стиль Флобера, при всех его достоинствах, лишен той движущей силы, которая придает языку «Человеческой комедии», порой запутанному и не изящному, необыкновенный интеллектуальный порыв.

Сравним две сцены с аналогичными ситуациями: Анастаси де Ресто и мадам Дамбрез становятся вдовами. Язык в «Гобсеке»,

здесь и повсюду, сосредоточен, действен, полон незабываемых словосочетаний: «... всюду был отпечаток отважных ее рук...», «Его труп оказался на краю постели, почти поперек, носом в матрац, пренебрежительно отброшенный, как обертка... Подушка сброшена была на пол и на ней еще сохранялся отпечаток ноги». Соответствующая сцена в «Воспитании чувства» тоже одна из лучших. Более сдержанно, чем у Бальзака, спокойнее; великолепные сравнения: «Мать, потерявшая ребенка, около опустевшей колыбели, не имеет такого горестного вида, какой был у мадам Дамбрез перед зияющими шкафами». Все напоено едкой иронией, ведущей далее психологически насыщенный сюжет: «Честь заставляла его все-таки жениться на мадам Дамбрез. Он подумал одну минуту, потом, нежным голосом: «Но ты все-таки моя! Она бросилась в его объятия, он прижал ее, тронутый, слегка восхищенный самим собою». «... un peu d'admiration pour lui-même». Боже мой, сколько благородства! Немедленно не отвергают невесту, у которой осталось всего лишь тридцать тысяч годового дохода. Но мы еще вспомним об этом «героическом» решении. Оскорбленный в своем чувстве единственной истинной любви к мадам Арну, Фредерик внезапно решается на разрыв:

«— Разве вы не едете со мною?

— Нет, мадам!.. — Сразу он испытал радостное чувство вновь обретенной свободы. Он гордился самим собою: он пожертвовал состоянием, чтобы отомстить за мадам Арну.»

Но... если бы это было то громадное состояние, которое мог оставить господин Дамбрез, решил бы он на разрыв? Неизвестно. Сомнение возможно, оно вызвано сопоставлением этих сцен.

Все очень тонко в «Воспитании чувства», все очень тонко, эти два стиля, этого романа и «Человеческой комедии», не только разные, но и противоположные друг другу стили. Это совсем не значит, что Бальзак «не умел писать», а Флобер делал это превосходно. Среди очень глубоких идей, посвященных философии стиля, появляются в письмах Флобера и мысли о том, что отчетливость, ясность, музыкальность речи создают превосходный артистический стиль, которому наставник-мастер обучает своего питомца — Мопассана. Бальзак не прошел этой школы и писать поэтому не умел.

Но стиль в истории литературы — нечто совсем иное. Мощественный стиль «Человеческой комедии», подобно горной цепи, проходит через творения Золя, Переса, Гальдоса, Достоевского, Фр. Мориака, Арагона и многих других романистов².

Вот почему, преклоняясь перед высокой культурой «Воспитания чувства», я все же не считаю, что этот роман — вершина человеческой культуры.

² Тезисы статьи, посвященной этому вопросу, опубликованы в «Rapports et communications du XII-ème Congrès International des linguistes. Bucarest, 1968, pp. 142—143.

СОДЕРЖАНИЕ

Печатные работы Р. А. Будагова	6
--	---

РОМАНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

В. Банер (<i>ГДР</i>). Ономаσιологические особенности развития латинских элементов румынской лексики	16
М. А. Бородина, П. И. Рошка. Лингвогеографическое изучение романских языков (проблематика и составление атласов)	27
О. К. Васильева-Шведе. К вопросу о «нефлективной морфологии» (аналитический претерит в каталанском языке)	37
Е. М. Вольф. Местоименные субституты в романских языках и в латыни	48
Н. А. Катагощина. Некоторые вопросы формирования общепанцузского письменного-литературного языка	60
Л. И. Лухт. О чертах сходства и различия в морфологии романских языков	69
Б. Мильорини (<i>Италия</i>). Заметки о термине «галлицизм»	73
Г. Михаила (<i>Румыния</i>). Этимологические заметки (рум. ohaba-obabnic)	77
Т. А. Репина. Грамматическая категория соотнесенности и некоторые направления развития румынского языка (еще раз о противопоставлении «падеж — предлог»)	82
Е. А. Реферовская. «Le fait» на пути грамматизации	93
Г. В. Степанов. Некоторые соображения по поводу лингвистических терминов «американизм», «иберизм»	101
Ю. С. Степанов. От имени лица к имени вещи — стержневая линия романской лексики	107

ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Т. Б. Алисова. Взаимосвязь между грамматической и коммуникативной структурой субъектно-предикатных отношений (на материале итальянского языка)	119
О. С. Ахманова. Что такое предложение и как его следует изучать	131
С. Б. Бернштейн. К вопросу о научных школах и направлениях в языкознании	137
В. Г. Гак. К проблеме общих семантических законов	144
А. Граур (<i>Румыния</i>). Слова и предметы (к вопросу о школах в семасиологии)	158
Л. И. Илья. От слова к предложению в современной французской грамматике	161

Э. И. Левинтова. Лебриха и Вальдес (из истории литературной нормы испанского языка)	167
Н. А. Слюсарева. Некоторые полузабытые страницы из истории языкознания (Ф. де Соссюр и У. Уитней)	177

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЯЗЫКИ И СТИЛИ

М. П. Алексеев. Заметки о русских словах у французских литераторов XIX в.	185
Н. Д. Аругюнова. О синтаксических типах художественной прозы	189
В. С. Виноградов. Формально-обусловленный перевод каламбуров-созвучий	200
Л. Гальди (<i>Венгрия</i>). К истории румынского пятистопного ямба	209
А. А. Касаткин. Язык трактата Чезаре Беккариа «О преступлениях и наказаниях»	217
Р. Г. Пиотровский. Заметки по молдавской стилистике	225
А. К. Соловьева. О стилистическом характере французских и английских выражений в письмах Маркса к Энгельсу	235
А. В. Чичерин. Стилистические заметки о «Воспитании чувства»	244